



ЛАНА АЛЛИНА

ВОРОЖКА  
БЕСКОНЕЧНОСТИ

Лана Аллина

**Воронка бесконечности**

Издательский дом «Сказочная дорога»

2013

УДК 821.161.1-3  
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

**Аллина Л.**

Воронка бесконечности / Л. Аллина — Издательский дом  
«Сказочная дорога», 2013

ISBN 978-5-4329-0044-9

Этот роман – о любви и страсти, искренней, горячей, пылкой. О достоинстве и свободе, за которую человек несет ответственность. Этот роман – о живом Времени: оно то сладко зевает, засыпает, то вдруг падает и разбивается на мелкие кусочки. И устремляется в бесконечность. Можно ли потеряться во Времени? Оказывается, можно. В Воронке бесконечности заблудились и главная героиня, и страстно влюбленная пара, и даже... целая страна. Время для них течет в ином ритме, прошлое, настоящее и будущее сливаются воедино, часы тикают неестественно громко, и стрелки гнутся, ломаются... Но что это за циферблат, на котором нет часовой стрелки? И что это за Воронка, поглотившая влюбленных, которые не хотят потерять друг друга во времени и пространстве?..

УДК 821.161.1-3  
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

ISBN 978-5-4329-0044-9

© Аллина Л., 2013  
© Издательский дом «Сказочная  
дорога», 2013

## Содержание

Пролог	9
Много лет назад. Она и время...	9
Наше время. Я...	11
Много лет назад. Я...	12
Наше время. Я...	24
Часть I	27
Наше время. Я...	27
Много лет назад. Она...	30
Без времени. Девочка...	38
Наше время. Я и Она...	42
Много лет назад. Она...	44
Много лет назад. Она...	47
Без времени. Девочка...	52
Много лет назад. Она...	56
Наше время. Она и я...	58
Много лет назад. Она...	60
Без времени. Девочка...	65
Наше время. Она и я...	68
Много лет назад. Она...	69
Много лет назад. Она...	72
Наше время. Я...	78
Наше время. Она...	81
Часть II	82
Много лет назад. Она...	82
Без времени. Девочка...	86
Много лет назад. Она...	91
Наше время. Я...	94
Много лет назад. Она...	95
Много лет назад. Она...	103
Без времени. Девочка...	109
Много лет назад. Она...	114
Наше время. Я и Она...	119
Много лет назад. Она...	122
Много лет назад. Я...	128
Много лет назад. Она...	132
Много лет назад. Я...	140
Много лет назад. Я...	148
Часть III	154
Наше время. Я...	154
Много лет назад. Она...	160
Много лет назад. Я...	163
Много лет назад. Она...	173
Много лет назад. Я...	177
Много лет назад. Она...	178
Много лет назад. Она и я...	185
Когда-нибудь в далеком будущем – или прошлом. Я и Он...	187

Наше время. Я...	188
Эпилог	198
Много лет назад. Я...	198
Наше время. Я...	206
Без времени. Я и время...	210

**Лена Аллина**  
**Воронка бесконечности**

© Князева С. Е., 2013

© Издательский дом «Сказочная дорога», оформление, 2013

\* \* \*



*Моим родителям посвящаю*

*Нет больше Страха!  
Мы сильнее его,*

*мы мудрей.*

## Пролог Встреча с воронкой

### Много лет назад. Она и время...

Она быстро шла, бежала, летела, почти не касаясь ногами земли, по длинному темному коридору. Коридор то расширялся, то сужался настолько, что становилось трудно передвигаться, и она уже несколько раз больно ударилась о его стены. Не было у коридора ни начала, ни конца. Она уже сильно устала, но все никак не могла остановиться. Боже, куда ее так затягивает? Но какая-то неведомая сила подхватила ее и несла, несла... Наверное, это происходит с ней во сне. Так ведь бывает: летишь, падаешь, поднимаешься – и не можешь проснуться. Но потом сон гаснет, кончается... А теперь очень похоже, что все это – реальность, только какая-то странная реальность.

И вот уже не коридор был впереди, а черная дыра. Что же это? Ворота в параллельное пространство, кратчайший путь в навь, в иное время? Или что-то другое? Какая-то кротовая нора! А там, дальше... что? Воронка – омут, водоворот, который втягивает в себя все сущее и ничего не возвращает обратно?

Воздух в коридоре стал вдруг липким и тяжелым, словно сбился внезапно в тошнотворную вязкую массу. Сгустился плотный зеленоватый туман. Потом туман поменял цвет: стал серым или сизым, с голубоватым оттенком. Стало трудно передвигаться, дышать...

«Однако! Как странно выглядит время», – думала она (а может быть, уже и не она), с трудом продираясь через этот вязкий, плотный зеленый или зеленовато-серый, или непонятно какой – цвет его постоянно менялся – туман. Раньше ей всегда казалось, что время – это воображаемая прямая линия, протянутая снизу вверх и соединяющая прошлое и будущее через настоящее, или лента, или, может быть, дорога, потерявшаяся где-то там, в глубине веков, прорезавшая время и уходящая в неведомую даль будущего. А оказывается, время – оно живое и, как и человек, имеет размеры, объем, память. Оно – важное действующее лицо, главный герой.

...Время стало беспорядочно и нервно ходить в разных направлениях, тяжело вздыхая.

«Тик-так, тик-так, ходят часики вот так...» – вспыхнули в уме строчки давно забытой детской считалки. Потом длинные тонкие стрелки сверхмощных *Часов времени* вдруг заспешили, ускорили привычное движение по кругу, наращивая обороты, и побежали стремительно. Тот, кто крутил стрелки, явно обезумел! И вот что из этого вышло. Часы начали тикать неестественно громко, стрелки зацепились друг за друга, задрожали. Одна из стрелок сломалась почти до основания, другая странно изогнулась... Циферблат, где нет часовой стрелки, – но это невозможно! Неужели Время выглядит так, неужели это его настоящее лицо? На часах осталась теперь только одна стрелка – минутная, и она поломалась или погнулась, непонятно, но с ней точно что-то случилось... Ну да, конечно, она же почему-то идет назад – против часовой стрелки!

«Но так же не бывает», – думала она – или непонятно кто.

Вероятно, это случается, когда восприятие человеком реальности не совпадает с самой реальностью. Тогда время теряется, действует непредсказуемо, спотыкается, опрокидывается набок, ломается, начинает течь как-то иначе, не так, как всегда. А может быть, время и не летит, и не тянется, и не плетется в полусне, а просто идет в обратную сторону или вовсе перестает двигаться, становится неподвижным? Часы совсем по-другому отстукивают минуты и секунды

– и возникают ножницы времени. Время исчезает куда-то, а потерявшегося во времени человека затягивает в омут, в *Воронку*.

...И вдруг в конце этого вязкого коридора – или на дне черной дыры? – что-то промелькнуло, скрипнула, приоткрылась дверь... Или вовсе и не дверь это, а само живое Время закрипело, зашуршало, завернулось петлей – и я...

## Наше время. Я...

В то воскресное февральское утро на меня напала непонятная тревога. Казалось, не было тому никаких причин. Я уже целую неделю отдыхала в моем любимом Звенигородском пансионате, со мной были мои девочки – дочка, Анечка, и маленькая внучка, и, казалось бы, ничто не могло объяснить эту тревогу.

После обеда мы собирались уезжать в Москву, и зять приехал на машине с самого утра, чтобы отвезти нас домой.

Потом позвонил Леша – муж: хотел узнать, когда же ждать меня.

Часов около двенадцати дочь начала собирать вещи – дело долгое и *многогранное*, – а Матвей, зять, выключив после некоторых колебаний компьютер и решительно отложив в сторону наушники, взял санки. Уже одетый, немного потоптался у двери и отправился гулять с Оленькой, моей внучкой. Словом, воскресенье быстро покатило по рельсам времени – через полдень к вечеру, как обычно, – ничто не нарушало его размеренного течения.

А я решила прогуляться лесом в Мозжинку, к старым академическим дачам. Много лет назад там располагался пансионат Академии наук, в котором я когда-то отдыхала во время зимних студенческих каникул.

Погода стояла изумительная: безветренная, не по-зимнему теплая, яркая, солнечная. Я присела на скамейку, стоявшую на лесной опушке.

Через несколько дней начнется новый семестр, вот и захотелось подумать о вводной лекции к моему курсу в университете. Я стала выстраивать картинки, складывать пазл из фактов, имен, событий – и пыталась поймать за длинный пестрый хвост капризную птицу вдохновения...

...Я начала медленно-медленно расплетать длинную, толстую светло-каштановую косу времени. Развязала, осторожно вытащила коричневую сатиновую ленту...

Скоро в голове зародились, стали формироваться, проявляться, как на фотоснимке, развиваться образы... И вдруг... Время затрепетало, сложилось пополам, как лист бумаги с плотно напечатанным текстом. Потом листок развернулся – прогнул, искривил пространство и... Что открылось? Временной портал, ведущий в иное измерение?.. Я или, может быть, она, снова перепутавшая себя со мной, неестественно быстрым шагом пошла, побежала, полетела через все увеличивавшуюся дыру по пространственно-временному коридору, ясно прорубившему, пронзившему насквозь, прорезавшему реальность. А затем... что это? Погружение? Заплыв? И куда же так затягивает? В какой-то немислимый водоворот, в Воронку? В иной, не проявленный, параллельный мир – в прошлое.

Но внезапно время спрессовалось, стало вдруг липким и очень тяжелым, сбилось в вязкую массу! Сгустился и без того плотный зеленовато-серый туман, стало трудно передвигаться... И вдруг в конце этого вязкого коридора скрипнула, приоткрылась дверь, и...

## Много лет назад. Я...

...Где я? В какую эпоху попала? А, кажется, я очутилась где-то в начале XX столетия.

Ну, да, точно. Но это – не *моя* эпоха.

Что же я вижу?

Оптимизм. Оглушительный, вспухающий, собирающийся на поверхности бисерным кипением, – мелкими пузырьками, переливающийся через края европейского мира... Да! Мы будем жить в мирном и разумном XX веке – без войн, без катаклизмов. Наступил Век Разума, Прогресса, Счастья!

Маниакальное величие отдельных людей, пожелавших непременно – что?

Как что? Отчетливо *видела* я: удивить, поразить, изменить мир.

Появились новые герои. Грандиозность. Величие. Гордыня.

Человечество ошеломлено. Оглушено. Сбито с толку и растеряно. Мы сокрушим старый мир! Мы покорим пространство и время. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Мы все добудем, поймем и откроем: холодный полюс и свод голубой. Мы переделаем мир, мы перевернем его с ног на голову. Мы *благодетельствуем* человечество!

Вот же, вот же оно! Я это вижу! Завораживающие многообещающие речи. Я слушаю их – и что же?

Мания собственной грандиозности. Безумный горячечный блеск – сверкают глаза ораторов, наливаются кровью и величием, выпрыгивают из орбит, излучают абсолютную истину.

В расширенных кокаином и грандиозностью зрачках четко, с мельчайшими подробностями, отражается многократно уменьшенная толпа на площади. Высоко задранный подбородок человека на трибуне. Сильно развитые нижние челюсти, холодный гипнотический взгляд очковой кобры, а хватка – бульдожья: как схватит такой, как сожмет челюстями... Вот как они буравят, прожигают, гипнотизируют толпу взглядом, вот как держат ее своими крепкими острыми зубами, заражая идеями всеобщего равенства и повального счастья, – теперь уже больше не выпустят! А как нарастает, как ширится сила, напор произносимых слов – от шепота до грохота и ора, срывающегося в ультразвук. Трескучие, каркающие, громыхающие фразы. Это уже не политики – нет! Скорее Вожди. Кто они? Откуда взялись? Вчера их еще не было.

Там, где прежде была суша, теперь, откуда ни возьмись, заплескался Океан амбиций. Разлились моря честолюбия. Выросли новые и укоренились хорошо забытые старые мифы. Лозунги. *Новояз*. И толпы, толпы внимающих и верящих вождям людей.

Новая эпоха! Эпоха свободы! Время говорить, что думаешь, и думать, что говоришь. Но за личную свободу отвечать научились далеко не все.

– Свобода – это ответственность?! – понизив голос до свистящего полупшепота, с издежкой вопрошали вожди. – Кто вам это сказал? Плутократы-либералы? Да они заражают вас бубонной чумой фальшивой демократии. Нет, подлинная демократия – это свобода! А подлинная свобода – это раскрепощение! Подлинная Свобода с большой буквы – это справедливая народная война!! Подлинная Свобода – это народная Революция!!! Да здравствует Свобода! Да здравствует Революция и ее дитя – Свобода!! Свобода – это хаос, это произвол большинства, это экспроприация, это бунт!!!

«Позвольте, но ведь к свободе готовы лишь немногие. Эти люди нескоро поднимутся до уровня настоящей свободы. А где же здесь место для ответственности? Кто будет отвечать за такие действия?» – с ужасом подумала я, или она, или неважно кто.

А тут еще и имперские амбиции. Бряцание оружием...

Европу между тем захлестывает шпиономания. Кажется, совсем еще недавно оправдали, наконец, капитана Дрейфуса, невинно осужденного за шпионаж в пользу Германии и передачу ей секретных разработок новейших видов оружия.

Сам Президент Французской Республики Арман Фальер торжественно вручил ему шпагу, утвердил в чине майора и наградил его, сделав Кавалером Почетного Легиона, вот так! Так теперь новых шпионов и предателей ищут – и находят!

...Время заскользило, запетляло, заматывая следы, потекло, полетело, помчалось – вперед, назад, вбок, вспять, вскачь, кувырком – неизвестно куда! В омут его затянуло, наверное... Аж дух захватывает. О, как неуютно, даже жутко!

...Утонченный модерн, изошренный, уводящий в потусторонний мир декаданс... *изыск!* Это нечто оглушительное... доводящее до безумия, до иступления... Гумилев, Блок, Анна Ахматова... Габриэле Д'Аннунцио...<sup>1</sup> Его высокомерный, но печальный взгляд, изящно искривленный рисунок его презрительно-горестно сомкнутых губ, прячущихся под божественными усами. Какой шик! Он неподражаем. С великолепной отстраненностью смотрит он на толпу. Его стихи, его проза – какая изящная, сладострастная, какая чувственная, полная достоинства, – и горькая. А рядом с ним его подруга, его вечная муза – несравненная Элеонора Дузе.

...А это Поль Верлен<sup>2</sup> и головокружительные – и как только можно было услышать в своем сердце, нащупать в душе, угадать? – такие точные слова! Испепеляющие, горько-сладко ласкающие, улаживающие слух *Les sanglots longs*. Как же оголяет нерв, бьет по нему, истончает его эта поэзия! Ой! Тонко-тонко – вот порвется.

Я слышу, я вижу их – и себя со стороны. Я, совсем еще девочка, с восторгом слушаю эти стихи, потом покупаю томик его стихов и читаю, перечитываю... Это наслаждение, это боль, это шок, это экстаз! Даже мурашки по коже побежали... Пронзительно. Невозможно. Губительно сладко, убийственно, неповторимо, изумительно.

Парижские интеллектуалы обсуждают сейчас теорию Прогресса и футуристов-будетлян. Город будущего! Это видение. Какой шик!.. Итальянский поэт Филиппо Маринетти и его соратники в журнале *La Plume* возводят фантастические в своей нелепости мегаполисы будущего, созидают нового кентавра – человека-машину, угрожают в своих Манифестах выбросить с *Парохода Современности* Венеру Милосскую, Пушкина, Достоевского и, кажется, кого-то еще, потому что все они давно уже устарели, да и вообще никому непонятны, как иероглифы...

Вообще кругом модерн. Один модерн. Ничего, кроме модерна. Ох, как кружится голова от этого модерна! Утонченный модерн в искусстве, модерн в науке, даже модернизация церкви!

Да, истончается нить времени, ускользает.

А еще в Париже только и говорят, что о выставке молодого, но, видимо, очень, талантливом художнике.

«Пабло Пикассо, совсем молодой еще, всего-то слегка за двадцать...»

«Да неужели?»

«Молод, но сразу видно – гениален! Как это вы не слышали? Быть не может! Да ведь он будет со временем не менее знаменит, чем Поль Гоген!»

А вот уже все обсуждают творчество величайшего интуитивиста начала века. Выставки Николая Рериха – как свежо, как невероятно!

Но... Толпа... Слышу возбужденные крики. Вижу разнузданное поведение, отсутствие манер. Наблюдаю за простонародьем на гулянье. Ой! Сейчас точно толкнут, собьют с ног – и даже не заметят... а заметят – так нахамят! Грубые одежды. Плоские шутки. Ругань...

*Эй, ты там, в цилиндре! А хоть в нос?*

Да уж! Как утверждал один недавно умерший философ, на толпу обычно не производят впечатления благородные изречения и возвышенные истины. Маленький простой человек с улыбки разбушевался, стал новым героем...

<sup>1</sup> Габриэле д'Аннунцио (итал. Gabriele D'Annunzio, настоящая фамилия Рапаньетта [итал. Rapagnetta]; 1863–1938) – писатель, поэт, драматург и политический деятель.

<sup>2</sup> Поль Мари Верлен (1844–1896) – французский поэт, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма.

Век индивидуализма, уважения к человеческой личности уходит медленно и печально.  
Век толпы вступает в свои права...

*Чего там думать – целюсь в глаз!*

Даешь Свободу, то есть анархию и произвол!

Разнузданная толпа. Ох, как это, оказывается, страшно! Неуютно мне здесь что-то...

На улицах городов выходят из берегов взбудораженные толпы.

Толпы людские заплескались на площадях – только брызги летят во все стороны, и не успеваешь увернуться. Как много людей – тысячи! Разных и в то же время одинаковых. Возбужденные, разгоряченные, закипевшие лица, расплавленные, стекающие, с широко открытыми орущими ртами, вывернутыми наизнанку до самого нутра, как карманы их штанов; лица, обезображенные спиртным, хамством и непонятной, какой-то низменной, страстью. Они внимают вождям – и все это называется у них теперь «демократия»! Как полыхает пожаром толпа, с какой жадностью внимает она вождям. Как взрывается толпа бомбами одобрения, как строчит из пулемета очередями интереса, восторга!

Да, вот он, век массовой культуры! Шквал, накипь, пена людская поднимается с самого дна человеческого океана и мелким бисерным бесом бурлит, исходит паром, переливается через края, шипит, хлещет... Этот шквал сбивает с ног, распространяя вокруг себя всеобщее равенство и свободу, затапливает площади, улицы, скверы, дома – все вокруг... Кумир для этих людей – свобода. Безграничная свобода – и опьянены они свободой. Боги, цари, короли, правители, аристократы, пророки, герои, священнослужители – смешались в кучу все. Короны полетели прямо в грязь! Долой короны! Долой тиранов-аристократов! Долой правителей! Долой веру в распятого! Долой самого распятого!

Анархисты распоясались. По всей Европе они угрожают свободе и достоинству людей. И вот уже убит анархистом, вернувшимся из Америки (куда он эмигрировал), итальянский *король-карлик*<sup>3</sup>. Мутная волна анархизма нахлынула из Европы и в США. И вот уже смертельно ранен несколькими выстрелами не то польского, не то мадьярского эмигранта-анархиста американский президент МакКинли<sup>4</sup>. Ветеран Гражданской войны умирает спустя несколько дней. Не покушение – убийство.

Слабеет власть, падает уважение к ней – вот и шалют анархисты.

Где достоинство у человека из толпы, где его уважение к себе, к другим?

«Чего?»

«Какое там еще достоинство?!»

«Душа?»

«А где она?»

«Любовь?»

«А шо, ее можно кушать!»

Они теряют достоинство – они почти потеряли человеческий облик.

Смешались люди, сословия, кровь, достоинство, стиль, мысли, маски, горькие радости индивидуализма. Уходит в небытие прошлого старая элита. Образованные, свободно мыслящие, утонченные интеллектуалы.

Долой реализм, позитивизм, либерализм! Наш новый наркотик – потусторонняя ирреальность.

Даешь очищение от мещанства, быта, старого хлама! Долой уют! Фи, какое мещанство: фикус в кадке, герань на подоконнике, фортепиано, оранжево-рыжий абажур с бахромой! Долой Моцарта и Бетховена, а заодно короля вальсов Штрауса и старую музыку, и поэзию, и

---

<sup>3</sup> Король Умберто I (1878–1900), прозванный в народе карликом – Nano – за маленький рост. Убит в июле 1900 г. анархистом Гаэтано Брешчи.

<sup>4</sup> Американский президент Уильям Мак-Кинли смертельно ранен анархистом из семьи польских иммигрантов венгерского происхождения Леоном Чолгошем в сентябре 1901 г.

прозу тоже в придачу! Не нужна нам семейная затхлость, семейные реликвии, драгоценности, изящные украшения – да и семья не очень-то нам нужна! Выкинем в помойное ведро истории викторианскую мораль, а лучше всего, вообще всякую мораль, несовременные манеры и нравы! Нам нужны сквозняк, свежий ветер, вихрь, буря, огонь, пожар, пушки, танки – мы устремились вперед, в черную воронку все очищающей войны!

Кр-руто!

Гимн войне, бунту, революции!

Зашкаливает самомнение вождей и толпы.

Какой смысл в борьбе за мир на европейских конгрессах в Гааге, зачем нужны антивоенные манифестации, если войны захотели сами люди?

Ускользает, гибнет разум. Прогресс – вовсе не гарантия разумного поведения людей, как выясняется.

И захлебнулось достоинство человека.

И правда, в самом деле, есть от чего тронуться рассудком! Люди устремляются вслед за Синей птицей. *Абсолютная истина* снится им по ночам. Существует ли абсолютная пустота? Мировой эфир? Счастье во всемирном масштабе? Разум в абсолюте и сверхчеловек? А Скрижали мудрости? А Святой Грааль?

Разум правит бал, и мир захлестывает одна за другой волна открытий. Брошен вызов атому! Он, оказывается, делится еще на какие-то элементарные частицы – он ускользает, он устремляется в бесконечность пустоты... Где же абсолютная истина? А казалось, люди уже настолько приблизились к ней. Сбились с ног в погоне за Синей птицей – удачи, счастья, мудрости. Каждый – за своей... Вот ученые пытаются точно высчитать скорость света. А вот какой-то математик определил – ну, почти определил! – иррациональное число *пи*. Он вычислил его с точностью до более 700 знаков после запятой, кажется... Ну, правда, потом другой ученый нашел ошибки где-то после 500-го знака. Тогда-то ученых и стала посещать догадка: последовательность цифр в десятичной части *пи* *бесконечна*, и их сочетания не повторяются, а само число трансцендентно. Но что же таит в себе *пи*! *Кладезь* мудрости?

Числом *пи* заинтересовался и какой-то пока мало кому известный ученый – Альберт Эйнштейн... В научном мире все только и говорят о его последних исследованиях. О нем мало что пока знают, известно лишь, что он, кажется, разработал общую теорию относительности, но как-то трудно пока это осознать... Странен и непривычен этот его четырехмерный мир: к ширине, глубине и высоте он добавил еще и... время. Так, значит, все-таки оно живое – Время. И вообще, если все в мире относительно, то нет ничего прочного, следовательно, прозрачно все, зыбко вокруг. Как найти абсолютную истину? Или нет в этом мире абсолютных истин? А во что же можно верить? И кому тогда нужно верить?

Все, что можно было изобрести, уже изобретено – или не все? Сводящий с ума вал открытий и новшеств. Все только и делают, что телефонируют друг другу. Все повально слушают радио. Накрывает с головой вал Нобелевских премий за изобретения, литературный талант, борьбу за мир – их получают писатели, ученые, главы государств и правительств.

Нет! Как-то странно это все, зыбко, непривычно... Сбивает с толку, обескураживает.

А какие теперь театры в европейских столицах! Повсюду слышны арии из «Богемы», «Мадам Баттерфляй», из «Тоски», «Электры»... Люди ходят в театры, а потом, гуляя вечерами по улицам, напевают полюбившиеся слова арий, которые уже помнят наизусть, насвистывают разлетевшиеся по всему белу свету мелодии любимых опер.

А что, вы уже слышали новость? На сцене «Метрополитен Опера» дают теперь «Сельскую честь» и «Паяцы», и там уже солировали чешская певица Эмма Дестин и несравненный итальянец Энрико Карузо... Да, я тоже еще не ходила. Но это ничего! Вы представляете, в крайнем случае, теперь эти оперы можно послушать и по радио!

А вот на сцене выступает Божественная Сара, и специально для нее великий мастер драмы Эдмон Ростан сочинил «Самаритянку» и «Орленка». А какой фурор произвела она недавно в пьесах Дюма-сына! Помните ее Маргариту Готье в «Даме с камелиями»? Впрочем, и сейчас великая, бесподобная актриса Сара Бернар играет главные роли, гастролирует по миру, несмотря на искалеченную ногу.

Ох, как здорово! В какое интересное время я попала, хотя и не мое оно, нет, не мое! На страницах журналов появилась реклама, а вечерние европейские столицы уже, как и в Америке, тоже начинают освещать неонами рекламы. И все теперь ходят в *синемаграф* на сеансы движущейся фотографии и смотрят короткие еще, конечно, всего-то минут на 15–20, не больше *синема*. Вот и мы пришли на сеанс целой компанией – а там! Правда, когда мы собирались в *синема*, мне лично хотелось посмотреть *Quo vadis?* Или *Последний день Помпеи*. Но в Париже эти сеансы уже давно прошли, а жаль! Ах, так и вы тоже не сумели еще посмотреть? А я-то думала, вы расскажете... Говорят, это что-то незабываемое, очень волнующее.

Однако! «*Филм д'ар*» Мельеса нас отнюдь не разочаровывает. Наоборот даже, превосходит всяческие ожидания. Да, не случайно такую шумиху подняли вокруг его «*Путешествия на Луну!*» Но только было это уже давно – несколько лет прошло. А сколько уже, кстати? Ох, как летит время-то! Не успеем оглянуться – и...

А мы тем временем смотрим «*Галлюцинации барона Мюнхгаузена*».

Интересно только, я это или не я сижу в зале, в предпоследнем ряду? Я что-то не поняла, наверное, я все-таки – во-он там, ну, вот же!.. Ой, ну как же ты не видишь? Хотя да, в темноте-то ведь ничего разглядеть нельзя...

А фильм великого Жоржа Мельеса продолжается почти целый час, вы представляете? Куда там до него первым синемаграфам братьев Люмьер! Позавчерашний день! А здесь вам и стоп-кадр, и замедленная протяжка киноплёнки – сногшибательные спецэффекты! Это невиданные чудеса!

Перед фильмом нам крутят кадры кинохроники... Это велогонки «Тур де Франс» – просто супер! И вот уже в них участвуют женщины – ничего себе! А посмотрите-ка, что учудили раскрепощенные американки-то, а? В Европе все только и говорят, что о женской автогонке из Нью-Йорка в Филадельфию! Ну, так *эти* американки, они чересчур экстравагантны, очень смелы и уж слишком современны. Куда нам, парижанкам, с ними-то тягаться!

Ралли Монте-Карло – это лихо, просто дух захватывает! Или вот еще... первый в истории трансконтинентальный автопробег по маршруту Пекин – Париж вдоль Сибирского тракта через Москву и Варшаву.

Да, теперь я вспоминаю: сколько же шуму наделал тогда этот пробег!

...Летающий с умопомрачительной скоростью прямо на публику в зале паровоз – ох! Даже как-то не по себе становится! Взрывающийся ввысь прямо на глазах неуклюжий аппарат братьев Райт... А, но ведь это уже совсем старая киноплёнка: показывают их полеты из Китти-Хоук близ Дейтона на *Wright Flyer-e* с аэродинамической трубой и тремя осями вращения планера.

А вот уже американец Глен Кёртис совершает полет на первом в мире гидроплане. Дирижабль на поплавках приземляется прямо на водную поверхность – не утонет? А затем снова взлетает... с ума сойти!

...Летающий через европейский Пролив с сумасшедшей скоростью французский пилот Луи Блерио. Ничего себе! Ой! Долетит или упадет в воду? Ну, слава Богу, долетел!..

...А вот я вижу в кинохронике, как под Парижем французский авиатор Анри Фарман поднимается на изобретенном им самим – ну, конечно, *фармане* — в воздух, преодолевает по замкнутому маршруту заданное расстояние – и завоевывает приз в 50000 франков! А ну как сейчас грохнется прямо в зрительный зал, мне на голову! Ох! Пришибет ведь!..

Кадры быстро-быстро сменяют друг друга, словно смотришь фотографии – только они движутся. А вот еще киноплёнка. Это перелет россиянина Уточкина из Одессы в Дофиновку.

Смелый авиатор должен подняться на своем *фармане*, пролететь одиннадцать верст над заливом и спуститься на землю в Дофиновке. Я вижу невысоко над водой аппарат Уточкина... Сногсшибательное зрелище! Это же предел всему! Вот он оторвался от земли и теперь – ну, вот, вот же он, видите? Вот, да поднимите же голову, чего ж вы, а?! Треща мотором, летит он невысоко над морем. Ну что, увидели, наконец? И тысячи зрителей-одесситов, собравшихся на берегу моря, а потом и зрители синема в разных городах мира видят в лучах заходящего солнца велосипедные колеса аэроплана, бак и даже крохотную согнутую фигурку самого пилота, повисшую прямо над морем, кричат от восторга, рукоплещут...

Господи, а это что за ужас такой? А, дредноуты! Жуткие сооружения, такие до сих пор только в кошмарах могли присниться... Вот же англичане, что учудили! Ведь это мистификация какая-то! ... И опять английская кинохроника: маршируют британские солдаты, поют, раздаются слова веселой, почти легкомысленной песни:

It's a long way to Tipperary, it's a long way to go<sup>5</sup>...

Новый кадр. Лето. Отдых у моря. Пляжные зонтики, причудливые трико пляжных купальных костюмов. Непонятно одно: скрывают ли они или скорее подчеркивают несовершенство фигуры?..

Вот кадры опять быстро сменились – и я уже вижу сборочный цех и конвейер на американском заводе миллионера Форда. Рабочие быстро-быстро собирают детали, конструируют машины. Да, но то в Америке, в Европе это новшество еще только обсуждается.

Вновь смена кадра – и вот уже показывают торжественное открытие Симплонского туннеля. Только диву даешься: и как это его прорыли в самой горе! Длина его целых двадцать километров – он самый длинный в мире! Ведь это уму непостижимо!.. А на торжественной церемонии открытия присутствуют и высочайшие гости. Вот они на экране крупным планом – швейцарский президент и итальянский король. И надо же, какой король-то этот забавный, неуклюжий, голова непропорционально большая, а ноги совсем короткие, и красотой уж точно не блещет! Не случайно итальянцы за глаза называют его – *Schiaccianoci* — Щелкунчик! Меткое прозвище, надо признать. Бедная его супруга, королева Елена! Однако это тоже уже старая хроника... Сколько лет прошло – пять, шесть?

Снова надвигается картинка – российские моряки, оказавшиеся в порту Мессины, самоотверженно спасают несчастных жителей города, которые пострадали в результате извержения вулкана Этны. Господи, ну почему столь часты такие катастрофы, а уж в Италии особенно?

И, наверное, вот последние на сегодняшний день кадры синема. Это Российская Империя, Санкт-Петербург... Показывают царскую семью... Царь Николай II, царица, величественная, с холодной любезной улыбкой на красивом лице, – говорят, ее в Российской Империи не очень-то любят; наследник – царевич Алексей, высокий для своего возраста, миловидный мальчик. Все они исполнены достоинства, вон как величественно, как торжественно несут себя... Но она же слаба, эта власть! Это видно даже невооруженным глазом. Слабеет, угасает российская власть, воспринимается многими думающими людьми как ничтожная.

...А тапер синема знай себе наяривает фривольную мелодию матчиша<sup>6</sup> а ля Феликс Майоль и Борель-Клерк...

Ну и ну!..

---

<sup>5</sup> Путь далёкий до Типперери – маршевая песня британской армии, появилась впервые в 1912 г.

<sup>6</sup> Матчиш (Машише) (порт. *maxixe*) – бразильский танец, популярный в Европе и Америке на рубеже XIX–XX веков. Также известен как бразильское танго. Появился в Рио-де-Жанейро в 1868 году. Назван в честь города Машише в Мозамбике.

Актрисы – *вамп*. С ума сойти! Сегодня, в XXI веке, их назвали бы мега-звездами. На сеансе – загадочная *starlet*<sup>7</sup> Лида Борелли. Обворожительная Франческа Бертини. Томная Вера Холодная. Несравненная Мэри Пикфорд, с ее всепоглощающей неэкранный любовью... Ее встречи и расставания, ее браки и разводы.

...Париж, Монмартр и Мулен Руж... Законодательницы мод, экстравагантные женщины-вамп умопомрачительной красоты – аж мороз по коже подирает от омута их бездонных глаз. Неправдоподобно расширенные белладонной или кокаином, а может быть, и тем, и другим, зрачки, взгляд, затуманенный или, наоборот, пронзающий насквозь, изощренно манящий, брошенный внезапно из-под густых длинных ресниц, отбрасывающих на пол-лица тени стрелами, и сулящий счастливому избраннику нереальное, неземное блаженство... А уж шляпки – ах!..

Непревзойденная актриса, огненная танцовщица, утонченная стриптизерша в восточном стиле, великая куртизанка, таинственная девушка-вамп – страстная парижанка, голландка, малайка, Бог знает! Сколько в ней шика, сколько оча... Нет, это слово вышло из моды уже в прошлом году – я не хочу быть несовременной. Она бесподобна, она окутана тайной, словно густой вуалью в мушках, она – умопомрачительная Мата Хари. Неуловимая шпионка, шикарная девушка, так любившая мужчин, особенно в военной форме, но не оставившая равнодушным ни одного встретившегося ей мужчину. Обольщение – вот ее безошибочный метод, интрига – вот ее неподражаемая дипломатия, цианид ртути – вот ее непробиваемое средство защиты своей свободы от ненужных ей детей, наскучивших связей, опостылевшей семьи, ненавистного мещанского быта. М-да!..

Жарко. Знойно. Ленивые, окутанные легкой золотистой дымкой, неторопливо и незаметно текут летние дни большого европейского города. Скользит по рельсам спокойная размеренная жизнь, с утра до вечера, без спешки, толкотни, без ненужной суеты. Прозрачные, томные, окутанные призрачно голубой дымкой гулкие вечера оглушают, бьют по нервам...

Лето. Париж, *синий час*, тонкая, как паутинка, дымка, голубоватый флёр, умопомрачительные шумные кафешантаны, дразнящая слух фривольная музыка. Всхлипы скрипки, вздохи виолончели... Старый утонченный – искрящийся радостью, призрачный, почти утраченный мир. Ох, уж этот Париж!..

А теперь? Редко-редко мелькнет где-нибудь там, в толпе, дорогой, пошитый у хорошего мастера ателье элегантный костюм... цилиндр... Ведь носить его недемократично, да и опасно, – ах, это аристократ! И все же... мода шантеклер, шляпки шантеклер с неизменными умопомрачительными перьями и оттеняющими взгляд полями, куафюр. А, прощай, корсеты, ведь это несовременно, и шик отсутствует! А юбки шантеклер – широкие в бедрах, узкие-узкие внизу и уже не в пол, представляете? Уже хорошо видны ножки, обутые в маленькие изящные туфельки на каблучках, и тонкие шелковые чулки, и такие соблазнительные женские щиколотки... Какое очарование! Нет, это несовременно – говорить так! Как шикарны эти юбки шантеклер! Как *шикарны*, как неповторимы женщины в этих нарядах! И правильно говорят об этой нашей эпохе современники: *Belle E'poque*<sup>8</sup>.

Да, но... ох, и как же мне неудобно-то в такой юбке – ходишь, будто стреножили тебя, а уж на велосипед садиться! А, в общем, ничего, все же умудряются.

И снова Париж, и Всемирные Промышленные выставки – ой, как интересно! Всемирные достижения науки и техники – вот это да! А это что? Ну-ка, продегустируем? Ух ты! Судя

---

<sup>7</sup> Кинодива, звезда.

<sup>8</sup> Прекрасная эпоха, Блестящая эпоха (фр. *Belle f roque*) – условное обозначение нулевых годов XX столетия – периода европейской истории подъема и процветания, продлившаяся до начала мировой войны 1914 г.

по всему, это шустовский<sup>9</sup> коньяк «Фин-Шампань Отборный». Это ему был единодушно присужден Гран-при!

Или вот еще! Ну, радио-то нас уже не удивишь! А вот радиообращения с Эйфелевой башни – и куда?! На другой континент!

Ой, как здорово, как весело, как интересно здесь жить! Как легка эта жизнь, как наполнена она смыслом, значением, событиями!

По улицам шастают сумасшедшие суфражистки в костюмах мужского покроя, мужских ботинках с грубыми носами, с плакатами и массивными длинными зонтиками в руках. Эпатаж. Мы хотим свободы! Мы больше не хотим буржуазной семьи – мы желаем свободных от уз связей! Да здравствует свободная любовь! Мы хотим избирать тех, кто нравится нам, а не нашим мужчинам, и любить тех, кого нам захочется, и столько раз, сколько нам захочется!

...А, так это же прославившаяся на весь мир Эмма Гольдман! Красная Эмма, бывшая подданная Российской Империи, уже несколько раз попадала в тюрьму в США, а несколько лет назад была даже лишена американского гражданства. Но из Америки ее изгнать пока не удалось – и она все не унимается, выступает с лекциями, воспевает анархию, половую распущенность и призывает к свободной любви. Ух ты, какой хоровод феминисток водит она здесь, в Европе – даже из-за океана это у нее выходит отменно! Она шикарна, она экстравагантна, она просто предел всему! Она независима и свободна, как ветер! И вот уж кого не упрекнешь в несовременности!

Ой, в ход пошли зонтики! Ату его, по шее, по голове! *А чего он тут?!*

И ведь вот до чего же дошли! Феминистки Лондона дубасят зонтиками министра Черчилля! Ох, уж эти англичанки! Но все-таки... ведь это же несправедливо! Мужчина решает, куда и когда, и с кем поехать женщине отдыхать, с кем и как проводить свободное время и даже – сколько ей иметь детей и как распорядиться собственным имуществом. Женщина же не может вообще ничего – она не имеет даже права требовать развода, когда муж надолго покидает семейный очаг и супружеское ложе.

Феминисток сажают в тюрьму – а они объявляют голодовку. Их кормят насильно через питательные трубочки, отпускают домой отдохнуть – а они снова хулиганят, попадают за решетку... И бунтуют снова и снова! Ну разве это разумно? Вот хозяева и избавляются от женского персонала в барах, запрещают продавать дамам алкоголь и сигареты, штрафуют за курение в общественных местах. Но, с другой стороны, надо же и женщинам поразвлечься: эти малютки просто скучают!

Однако у женщин-суфражисток серьезные намерения – и вот они уже выступают за свои права на международных конгрессах. Копенгаген... Амстердам... И вот уже в Великом княжестве Финляндском женщинам предоставляют избирательные права наравне с мужчинами. И, кажется, еще где-то... может, в Дании? Или только обсуждают пока? Но в большинстве стран все это неосуществленная женская мечта.

На улицах европейских городов все меньше ландо, карет, пролеток – зато повсюду громяют громоздкие, неповоротливые сооружения, воняют, гудят, издают оглушительные звуки – а-автомобили, ка-ккая гадость! Их становится все больше, больше... Господи, куда же они так летят! Гонят, как сумасшедшие, и куда только так спешат? Однако надо, пожалуй, смотреть по сторонам и ходить осторожнее, ведь под машины уже попадали несчастные пешеходы!

Неужели они приживутся?

А что же элита, старая и новая?.. Вера в потусторонний мир. Какой шик! Таинственные кружки, собрания в Париже, Берлине, Петербурге. Обсуждают идею Прогресса, секреты

---

<sup>9</sup> Шустовы – русский дворянский род, восходящий к началу XVII века и записанный в VI часть родословной книги Курской губернии. Занялись предпринимательством и стали успешными. Построили коньячные заводы в Армении, на Украине (Одесса), в Москве.

окультизма и нумерологии, тайны Тибета и Шамбалы – столь велико обаяние Востока. В кружках жарко спорят, развивая теории деволуции и творческой эволюции, а теорию Дарвина предлагают выбросить на свалку истории. И эти – туда же! Они говорят о ноосфере, панспермии, развивают идеи Плотина<sup>10</sup> и неоплатоников, критикуют импрессионизм Леруа, творческую эволюцию Анри Бергсона<sup>11</sup>, идеи нобелевского лауреата Сванте Аррениуса... Интерес к этим проблемам просто зашкаливает. Ну, надо же! Ведь и сто лет спустя, в начале XXI века, об этом будут писать, говорить, показывать в популярнейших программах по телевизору. М-да...

...Какие-то медиумы занимаются астрологией, эзотерикой, столоверчением, спиритизмом, вызывают из потустороннего мира неподдающиеся рассудку и вовсе несуществующие в нашем подлунном мире пугающие энергетические эфирные сущности – прямо *тень несозданных созданий... на эмалевой стене*<sup>12</sup>. А, пожалуй, это забавно. Ангелы и архангелы, тонкий мир и энергетический уровень бытия – и полная тайн, никем не виданная чудесная страна Гиперборея или Атлантида, или Шамбала... Поиски пути в иную, параллельную реальность. В этих кружках вызывают духов предков, читают «Тайную доктрину» госпожи Блаватской, обсуждают шокирующее заявление гегера Ницше о том, что Бог умер и рождается сверхчеловек, вспоминают катрены Нострадамуса... А еще – какой ужас! – изучают магию, каббалистику, занимаются сатанизмом, поклоняются Пустоте, Черному квадрату, Князю Тьмы... И число таких обществ постоянно растет: вот недавно, я где-то читала, в Вене образовалось некое оккультное общество Туле... Боже, просто какое-то умопомрачение – и все это в XX веке!

В кружках поклоняются теперь новым Богам – ими уже стали Разум, Прогресс. Верят в безграничные возможности человеческого Разума. А кому-то удается даже соединить Разум с потусторонним миром. Что ж, ничего странного. Если возможности человека ничем не ограничены, то ему подвластны и потусторонний мир, и эфирный, и надвременье тоже!

И все же: как можно связать воедино эзотерические учения и веру в Прогресс? Не понимаю. Господи, что же дальше?

Наступило весеннее парижское утро – ясное, звонкое, сияющее яркими, совсем уже летними красками, благоухающее свежестью. Небо синее, словно облили его голубыми чернилами. Я вижу, как люди толпятся у газетных киосков, быстро-быстро раскупают газеты, а там что-то жирными буквами напечатано на первой полосе, и что-то горячо обсуждают... Я тоже покупаю сегодняшнюю парижскую *Le Matin*...<sup>13</sup>

Ах, да! Ну, как же я могла забыть! Прямо на первой полосе! Титаник!!! Ну-ка, почитаем.

«15 апреля... Незадолго до полуночи с 14 на 15 апреля комфортабельный британский лайнер «Титаник», самый большой из всех когда-либо сходявших с доков, который всего за несколько дней до того совершил успешное пробное плавание, а 10 апреля вышел из гавани в Саутхэмптоне, что в Великобритании, с заходом в Шербур вечером того дня, чтобы отправиться в свой первый рейс через Атлантику к берегам США, неожиданно натолкнулся на айсберг. Столкновение оказалось трагическим. Спустя всего два часа сорок минут после этой ужасной, ставшей роковой, встречи гигантский корабль затонул в 2 часа 27 минут ночи близ берегов Ньюфаундленда. Из 2224 находившихся на борту пассажиров погибли 1513 (по другой версии 1502) человек! Выжили всего лишь 710 пассажиров».

<sup>10</sup> Плотин – философ, создавший в Египте в III в. философскую школу и учение – неоплатонизм. Идеи Плотина вдохновляли средневековых мистиков, художников Возрождения и поэтов Серебряного века, а его философия нацелена на поиск красоты.

<sup>11</sup> Анри Бергсон (1859–1941), выдающийся французский философ, психолог, писатель, издал в 1907 г. нашумевшую книгу «Творческая эволюция».

<sup>12</sup> В.Я. Брюсов. Творчество.

<sup>13</sup> *Le Matin* (Матэн) – недорогая и одна из самых популярных газет в Париже и во Франции. С начала 10-х гг. XX в. Франция и США делили первое место в мире по выпуску ежедневных газет. Франция была признанным лидером среди европейских читателей.

Какой кошмар! А ведь всего месяц назад эти англичане такую шумиху подняли! Пробное плавание, непотопляемый корабль, новая эпоха в истории мореплавания...

«Титаник» совершал плавание в США. Америка... Слишком она молодая, кипучая. Американцы так и пышут здоровьем, свободны, энергичны, предприимчивы. Чересчур предприимчивы и независимы для Старого Света и вечно пребывают в поисках новизны – старушка Европа переносит это с трудом.

Потрясенная этой страшной катастрофой, с развернутой газетой в руке, я направляюсь в ближайший бар, благо, их тут множество, на каждом шагу А, это же мое любимое кафе, и хозяин мне хорошо знаком. Всегда подтянутый, высокий, до невозможности галантный, одет элегантно, с иголки, из нагрудного кармана его пиджака выглядывает свежeweыглаженный платочек, подмигивает мне изящно сложенным уголком; усы надушены уже с самого утра. О, какой тонкий аромат – я это вижу, чувствую, – а ведь он уже совсем не молод. Да, Франсуа Луи настоящий француз, ничего не скажешь. Я уютно устраиваюсь за столиком на улице, под тентом, защищающим от слепящего апрельского солнца.

Франсуа Луи радостно приветствует меня, убегает в помещение, откуда волнами вытекает сложный аромат: уютный – только что помолотого кофе, сладкий – шоколада, и еще какой-то – свежий, бодрящий, вкусный. И моментально, не заставив меня ждать и трех минут, хозяин возвращается, а на подносе у него – крошечная изящно пузатая чашечка кофе и две крошечных шоколадных конфетки на блюдечке. Все это он ставит передо мной, и я сразу же вижу, что кофе сварен идеально – крепчайший, всего на один-два глотка, с вкусной даже на вид, клубящейся великолепной желто-бежевой пеночкой.

Хозяин, однако, не уходит, он расположен поговорить. Галантно попросив разрешения присесть за мой столик, он сначала выражает свое мнение по поводу гибели «Титаника» и... *Ох уж этих англичан*, у которых все и не могло получиться иначе, *они* всегда такими были – самодовольными, высокомерными, вот ведь что получается, когда зазнаются, тем более, целый народ! После этого Франсуа Луи обстоятельно излагает самые последние новости о болезни его супруги, критикует действия врачей – ну, ничегошеньки они не знают и не умеют! Потом с негодованием в голосе сообщает, что сын его вот-вот опять потеряет работу. Ну, конечно, он так и знал! Вот же шалопай вырос на его голову! И почему все так получается?! Ведь маленьким он же был таким ангелочком! «Видели бы вы его!» Но это все, конечно, мамочка его драгоценная постаралась. Это она его испортила, так избаловала, а он говорил ей, сколько раз говорил, но разве женщина когда послушает, что ей умный человек говорит! Потом, со слезой в голосе, хозяин докладывает, каким мерзавцем оказался муж дочери: двоих детей произвел на свет, а содержать их не может, и все-то он уезжает в какие-то командировки, ненадолго, на день-два, а дочка постоянно плачет – невесть что думает... А еще притворялся, гад! И ведь он, отец, все видел и предупреждал! *Вот как слушаться-то надо родителей!* И Франсуа Луи назидательно поднимает свой длинный и тощий указательный палец вверх, долго держит его точно перпендикулярно земле.

«И вообще, – горестно качает он головой, – в стране черт знает что творится, давно уже порядок пора навести, а то нестабильность, вон какой кризис, и о чем только эти радикалы там, в правительстве, думают! Вот раньше – так был же порядок!»

Все это я знаю уже наизусть, ведь я часто захожу сюда, чуть ли не каждое утро. Поэтому слушаю в пол-уха, потом допиваю свой кофе, приветствую словоохотливого хозяина кратким *Salut!* с отчетливым парижским произношением и покидаю его гостеприимное заведение.

Да, теперь уже я спешу. Тороплюсь в отель – надо собираться. Времени-то остается совсем в обрез, а до гостиницы еще далеко. Взять такси, что ли? Но неизвестно, остановится ли машина в этом месте. Может быть, ее следовало вызвать заранее – попросить хозяина? Надо, однако, попробовать.

...Что-то не слишком уютно мне в этом мире. Время течет очень медленно и лениво... Это непривычно. А с другой стороны, пошаливают анархисты, и царит лицемерная мораль, и не только в Англии, но и в Париже – в *Па-ри-же*, нет, вы только подумайте!.. И женщин ни во что не ставят, и они взбесились, и мужчины тоже взбесились, но по-своему, и все теперь опять стали язычниками: поклоняются огню, стальному кентавру, числу *пи*, дредноуту, пушке, Мировому Злу, войне...

И вообще, я слишком долго задержалась *здесь* — пора возвращаться...

Но по дороге в гостиницу я невольно останавливаюсь.

...О, а это что такое?.. Летняя танцверанда, и пары, сливаясь в восторженном сексуальном экстазе, то медленно, то, все ускоряя темп, страстно касаясь друг друга бедрами, совершают синхронно не вполне приличные движения...

И звучит сладкая и огненно-страстная, чувственная и томительно-волнующая, захватывающая, ласкающая слух, пронзительная и сентиментальная, взлетающая ввысь на гребнях волн наслаждения и увлекающая в сулящие забвение невообразимые дали, вкрадчивая, обволакивающая мелодия... Танец-дуэль, танец-спор, танец-вихрь, танец-соитие.

Ах, да! Это же та самая непристойная рептилия, которой недавно очаровал европейские столицы никому до того не известный сеньор Энрике Саборидо из Аргентины или Уругвая, да Бог его знает? Да, да, конечно же, это танго! Пламенная *Ла Морча*, *Неувядающая*, которую он, без памяти влюбленный, посвятил королеве танго неотразимой Лоле Кандалес...

Или вот еще последний писк моды. Пронзительная «Кумпарсита» – законное дитя сеньора Хосе Родригеса... Да нет, кажется, это другая мелодия. А «Кумпарситу» Европа начнет танцевать уже после Великой войны.

*Скажи-и-те на милость, какое неприличие!* Безнравственный танец! Это не комильфо. Низменно! Непристойно! Омерзительная рептилия. Боже, и куда только катится мир?

Викторианцы шокированы до глубины души. Правда, они несовременны и ничего не понимают в шике...

Вихрь, умопомрачение, безумие. Эпидемия, вакханалия танго.

...А вот уже и я вместе с несколькими подружками пришла на танцверанду – где это? – скромно стою в самом плохо освещенном уголке и с восторгом наблюдаю за танцующими парами. Как восхитительно танцуют они, какая изумительная музыка! Какой шик! Эх, вот бы и мне научиться так танцевать!

Но здесь собрались одни взрослые, таких, как я, стригунков, почти нет. Я прячусь за спины стоящих вместе со мной подружек, иногда только поднимаясь на цыпочки, выглядываю... Ведь они тоже еще не взрослые... Но вдруг кто-нибудь пригласит меня на танец, а я ведь так не сумею! Страх выливается из моих глаз, как чай из опрокинутой чашки, а подружки смеются надо мной: «Ой, да не прячься ты за нашими спинами! Ну что ты стесняешься?» Но как же странно я одета! Обтягивающая голубая кофточка с рукавами-буфами, узкая в ходу, уже не в пол, светлая юбка с причудливым узором открывает красивые туфельки, шляпка с перьями надвинута на самые глаза, в руке я держу длинный кружевной зонтик – прямо как в старом немом кино! Но как сладострастна, как чувственна эта музыка, какие тонкие, глубинные струнки души она затрагивает!..

Да нет же, это никак не могу быть я! Ведь я только что пила кофе в баре и разговаривала с хозяином Франсуа Луи... И потом, она же – ну, *эта* девочка – она же совсем еще ребенок! Но тогда кто же она? Я всматриваюсь в эту девочку. Она кажется мне странно знакомой. Да, конечно же, я ее часто видела. И вообще – глаза вроде бы мои напоминают... Волос под шляпкой почти не видно... Фигура вот очень похожа... выражение лица... Это... я в детстве? Да нет, тогда еще не только я не родилась, но даже и моей мамы на свете не было! И все же... да! На старой семейной фотографии – вот где я ее видела! Это может быть – моя бабушка?

Мамина мама.

Мы с ней смотрим друг на друга. Мамина мама моложе меня в несколько раз. Мамина мама смотрит на меня с удивлением и молчит – и я тоже молчу Ну конечно! Все понятно. Она же меня не знает. Я пришла к ней из будущего – сто лет спустя.

...А далеко-далеко, где-то там, за морями, за долами, за горами, за реками пахло порохом. Уже раздавались издали одиночные выстрелы, стрекотали пулеметные очереди, погромыхивали взрывы... Но никто этого пока не слышал, не чувствовал, не замечал...

Ой...

## Наше время. Я...

Ой! Надо же, какой она – да нет, конечно, я! – совершила нырок или, лучше, заплыв в омут под названием Время, как глубоко занырнула! Интересно, сколько же времени я провела там, в Париже, сто лет назад, а может быть, и еще в каком-то крупном европейском городе? Мне показалось – долго. Несколько месяцев или даже лет, и я даже успела повидаться там с той — девочкой-подростком. А может быть, с ней! Но нет, то была, скорее всего, моя бабушка. Бывает же такое: собственными глазами увидеть свою бабушку девочкой!

А что же со временем? Оказалось, что прошло – я взглянула на циферблат наручных часов и просто глазам не поверила! – всего-то минут тридцать, ну от силы – сорок... М-да... Несомненно, я столкнулась с действием закона больших и малых объемов, запущенного в разных пространственно-временных реальностях. Ну, да, конечно! Ведь каждый человек помнит, как медленно тянулось время в детстве: тогда казалось, что учебный год в школе не кончится *ни-ко-гда*. Время не то чтобы останавливалось – оно просто засыпало сладким сном. А что такое год для взрослого человека? Он пролетает молниеносно! Еще бы! Только поспевай за ним: дни вон как выстреливают – один за другим, один за другим! Прямо пулеметной очередью!

А вот там — но ведь там все по-другому.

«Ну, хорошо, – возразила я сама себе, – но почему же тогда время течет по-разному в различных временных эпохах для взрослого человека?»

«Опять все просто, – размышляла я. – Ведь XX век, в который я попала, тогда только начинался, я застала его детские годы – вот время и скользило медленно, размеренно, не спеша, оно набирало скорость. А в конце столетия оно уже летит стремительно, ведь век стареет, и жизнь его идет к концу».

Нет, все равно такое объяснение вряд ли годится. Мыто ведь тоже живем в *начале* XXI столетия. И потом, все же, как по-разному течет время, когда оно почему-то вдруг искажается, ломается, когда пресекается нормальное течение времени и каким-то необъяснимым, кратчайшим путем соединяются разные реальности. Наверно, они не вполне безопасны, такие перемещения! Так вот затащит в Воронку – в черную дыру, в кротовую нору, в пространственно-временной туннель Эйнштейна – и не вернешься еще, пожалуй!

Вероятно, мое эмоциональное восприятие действительности фатально разошлось с реальностью – вот и возникли неумолимые ножницы времени. Гигантские часы с огромным циферблатом – часы под названием Время – вдруг начали жить своей жизнью. Отдельной от меня, от нее. Наверное, я каким-то образом настроилась на иную частоту маятника Жизни – такой вот получился пространственно-временной континуум. Время провалилось, исчезло, стало *никаким*...

Вот только... зачем тогда этим часам нужны стрелки?

Но как же это все-таки увлекательно – путешествовать во времени через хронологический коридор!

Тогда, сто лет назад, чувство грандиозности, величия овладело значительным количеством людей на земном шаре, и произошло это очень быстро, почти внезапно.

Где, как потерялось достоинство старого мира? Человек разменял свое достоинство на грандиозность и атеизм, на свободу и равенство любой ценой, на вседозволенность, неуважение к жизни человека. А на сдачу получил мелкое честолюбие, расплескал достоинство и самоуважение на пути к величию, разлил его так, что осталось лишь на самом доньшке – разве соберешь теперь?

Разум и прогресс в начале XX века? Ну, ничего себе! Самонадеянный оптимизм, вера в вечный мир затагивали Европу в бесконечные кризисы, неуклонно толкали ее в кровавую

воронку войны. Человечество, как гадаринские свиньи, шагало прямо к пропасти – и ничего не замечало. Ничего себе – *Belle E'poque!*

Обезумевший, потерявший себя где-то на крутых горках двадцатого века Разум прятался от самого себя, от прогресса, от непроявленной реальности и играл с ними то ли в жмурки, то ли в салочки. Рухнула и разбилась вдребезги идея божественного происхождения власти, и люди перестали уважать сначала монархов, затем вообще всякую власть, а часто – самих себя. Человек с улицы бросил вызов аристократии. Массовый век вызвал на бои без правил старую элиту, прицелился не в бровь, а прямо в глаз элите вообще. А в России власть слабела с каждым месяцем, днем, часом. Власть, словно снулая рыба, судорожно зевала, таращила свои полумертвые, уже подернутые мутной, белесой, застывающей прямо на глазах пленкой глаза... а потом она умерла.

Но и повсюду в Европе уходили в прошлое индивидуализм, голубая кровь, хорошее происхождение, образованность, достоинство и нравственность, да и теория Дарвина, в ее примитивном изложении а ля Томас Хаксли, оказалась как нельзя кстати. Затем человечество рухнуло в пропасть Великой войны... А после мировой войны разные страны пошли разными путями, стали расходиться вместо того, чтобы сблизиться. Свобода – эта старая, как мир, мечта, этот старый кумир, напяливший на себя новые, почти не узнаваемые шутовские одежды, – свобода захлестнула мир огромной мутной волной. Кто-то сумел выплыть, не захлебнувшись в отвратительной горько-соленой жиже... Судьба других была определена как минимум на столетие.

Ух, какой шторм свободы поднялся тогда в нашей стране! Как захлестнули ее, как затопили волны этой неуправляемой свободы!

Какой узнаваемый облик приобрела эта свобода, какой шутовской колпак нацепила она себе на голову!

Дашь *швободу!!!*

Гопникам захотелось *швободы*.

Что заставляло этих людей терять человеческий облик?

Вылезла из щелей и дыр, показала острые клыки социальная зависть.

А Время стало мстить за себя. Оно завязалось в тугий узел, разорвалось, извернулось сотнями мерзких ядовитых гадов, и...

А, вы хотели сильной власти?! Так она придет очень скоро! Пройдет всего несколько лет – и вы получите сильную власть. Ах, вы хотели свободу-анархию? Так получайте произвол и диктатуру!

Советская страна устремила на покорение пространства, а заодно и времени, растаптывая свободу и достоинство простого человека. Но по плечу ли покорить пространство и время обычному смертному, даже если он Вождь Всех Времен и Народов?

А за величие диктаторов XX века, за близость коммунистического Завтра придется расплачиваться в течение столетий. И не только России.

...И вдруг как-то неприятно замелькало перед глазами, замаячило где-то далеко, на заднем плане, зловещее сооружение гильотины, показались где-то в отдалении фригийские колпаки экзекуторов...

Ой! Ну, в точности все так, как я рассказывала недавно студентам и, описывая якобинскую диктатуру, рисовала на доске красный фригийский колпак якобинца и косою острым нож этой убийственной конструкции. Вот, вот оно! Прямо сейчас, всего через несколько секунд неумолимый этот нож падет на безропотно склоненную голову – и отсечет ее очередной жертве...

Я отвернулась, изо всех сил зажмурилась. Ну уж нет, дудки! Вот туда-то мне точно не нужно. Не дай Бог попасть в эпоху Террора! Неважно, какой чеканки – якобинской, сталинской, нацистской.

В воздухе остро запахло опасностью. Страхом.

Да нет же! Это ерунда! Какая опасность может угрожать в наше время? Эпоха диктатур давно прошла, они остались в XX столетии, а история едва ли повторится, в точности воспроизведя старую модель власти. Хотя... так ли? Ведь иногда эта затейница выкидывает такие номера, что только диву даешься.

И все-таки как страшно, как жутко попасть в непроявленную реальность пространственно-временной Воронки!

## Часть I Шалости воронки

### Наше время. Я...

Я не торопясь пошла по тропинке в глубь леса. Да, в обычные дни трудно позволить себе не торопиться... Просто остановиться. Оглянуться.

С лекцией все понятно – теперь я знаю, как начну рассказ о двадцатом столетии.

...А ведь погода сегодня – нет, не просто яркая, солнечная. Там, у здания пансионата, снег начинал таять, с крыш закапало. А здесь, в лесу, сумасшедшая от счастья зима торжествовала, заходясь от восторга по каждому, даже самому незначительному поводу – просто потому, что она такая красивая, здоровая, вечно молодая, – и звучала на самой высокой ноте. Вот как бывает, оказывается! Побываешь во временной дыре – и начинаешь совсем по-новому, отчетливее, глубже, острее чувствовать окружающее тебя настоящее. Да, ленивая, сонная у человека душа. Что же нужно, чтобы она проснулась и начала замечать, как прекрасен этот мир? Интересное дело? Друзья? Любимый человек рядом?

Я с трудом вернулась на постоянное место жительства – в февральский лес подмосковной России начала XXI века...

Золотисто-оранжевое солнце излучало радость, смеялось, ослепляло. Оно полыхало, струилось, поливало золотым светом мачтовый лес, добираясь до самых дальних его уголков. Солнце разбаловалось, играло с солнечными зайчиками, подбрасывало их на верхушки высоких сосен, пускало пучками сверкающие лучи на свежую лыжню, на лесную тропинку, убегающую лесом к старым дачам, наполняло ярко-золотым маревом, переливая его через край, глубокий овраг, отделявший лес от старой академической Мозжинки<sup>14</sup>. Снег искрился, весело поскрипывал, вкусно хрустел под ногами, как поджаристая хлебная корочка за обедом. В воздухе разливался свежий аромат только что нарезанного на кусочки спелого арбуза.

Жадными глотками, обжигая горло, я пила горячий золотой напиток, которым гостеприимно угощало меня солнце. Напиток этот лез в уши, в глаза, проникал под кожу – я просто захлебывалась им!

*Мир вскипел однажды.  
Он запылал и не погас...*

Странно, много лет не вспоминала любимую мелодию и эти стихи совсем забыла, а теперь, вдруг... Растревоженная солнцем и радостью и боясь разбудить тишину, я замедлила шаг, чтобы снег не так хрустел под ногами, и принялась тихонько, вполголоса, с удовольствием напевать старую итальянскую песню, на ходу меняя, переставляя слова. Ноги сами несли по лесной тропинке, убегающей в Мозжинку среди заснеженных деревьев. В теле ощущалась непривычная легкость, почти невесомость: сверкающий лес излучал непонятную живительную силу. Хотелось петь, смеяться... И внезапно, как яркая вспышка, промелькнуло забытое, очень давнее – из детства, из другой жизни? – теплое, золотисто-оранжевое воспоминание... свер-

---

<sup>14</sup> Мозжинка – сегодня дачный посёлок на высоком левом берегу р. Москвы (на Мозжинских горах) чуть восточнее Звенигорода, до начала 80-х гг. XX в. – территория пансионата Академии наук.

кающие косые солнечные лучи-столбики... Я точно знала: *там* жило счастье... Но когда это было, где я видела тот золотисто-оранжевый счастливый мир грез – не могла вспомнить.

Зато тревога, давящая, зажимающая, не дававшая покоя с самого утра, неожиданно отпустила, и стало светло, легко, радостно.

Я постояла на старом деревянном мосту, перекинутом через глубокий овраг, на дне которого вился, клубясь, захлебываясь паром, небольшой, в самую стужу не замерзающий ручей.

Вдоволь налюбовавшись строгим, даже торжественным видом этого величественного альпийского пейзажа подмосковной Швейцарии, послушав ее гулкую, пронзительную тишину, продолжила путь и скоро оказалась в старом заснеженном парке Мозжинки.

Академические дачи встретили меня оглушительным молчанием, от которого заложило уши: вероятно, зимой сюда приезжали редко. Внезапно вспомнилось, как весело я проводила здесь время очень давно, отдыхая на одной из дач, когда в них еще располагался пансионат. Как это было давно! Страшно вспоминать!

...Мир ожил, наполнился странно знакомыми, причудливыми звуками, заиграл дивными яркими красками. Послышались звонкие, полные радости, беззаботные молодые голоса, музыка, громкий смех ... И – ой! Кто-то запустил снежком прямо мне в спину, попал между лопаток, игриво засмеялся, схватил за руку... Почудилось, зовет по имени: «Ну что ты там копаешься? Пошли скорей к речке – на санках с горы кататься!..»

Обернулась – конечно, нет! Кругом тихо. Пусто. Ни души. На залитой солнцем заснеженной дорожке парка – никого. Просто воспоминания нахлынули такие неподдельно живые, отчетливые, искрящиеся, как снег в парке Мозжинки. И на секунду показалось: я вернулась в прошлое, в давно ушедшие морозные дни, где правила бал радость, жило счастье, осталась юность... Ожили, задвигались, подступили тени прошлого. Ко мне вернулись, заговорили на разные голоса забытые друзья-товарищи тех давних дней. Золотисто-оранжевый флер растекался по старому парку..

Дорожка привела к старинному двухэтажному белому особняку с колоннами. Когда-то здесь располагались столовая пансионата, администрация, кинозал, бильярдная... Как весело мы проводили там время по вечерам! В том кинозале я посмотрела еще черно-белый французский фильм «Супружеская жизнь». Трогательный фильм, пронзительный, оглушающий – он запомнился на всю жизнь. Как странно, как трагично: неужели любящие люди не могут научиться слышать и слушать друг друга? Неужели нежелание понять даже самого близкого человека заложено в самой человеческой сущности?

Бьющая фонтаном, переливающаяся через края радость. Встреча с юностью...

Вдруг за спиной захрустели по снегу быстрые легкие шаги, кто-то подошел, неслышно ступая, едва коснулся моего плеча, тихо-тихо позвал по имени. Но ведь на дорожке парка не было ни души! Почудилось? Я резко обернулась и – от неожиданности даже вскрикнула.

Это была *она*. Юная, беззаботная, улыбающаяся. Господи, ну конечно! Вот почему с самого утра меня так влекло сюда! Словно не прошло... сколько? 30... 35 лет?.. Много.

Она молчала. Только улыбалась. Мы, не говоря ни слова, смотрели друг на друга. И было что-то такое в ее глазах... Вопрос? Сожаление? Горечь?

Но я не понимаю, что же такое со мной случилось сегодня? Время снова завернулось петлей, пролилось в узкий туннель...

Стоп-кадр!

А затем стали наступать, сменяя друг друга, кадры кинохроники. И вдруг возникла перед глазами гигантская переводная картинка. Она проступала все отчетливее и, наконец, совершенно заслонила от меня ее, лес, парк, солнце... Я дотронулась до картинка пальцем – прежнее изображение исчезло, зато появилось какое-то новое, начало проявляться, как полароидный снимок, а затем снимок ожил, задвигался сам собой. Словно в DVD фильме, прокручиваемом в замедленном темпе 1/8.

Что это? Снова временная дыра? Ворота в виртуальную реальность? Портал в параллельный мир? Трансцендентная реальность?

...В тот солнечный майский день много-много лет назад она...

## Много лет назад. Она...

...В тот солнечный теплый майский день так хотелось погулять, встретиться с Аленкой – школьной, *родной* подругой, сходить в кино...

Ведь Первое мая – праздник, все веселятся, гуляют, а ты вот сиди тут и пиши курсовую работу! А через пять дней сдавать зачет по латыни и конспекты по истории Древнего мира! Слава богу, вчера привела в порядок конспекты лекций по КПСС, закончила конспектировать Тезисы к столетию В. И. Ленина... Вот ведь как все навалилось! И мама звонит чуть ли не каждый час – беспокоится, проверяет, как продвигаются дела.

Она смотрела в распахнутое окно и с радостью замечала: май решительно вступает в свои права. Май всегда был ее самым любимым месяцем. И правда, ее отец часто повторял: «Как же может Майя – и не любить май!»

Деревья прямо на глазах надевают на себя широкие светло-зеленые кимоно, окутываются нежной прозрачно-зеленоватой кисеей с изумрудными пуговичками. Небо смотрит свысока. Оглушительно счастливое небо – глубокое, синее-синее, и во всем огромном небе не видно ни одного, даже самого крошечного облачка. Оглушительно счастливое небо. Словно вечером накануне Первомая старательные хозяйки устроили генеральную уборку: надели фартуки, повязали головы косынками, взяли тряпки – и вымыли небо, будто гигантское окно, средством для мытья стекол, а затем еще и тщательно протерли его до блеска, не оставив на нем ни малейшего пятнышка. И воздух дышит радостью, искрится...

В конце первого курса приходилось много заниматься. Лекции, семинары, доклад, латынь и итальянский. Теперь вот курсовая по истории римского права в первом веке, и зачеты, как назло, надвигаются... А потом еще целых четыре экзамена! И до окончания сессии так далеко!

Поневоле часто вспоминалось, как весело она отдыхала в минувшем феврале в академическом пансионате в Мозжинке. Сколько новых знакомых – девчонок, ребят!

...Солнце, лес, замерзшая запотевшим зеркалом речка. Февраль выдался холодный, снежный – высокие сугробы намело кругом. Снежки, катание на коньках по льду речки, на лыжах по лесной лыжне! Кино, санки по вечерам после кино, мороз, румяные, пылающие от мороза и радости щеки, жаркое дыхание рядом, слетевшие на снег шапки, перепутавшиеся волосы...

Потом тепло большого зала – и партия в бильярд, а музыка гремит, и танцы до упаду, флирт, смех, пары, поцелуи в темных – и не очень – уголках... А поздними вечерами или уже ночью – серьезные разговоры об Овидии, о Платоне, о греческой философии, высший пилотаж крылатых римских изречений, и обязательно на латыни – кто больше назовет! Ну и болтовня ни о чем или разговоры о сокровенном, о мальчиках, о Любви...

Ну вот, и опять отвлеклась. Целый час прошел, а ничего не написано.

День спешил, быстрыми шагами шел к вечеру. В окно постучал голубой предвечерний час, прозрачный и звонкий, как бывает только в начале мая. Она распахнула окно настежь, чтобы впустить его.

Все бы отлично, только вдохновение вдруг совершенно пропало, словно упорхнуло в раскрытое окно, и она не могла написать больше ни единой строчки. Вот как размечталась, а курсовую – хоть умри! – надо сдавать сразу после праздников.

К вечеру уже как-то забылось, что Первомай шагает по стране. Отгремел показательный первомайский парад, прогромыхали по брусчатке Красной площади грозные танки в *сто тысяч тонн*. Отгрохотали бронетранспортеры, чудом только не ломая, не кроша мостовую, угрожая советским людям и всему миру, убеждая их в непревзойденности и непобедимости новейшей боевой техники, в превосходстве советской идеологии и организованного

оптимизма. Отрапортовала криками «Ура!» и «Слава!», кумачовыми знаменами, кумачовым настроением отрежиссированная от начала до конца первомайская демонстрация...

Она терпеть не могла шагать в праздничной шеренге вместе с советским коллективом вперед, к победе коммунизма, и захлебываться счастьем революционного советского праздника. Этого не позволял ей врожденный, хотя до какого-то времени дремавший индивидуализм. Ох уж этот коллектив!

Конечно, в раннем детстве она любила ходить с родителями на демонстрации, хотя это случалось довольно редко. Взрывающие ввысь, реющие высоко-высоко в небе разноцветные шары, маленькие красные флажки в детских руках, красочные транспаранты, которые несут взрослые, торжественные марши в строю, неосознанное чувство плеча – и праздника! Звонкие песни. А еще она всегда была так красиво, так нарядно одета – и с бантами в косичках! Да и в начальной школе тоже было интересно: на груди октябрятские звездочки с изображением маленького Вождя, потом прием в пионеры, торжественная клятва: «Я, юный пионер...». Красные галстуки, значки, пионерский отряд, звенья, увлекательные соревнования: кто соберет больше килограммов макулатуры, какое звено займет первое место в классе, победит в школе, а может быть, даже в районе... И, конечно, никто не задумывался в те звонкие, радостные детские годы, что стояло за всеми этими соревнованиями, какую цель преследовали партия и правительство огромной державы.

Весь день по радио и телевидению передавали бравурные марши.

*Кипучая, могучая, никем непобедимая, страна моя!*

Вечером все смолкло. Из распахнутых окон больше не рвался наружу жизнеутверждающий оптимизм советской песенной классики.

Правда, надо признать, бодрое настроение эти марши создают и энергию вселяют...

Зато настала очередь концертов в честь Международного дня солидарности трудящихся – все те же советские патриотические песни.

Примерный день. Примерный праздник.

Прилетели-таки волшебники и бесплатно показали первомайский спектакль. И, конечно же, по всем программам, а их-то всего раз, два – и обчелся! Лучше бы какой-нибудь старый фильм дали посмотреть сегодня вечером. Кажется, завтра будут показывать «Летят журавли». Но это только завтра. А сегодня... Хотя... все равно сегодня некогда... иначе никогда курсовую не закончить.

«Лживый пафос лживых пафосных деклараций советского пафосного декларативного рая», – повторила она несколько раз, нарочно путая, цепляя слова друг за друга, меняя их местами, двигая этот словесный паровозик с вагончиками сначала вперед, потом назад по игровой железной – только словесной – дороге.

Ох уж эти всенародные праздники, с руководителями партии и правительства, застывшими в привычной позе на Мавзолее и на трибунах, с обязательными маршами, бесконечными – и тоже обязательными – алыми стягами и ареопагом вождей на портретах, с их безжизненными лозунгами, кумачовыми транспарантами и разноцветными облаками воздушных шаров в высоком васильково-синем первомайском небе!

А еще – с народными гуляниями, с непременно обильными возлияниями! Застолья редко планируют от начала до конца, но для них всегда находится предлог, а часто они затягиваются и, увы, не на один день. Хорошо, что в их доме этим никогда не увлекались.

Вот он и появился на свет – прозрачный синий вечер, ясный и теплый.

Из раскрытых окон слышалась теперь, к счастью, не революционная, очень популярная в ту весну песня Валерия Ободзинского<sup>15</sup>:

*И надо б знать – что же случилось?*

Бриллиантовый голос ее любимого певца – кумира 1960–1970-х годов, покорителя сердец миллионов советских людей – обволакивал, очаровывал, заставлял сердце трепетать, пробуждал неясную тоску...

Что это было? Предощущение чего-то огромного, захватывающего, неподвластного разуму, ожидание чуда, весенняя капля любви?.. Тоска по волнующему волшебному чувству, уже много месяцев жившая в ней, но до сих пор дремавшая, теперь вдруг очнулась от долгого сна, потянулась, зевнула, отозвалась тревожной сладкой дрожью во всем теле, дотронулась до сердца, прикоснулась к щекам, заставив их заполыхать... Жажда любви, возвышенной, неземной любви, какой, может быть, и не бывает в жизни, вспыхнула в ней, опалила жарким огнем. Мечта о рыцарском, романтическом обожании, о понимании – она читала об этом, знала это только из книг...

Ну вот, конечно! Так затянуть написание курсовой – а теперь надо сидеть все праздники!

Захотелось чаю. В кухне, зажигая газ и ставя на конфорку чайник, она вдруг вздрогнула – таким неожиданным оказался звонок в дверь. Но самое удивительное было в том, что она точно знала, кто пришел, словно ждала именно его сегодня вечером.

Ну конечно, это был Олежка!

Коротко подстриженные светло-каштановые волосы, как всегда, тщательно причесаны. Принарядился, элегантно одет: тонкий, безупречного покроя, красивый джемпер, в тон ему брюки, а стрелки – стрелками хлеб резать можно! А туфли начищены так, что он может в них посмотреться, как в зеркало и, достав маленькую расческу, немного поправить волосы (как он всегда и делает, приходя в гости...). Все это она отметила с удовольствием. Что ж, ничего удивительного, все правильно. Он всегда так выглядел, чуть ли не с пятого класса, ведь уже тогда он просил свою бабушку погладить ему брюки, даже если просто шел гулять...

А темно-серые глаза смотрят чуть насмешливо – вон какие они шустрые, эти горячие смешинки с хитринками, вон же они притаились, где-то на самом доньшке глаз, и снова затевают игру в прятки – ух ты, как носятся! И улыбается он по-весеннему, светло, открыто... Да нет, вот как раз в улыбке что-то такое прячется! И вид немножко смущенный, но почему-то... может быть... непонятно... торжественный, что ли? Или показалось?

Г-мм, это довольно неожиданно – его приход. Он не появлялся уже давно. И вообще, они же поссорились! Надо же ему было так себя вести! Заявился тогда, недели две назад – или уже больше? – поздно вечером, да еще и сильно навеселе, и в таком виде начал признаваться ей в вечной любви, вел себя не совсем по-товарищески, а потом, когда она выпроводила его, обозлил ее отца ночными звонками. Вот после этого они и поругались: не может же она терпеть его выходки!

И ее отец ему тоже тогда высказал все, что думает о его поведении.

Ее дружба с *этим каторжником*, начавшаяся еще в школе, не вызывала восторга ни у отца, ни у мамы. В девятом классе Олежка, ее одноклассник, известный школьный хулиган, был осужден за драку и оказался в колонии для несовершеннолетних, где просидел целый год.

После этого он никак не мог окончить школу, рано стал выпивать с приятелями – и отнюдь не пиво! А еще, с точки зрения ее родителей, он был не слишком воспитан. И потом,

---

<sup>15</sup> «Что-то случилось». Слова: Дм. Иванов, музыка Темистокле Попа. Исполнял ее, сделал шлягером Валерий Ободзинский.

это его пролетарское происхождение, его окружение, среда – пропасть между их семьями была непреодолима, несмотря на декларируемое советской властью всеобщее равенство.

И все-таки сегодня она была рада его видеть. Олежка ей немножко нравился, еще с восьмого класса. Ничего серьезного, конечно. Но она чувствовала, что нравится ему. А как хочется, как нужно это знать в семнадцать лет!

– Здравствуй, Майя! С праздником тебя! С Первым мая. Что делаешь?

– Привет! И тебя тоже – с праздником! А, да вот курсовую пишу, мне ее уже сдавать после праздников.

– Слушай... а ты... вообще-то... ну как... а ты не хочешь слегка передохнуть? А? А то сидишь здесь, наверно, целый день, в душной комнате, а сегодня ведь все-таки праздник. Знаешь, что... а давай в кино сходим или ко мне зайдём – у нас друзья в гостях, весело! А то просто погуляем. Как ты захочешь. Ну, давай, хоть ненадолго!

Олежка вел себя немного скованно – он явно испытывал неудобство. Держался натянуто, и было в его поведении сегодня нечто неуловимое. Точно! Что-то ее сразу насторожило. Да нет! Ничего странного в этом как будто и нет: он ведь такой неожиданный! Чуть позднее серой мышью проскочило, царапнуло ощущение – он что-то решил?! И это касается ее... Да, похоже... Точно!.. Да нет, показалось!

Но он так просил: «Ну давай прогуляемся, сходим куда-нибудь, куда ты захочешь... Всего-то на час-полтора, не больше!»

Может, и правда стоит? Ведь так надоело корпеть над курсовой... Да и время совсем еще детское. И правда, ничего же не случится – она еще легко успеет написать страницы три, а то и четыре, когда вернется.

Она попросила его подождать внизу, у подъезда, и быстро закрыла за ним дверь.

– А кто это приходил-то, а, Майк? – это бабушка Юля вышла в прихожую.

Бабушка, родная тетя отца, заменившая ему рано умершую мать и растившая его с раннего детства, приехала в Москву из Горького и жила с ними всегда, сколько она себя помнила: своей семьи у бабушки не было. Маленькая, шуплая, совершенно седая, всегда в очках и в белом платочке в черную крапинку, с таким характерным, уютным, домашним, как чашечка свежесваренного кофе и тарелка гречневой каши по утрам, волжским произношением, от которого ей так и не удалось избавиться за годы жизни в Москве. А вот отец, уехавший из Горького в ранней юности, еще во время войны, забыл горьковский говор совершенно.

– Бабушка, да ну никто, никто это не приходил! Аленка это, кто же еще! – на голубом глазу соврала она. – Я сейчас к ней ненадолго сбегая, ладно? Только туда – и прям сразу обратно! А то она забегала, сказала – не может сейчас из дому уйти: гости у них.

Аленка была ее лучшей подругой. Дружили они еще с пятого класса и сидели всегда за одной партой. Но и теперь, окончив школу, они дня не могли прожить без общения, забегали друг к другу по несколько раз в день и всегда были в курсе дел друг друга, а в восьмом классе даже влюбились в одного мальчика – их одноклассника. Поэтому бабушку не удивило, что Аленка снова – уже второй раз за сегодняшний день – забежала к ним.

– А, ну ладно, сходи, сходи, конечно, погуляй, пока еще рано, а то ведь чего же дома-то сидеть в праздник? Да... А я вот моненько *поспала*, – Бабушка сладко зевнула, прикрыв рот ладонью. – Да... Ты вот токо отцу-то поди скожи обязательно, а то он том, чай, роботот и не знот. – И бабушка ушла в большую комнату смотреть телевизор.

Она выключила в кухне почти уже выкипевший чайник и быстро оделась. Вот здорово! Как будто чувствовала: еще днем вымыла голову своим любимым голубым болгарским шампунем – от него волосы становятся мягкими и пушистыми и приобретают золотистый оттенок, только вот, поди, достань-ка еще его! – с удовольствием причесалась, слегка подкрасила глаза.

Проходя через гостиную, она услышала знакомую песню:

*Ту заводскую проходную, что в люди вывела меня...*

Это бабушка включила телевизор. А, значит, снова показывают «Весну на Заречной улице». Хороший фильм, только она знает его уже почти наизусть и сегодня смотреть уже не будет.

Некоторое время она постояла, не входя, на пороге кабинета, наблюдая за отцом. Он, как всегда, работал и в праздник. Склонился, даже как-то сгорбился весь, сидя за письменным столом, писал не то докторскую диссертацию, не то конспект новой лекции.

Редко-редко отец что-то зачеркивал в своих записях, потом методично, листочек к листочку, складывал уже исписанные ровным разборчивым, очень мелким почерком странички.

Время от времени он вполголоса зачитывал сам себе какие-то пассажи, покачивая в такт головой, совершал правой рукой одному ему понятные равномерные круговые движения, словно сам себе что-то диктуя или рассказывая, затем, взяв ручку, что-то аккуратно записывал на своих маленьких листочках... Он весь, с головой, ушел в работу.

«Ага, ясно, к лекции готовится, – поняла она. – Надо же, и ведь сам, по своей воле, сидит, корпит над лекцией – никто же его не заставляет, а до лекции еще целых три дня!»

А на столе порядок удивительный, для нее просто непостижимый, несмотря на разложенные, казалось бы, в беспорядке бумаги, какие-то толстые тетради, раскрытые книги... Чуть выждав, она подошла, окликнула, обняла его за шею, клюнула в макушку.

Отец оторвался от какой-то книги и вопросительно посмотрел на нее:

– Ты что-то хотела, а, Майк?

– Да, хотела вот ненадолго выйти, проветриться, забежать к Аленке, – легким тоном, как бы между прочим, сказала она. – А потом – скоро – вернусь и снова засяду за курсовую.

– Да? Ну, хорошо, иди. Только возвращайся не очень поздно.

Олежка ждал ее у подъезда.

Вот с этого звенящего синего майского вечера и началась ее новая жизнь. В этой жизни жарко полыхали зарницы, тяжело, угрожающе нависали багрово-красно-черные грозовые тучи, сверкали ослепительными серебристо-белыми вспышками молнии, громыхали оглушительными раскатами грома грозы.

Белым облаком стремительно летела надежда, то загорался, то затухал пожар ожидания, жег, неистовствовал ветер страсти, закипало горем в котле наслаждение, кричала – раненая – боль, било током высокое напряжение, отчаяние.

Олежка пригласил ее к себе домой. Там было весело и шумно: гости, празднично накрытый стол, музыка, всякие вкусные угощения, остродефицитные деликатесы, принесенные его матерью из магазина, где она работала.

Его мать и бабушка приветливо встретили ее, усадили за стол, стали угощать – они ее хорошо знали. Олежка сел рядом с ней.

После ужина он пошел провожать ее домой. А их сообщница – серебряная звезда, крупная, яркая, летящая в кобальтово-синем небе, как игрушечный самолетик, низко, над самым горизонтом, встречала, провожала и хитро подмигивала им во время пути.

Пути длиною в жизнь.

Они шли медленно, часто останавливались. Он смотрел в ее глаза темно-серыми глазами, ставшими внезапно такими яркими, горячими. Взгляд этот то обжигал, то обволакивал густым туманом, проникал внутрь, затягивал в омут горячей острой опасности. Земля вдруг задрожала, закачалась под ногами. Сладкая дрожь пробегала, как легкая, даже приятная судорога, по телу, смятение, растерянность, тревога толкались, отпихивая друг друга... И какая-то совсем уж непонятная, судорожная радость овладела всем ее существом, радость, возникшая именно

от этого острого чувства опасности, – она вдруг осознала это отчетливо – как будто кто-то рядом толкнул ее и громко произнес: «Опасность!»

Так бывало в раннем детстве, когда набедокуришь. И потом, лет этак в тринадцать: когда родителей нет дома, ты, позвав в сообщницы главную подругу Аленку, вдруг приложишься, как бы невзначай, к стоявшей в баре бутылке коньяка – ну, совсем чуточку-чуточку, самую малость! Может, родители и не заметят? Или, взяв тайком из лежавшей в баре пачки сигарет две – для себя и Аленки – и закрывшись от бабушки в своей комнате, сделаешь две-три затяжки...

А еще ей вдруг почему-то подумалось... «Вот! Наконец-то она совсем взрослая, у нее роман, и вот-вот начнется взрослая жизнь! Ведь у нее же свидание! Настоящее любовное свидание, как у Сани Григорьева и Кати Татариновой в сквере на Триумфальной – и их первый поцелуй»<sup>16</sup>.

И себе самой никак не объяснить, отчего возникло вдруг это непонятное, острое чувство тревожной радости, а может быть, и счастья. Возможно, потому, что впереди еще целая жизнь – и совсем скоро взрослая жизнь. И в плоть и кровь проникала уверенность, неизвестно откуда появившееся *знание*, что счастье непременно будет – и будет огромным, как сам мир! Ведь иначе непонятно, зачем же дана тебе эта жизнь.

Она еще успела подумать... Нет, скорее снова услышала чей-то голос – чей? – предостерегающе прошептавший: «Стоп! Подожди. Подумай, что может из этого получиться?..» Но слишком тихим был этот голос, и слишком сильным и неотвратимым – то непостижимое, огромное, постепенно заполнявшее ее всю чувство, что неудержимо увлекало, затягивало в горьковато-сладкую темную неведомую *Воронку*...

Страшно... Сладко... Опасно... Но так хочется пролиться туда, в нее, внутрь... Так хочется поверить!

*Нет. Не надо. Опасно. Нельзя. Там тупик! Стоп!*

*Да! Хочу! Это счастье! Оно будет! Точно будет!*

Разум и логика затеяли игру в прятки с интуицией и чувствами.

Нет! Она не могла воспротивиться этому внезапно захватившему ее чувству Щеки полыхали, руки были холодны, как лед. Она вся дрожала. Шустрые, горячие смешинки с хитринками в его глазах прожигали насквозь, завораживали – зачарованная, она не могла отвести от него своих сине-серых глаз. И слушала его голос, и не понимала, как же могла его забыть, ведь ей это всегда так нравилось: слова у него торопятся, бегут-бегут друг за дружкой вдогонку, и перекатываются, и кувыркаются, и играют друг с другом не то в догонялки, не то в салочки, а последние слова стремятся опередить, перегнать, перепрыгнуть через те, которые он произнес раньше... Да, вот так он всегда говорил, когда был увлечен, когда ему было хорошо... И с наслаждением вдыхала его запах – горьковато-сладкий, мягкий, почти неуловимый... запах неповторимый, обволакивающий, очень мужской и как-то странно, непонятно почему знакомый, но совершенно забытый, словно родом из детства... или из другой жизни – она не знала, не помнила.

...И внезапно она его вспомнила, этот запах. Как же он притягивал ее еще тогда, в восьмом классе, когда они ходили по вечерам гулять вчетвером – она, Аленка, Олежка и Серый, ездили на каток «Кристалл» в Лужники. И там, на катке, он однажды ее поцеловал... Вечер студень, мороз обжигает лицо, хорошо, что ветра нет! Но им все нипочем, тепло, куртки распахнуты, шарфы сбились на сторону, а щекам горячо, вон как пылают. Они с Олежкой катятся быстро-быстро, взявшись за руки, весело болтают, хохочут... Вот у нее слетела шапка, а он быстро подхватывает ее и сам напяливает ей на голову и что-то приговаривает ворчливо, но ничего не слышно – музыка распростерла крылья над катком, порхает, летит, гремит... а руки

<sup>16</sup> Главные герои романа Вениамина Каверина «Два капитана».

у него горячие-горячие, а волосы у нее запутались, растрепались, полощутся по ветру. И он пытается их пригладить, пристроить шапку на место, легкими касаниями дотрагивается до ее лица, шутит, подсмеивается над ней. Все, получилось, и они лихо катятся дальше и громко смеются – ой, как быстро и весело, аж дух захватывает!

Так бывает во сне, когда летишь куда-то, легко-легко, и не можешь остановиться... А потом музыка изменилась, и потекла, разлилась над катком какая-то тягучая, трогательная, очень нежная мелодия, и они тоже покатались медленно-медленно, в такт музыке, и уже не смеялись, а только молча смотрели друг другу в глаза. И вот тогда он притянул ее к себе и поцеловал, тоже нежно и вроде бы мимолетно, случайно – но как-то *особенно*... До чего у него губы горячие, обжигающие, как неуловимы его движения, какое жаркое дыхание у них обоих... Ой! Что это еще за шуточки? Нет, это было уже что-то другое. И сам-то он, наверное, не ожидал такого, смутился, кажется, покраснел, и они еще чуточку, пока не погасла над катком последняя искра той нежной мелодичной чудо-песни, покатались вместе – и молчали. А потом, когда началась новая мелодия, он догнал, схватил за руку, закружил на льду Аленку и до конца вечера катался уже только с ней... Но ведь и тогда этот запах показался ей каким-то особенным. А еще и откуда-то смутно знакомым.

Зима. Детство – или уже юность? Мороз и музыка. Румяная горячая радость. Искренний невинный флирт...

И еще... Его тогда освободили из колонии, и он сразу же пришел к ней в гости – такой счастливый, полный надежд, настроение приподнятое, нарядный... И вот тогда она тоже ощутила его, этот запах...

Интересно, помнит ли он об этом?

*И ты вслед за ним устремилась беспечно, легко.  
Зачем? Я не знаю. По неизвестной причине...  
Где ты?...*

Посмотрел на них тихий кобальтово-синий вечер, чуть слышно вздохнул, недоуменно пожал плечами и быстро ушел прочь. Только несколько раз оглянулся украдкой. Обиделся, наверное.

Что же случилось? Она не понимала. Голова кружилась. Сердце стучало медленно, гулко, тревожно. В звездном темно-синем кобальтовом небе громыхал гром... Или то салют гремел? Да, кажется... гремел салют, щедро поливая небо разноцветными струями, раскрашивая его яркими сверкающими брызгами небесного фонтана... И летали молнии, и ослепляли. Только они ничего не видели и не слышали. Потом темный закоулок у какого-то дома. Потом какой-то подъезд...

Что это было? Внезапная вспышка? Озарение? Ливень, первая гроза в начале мая? Но небо было чистым, вон как звезды ярко светят, подмигивают им с неимоверной высоты. Термоядерный взрыв? Какое-то иное – четвертое, пятое, седьмое измерение? Потусторонняя реальность?

Но что-то происходило.

Они пропали. Они ничего не видели вокруг себя. Улица пропала. Звезды погасли. Весь мир погас... Пришел кто-то огромный, в длинном, до пят, черном пальто и черной шляпе с широкими полями, и потушил сразу все фонари на свете. Старый мир взорвался, раскололся, закончился. Горьковато-сладкая теплая темная Воронка затягивала их все глубже, глубже... бесповоротно, а была она бездонной, бесконечной – и вернуться назад оказалось уже невозможно. А тут еще и время... что-то такое случилось и со временем. Вероятно, тот огромный черный тип в пальто и шляпе сотворил что-то с часами: сломал стрелки – и испортился механизм.

Огромный маятник часов, расположенных на самой вершине небесного свода, раскачивался все быстрее, быстрее, распиливал, раскалывал, крошил время, а часы тикали – она вдруг отчетливо услышала это – неравномерно, со странными, как при аритмии, перебоями и неправдоподобно громко откуда-то с высоты времени. Но скоро это назойливое тиканье прекратилось, часы остановились, а время запетляло... Оно потекло вбок. Назад. Вперед. В каком-то неведомом направлении. Потом время совсем остановилось или, может быть, наоборот, полетело стремительно... Она не понимала, но со временем точно что-то случилось...

Они ничего не слышали вокруг себя – звуки мира погасли. Остался стук сердца – ее ли? о! его ли? его ли? о! ее ли? А еще его шепот, отчаянный, прерывистый, горячечный – неистовый: «Люблю тебя, люблю, давно, очень давно, понимаешь? Ну, обними же... полюби меня, я тебя умоляю!»

Что-то случилось...

Она не столько поняла, сколько почувствовала: что-то рождалось в этот майский вечер.

Как по волшебству, задрожали вдруг и рухнули стены недоверия, неосознанных страхов, необдуманых обещаний, чужих запретов, непонимания. Неодобрения... Неприятия...

Они горели. Оба, вместе. Огненный ветер сбивал с ног. Запыхали неистовым отчаянным пожаром. Горячо... жарко... больно... Нет, не больно... Это что-то другое... Что-то невыносимо острое, счастливое... Но разве можно это выдержать?

«Не бойся меня... Я же чувствую... ты вся дрожишь... Ты боишься? Не надо, не бойся... Ну, не могу я сделать тебе больно, я же ведь люблю тебя, Цветочек мой... Ты мне веришь?»

Потрескавшиеся, распухшие от поцелуев губы. Горящие от волнения щеки. Дрожащие сплетенные руки... Горячие руки – его, ледяные – ее. Замутненные страстью глаза.

И звенели души, как струны, и тянулись друг к другу, летели и пылали, и пробежала электрическая искра, и вибрировало, и пело тело.

*В дивный сад —  
Там родилась Земля,  
Вдруг попала я,  
А теперь и мы —  
Ты и я... —*

Звучала – где? – в ней? Вне ее? Какая-то нелепая частушка – она никогда прежде такой не слышала! Какая-то фривольная, легкомысленная мелодия, дикие слова...

Привычный мир исчез.

Она больше не думала, вправе ли она так поступать.

Оказывается, любовь – болезнь, и к тому же заразная.

Она потеряла себя. Или нашла?

На два года. Или – на всю жизнь?

## Без времени. Девочка...

В раннем детстве девочка не любила, когда приходившие к родителям гости обсуждали, на кого она больше похожа. А потом с тем же вопросом приставали к ней.

– Майечка, деточка, а ты на кого хочешь быть больше похожей, на маму или на папу? – сюсюкала очередная тетя.

Чаще всего девочка молчала, насупившись, и исподлобья глядела на тетю. Но иногда говорила четко и твердо:

– На саму себя.

Тогда вопрос задавали немного иначе.

– Хорошо. А кого ты больше любишь, маму или папу?

Девочка упрямо молчала. Глядела в сторону или отворачивалась. Может быть, потому, что инстинктивно чувствовала глупость или фальшь, или бестактность взрослых. И недопустимость чужого вторжения в ее пусть маленький, но свой, особенный внутренний мир. Так нельзя! И потом, как же взрослым непонятно: всегда хочешь быть похожей на того, кого любишь! И выбирать тут нечего – она обоих очень-очень любит.

\* \* \*

...Раннее, может быть, первое воспоминание ее детства.

...Тепло и мокро... Только что прошел сильный-пресильный дождь. А папа сказал... Вот, как же он сказал? А, так: *отгремела июньская гроза*... Лужи везде. Вокруг отовсюду с деревьев падают огромные капли и иногда попадают даже ей на голову. Это, может быть, деревья так отряхиваются? Не нравится им быть мокрыми!

Наверное, вечер... Девочка крепко держится за папину руку и трещит без умолку, не закрывая рта, и они вместе дружно шагают по лесной просеке. Солнышко веселится, оно радуется, шутит, смеется. И лес умылся дождем, вот какой он чистый-пречистый.

А папа сказал:

– Послушай, Майк, как лес *звенит*.

Звенит – как смешно! А в лесу огромные деревья, высокие! И стволы толстые, теплые, коричневые, с пятнышками, как глаза у главной маминой подруги тети Али. А наверху у деревьев вместо волос густые шапки, и они ими достают до самого неба и даже еще выше, и толкаются, и им, этим шапкам, очень там тепло.

– А давай, Майк, просто послушаем с тобой, как птички поют в лесу, а то они скоро спать лягут. Постой немного и оглянись вокруг. Вот так... Слышишь молчание леса? Давай услышим лесную тишину, давай посмотрим, какая красота вокруг... А теперь – ты слышишь: и лес тоже поет... – негромко говорит папа. – Вот посмотри, как красиво: *это закат, это красивый летний закат*.

Девочка останавливается и озирается по сторонам, задирает голову, смотрит на верхушки высоченных деревьев, в высокое-высокое небо.

– Это солнышко спать уходит, и в лесу от него выросли *косые золотые столбики*, видишь? На закате всегда появляются эти красивые косые лучи заката – солнышко строит золотые столбики, – показывает папа.

Да, и правда так! Девочка никогда раньше не знала, что в лесу живут рыжие столбики.

Ну, а теперь, значит, солнышко устало и идет спать. Куда? На землю, в лес. И сам лес, и тропинка в лесу, и все вокруг становится теплым, ласковым, как... как ее кровать вечером, но только яркого-преярко – золотого, оранжевого цвета. А запах в лесу такой... Какой? Она

не знает, не хватает слов... Да, вот – острый-преострый и немножко колючий, и прямо в нос забирается и сильно там колется. Ой, как щекотно!

– Это запах свежести, Майк. Знаешь, такой бывает в лесу летом после сильной грозы.

Папа объясняет, и голос у него такой серьезный, взрослый, и говорит он с ней, как с большой.

– А когда гром гремит, это страшно, пап? – спрашивает девочка, и звонкий детский голос нарушает торжественную лесную тишину.

– Да нет, что ты, это совсем не страшно. Наоборот, смотри, как весело: запах этот острый у тебя в носу поселился, а солнышко в твоих золотых волосах заблудилось – давай его искать!

Вот какой папа веселый, все время шутит! А еще он такой большущий, высокий-высокий, а сам добрый, как мамина шуба из морского котика, и голос у него хороший, мягкий, как рукав маминой шубы. Большой-большой, а сам-то держится за ее руку и старается идти с ней в ногу.

И правда, разве может быть страшно, когда идешь за руку с папой? Страшно, когда одна, когда темно...

– И солнце спать уходит, и Мишутка уже спать лег, мы его сегодня искать уже не пойдем.

– А утром уже пойдем, ладно, пап? Вот встанем рано-рано и пойдем.

– Ну, конечно, пойдем. Обязательно!

Папа говорит совершенно серьезно, но она чувствует – он улыбается. Она слышит – его голос улыбается, и она видит – он прячет улыбку. Вот же, он улыбается, а глаза у него хитрые-прехитрые! Глаза смеются, но он изо всех сил сдерживает улыбку.

– Конечно, дочь!

– Пап, а знаешь еще что? Вот если вдруг Мишутка заболит – он же может простудиться, – а я тогда прибегу и сразу его вылечу.

Папа уже не улыбается, он смеется. И лес им подмигивает и улыбается, и смеется вместе с ними...

Девочка долго еще верила рассказам отца, будто в лесу живет маленький медведик Мишутка – можно найти его домик и прийти к нему в гости, когда захочешь.

...Еще много лет спустя она вспоминала иногда тот сосновый бор, и прогулку по лесу вдвоем с отцом на закате после сильной грозы, и его мягкий голос... Это видение было таким живым, таким ярким – золотисто-оранжевый с зелеными пятнышками и сверкающими рыжими искорками лес.

Никогда больше она не видела в лесу такого буйства красок, запахов, свежести – нет, никогда в жизни...

\* \* \*

А вот они в Кишиневе – мама, папа и она. Лето. Яркий солнечный день. Жарко. Они гуляют, долго идут пешком, а папа и мама все разговаривают о каких-то своих взрослых делах, и разговору этому нет конца, и это совсем неинтересно... Вот уже и больших домов вовсе нет, и улица как в деревне, а впереди полуразрушенная церковь, и одна стена почти совсем развалилась, вон – камни вокруг валяются... Совсем ничего вокруг нет интересного, и девочке уже немножко скучно.

Вдруг мама, такая строгая, взрослая, сделалась непонятно каким образом совсем-совсем как маленькая девочка, развеселилась, расшалилась, в глазах заискрились ярко-синие *польхалинки*, зажглись, засмеялись синие-синие зайчики, запрыгали от радости – вот сейчас выскочат! – и стала дразнить папу и дочку. Вот какая всегда проказница!

– А Жора – жук, а Олька – полька, а Майка – угадай-ка!

Мама улыбается хитро, шутливо грозит пальцем, а глаза смеются, и сама веселая, хихикает – задирается! Ух, как расшалилась!

- Нет, мамочка, Олечка – полечка, а Майка – отгадай-ка!
- Но ведь это одно и то же. Какая разница: угадай-ка, отгадай-ка? – удивляется мама.
- А вот и нет, мамочка, это совсем большая разница.

\* \* \*

По вечерам мама читала дочке стихи и небольшие поэмы наизусть: она их помнила множество.

Девочка очень любила все стихи, которые читала мама, все... кроме одного.

– *Ночь идет на мягких...* – начала в тот вечер мама рассказывать стихотворение Веры Инбер.

– Нет, мамочка, нет, дальше не надо! – от ужаса девочкины губы скривились, задрожали, она крепко вцепилась в мамину руку и чуть не заплакала. Ведь она знала, помнила: дальше там побегут строчки о том, что мамино сердце устало... и что оно больше не может...

Нет! Нет!! Нет!!! Ведь это значит, что мама может когда-нибудь не... быть?!

\* \* \*

Зимний вечер. За окном падает густой снег.

Кажется, уже очень-очень поздно. Но ни мамы, ни папы еще нет дома.

Девочка сидит в большой квадратной комнате с высоким потолком. На ней красивое синее платье и нарядный свежевыглаженный – бабушка сегодня днем гладила – светлый фартучек с карманчиком, а в волосах – голубой бант. Комната вся залита золотисто-оранжевым светом. Как уютно!

Перед окном стоит огромный письменный стол, и на нем аккуратно разложены книги и бумаги: это утром мама писала свою книгу – она работала. А посреди комнаты – большой круглый стол, на котором стоит красивая ваза с яркими цветами.

Девочка в комнате совсем одна. Наверное, бабушка сейчас готовит ужин в кухне или, может, заглянула в комнату к соседке Марье Тимофеевне – немножко поболтать.

Девочка удобно устраивается в своем уголке, за столиком, на маленьком стульчике, а рядом – этажерка. На этажерке стоят ее детские книжки, лежат тетрадки для письма, разные альбомы для рисования, несколько коробок цветных карандашей. Она раскрывает свою любимую книжку про Ясочку, внимательно рассматривает цветные картинки, уже знакомые до мельчайших подробностей, с удовольствием на раскрытой странице знакомые буквы, после чего берет красный карандаш, пытается написать эти буквы в альбоме и, наконец, старательно складывает буквы в слова – потому что читать она только еще начинает учиться. А затем принимается читать вслух, вернее, декламировать наизусть – сама себе, а еще – сидящей рядом с ней кукле Виарике, громко, с выражением, совершенно как большая! – любимые стихи из «Ясочкиной книжки»<sup>17</sup>, сто раз читанные-перечитанные ей мамой или папой.

*За окном сегодня ветер, ветер,  
Даже в доме слышно, как гудит!*

Вот как она уже хорошо умеет читать *сама* — складно, с выражением, совсем как взрослая! И вовсе она не соскучилась в комнате одна, *со-вер-шенно!* Так же, как и Ясочка. И в ком-

---

<sup>17</sup> Наталья Забила. Ясочкина книжка (укр. Ясоччина книжка, 1934) – сборник рассказов в стихах о девочке Ясочке.

нате тепло, и за окном ветер гудит – точно, как в книжке. А что она одна – так, наоборот, это так здорово, так интересно: ведь это значит, что она совсем уже большая!

А на маленьком столике с нетерпением ждет своей очереди другая любимая книжка. Девочка откладывает в сторону книжку про Ясю и ветер и громко читает название, написанное на обложке «Катруся уже большая». Девочка, нарисованная на первой странице, очень похожа на нее. Начало книжки про украинскую девочку Катрусю она помнит наизусть: там мама будит свою дочку зимним утром, поздравляет с днем рождения, говорит: «Теперь ты совсем большая – тебе уже исполнилось целых пять лет». А снег кружится, падает, и все белым-бело вокруг. Точно-точно так, как сейчас! Но вот ведь как интересно: девочке завтра тоже исполнится *целых пять лет!* Только она не знает, когда это случится – ночью или только завтра утром?

Надо обязательно спросить у мамы или у папы, как только они вернуться – сразу же, это очень важно! Кто-нибудь из них точно знает.

«Завтра утром я буду уже совсем большая, а может быть, даже *взрослая*. Как здорово! Я хочу поскорее стать совсем большой, расти быстро-быстро», – с радостной гордостью думает девочка, а потом, неожиданно для себя, повторяет вслух:

– Я хочу скорее-скорее стать совсем большой. Я буду *сама* читать себе книжки и сидеть дома одна, без мамы, без бабушки... Я буду *взрослая* – и сама буду все решать! Вот только интересно, что же мне подарят на день рождения? Скорее бы это узнать! Хорошо бы куклу-мальчика, такого же, как подарили девочке Катрусю из той книжки!

«Это было бы здорово», – думает девочка. Тогда она тоже назвала бы его Фомой и варила бы ему суп из картошки и морковки, и каждый день водила бы его на прогулку в ближайший сквер. Как все-таки хочется стать совсем большой! Скорее бы уже наступило завтра!

## Наше время. Я и Она...

Да. Конечно, это была *она*. Юная, радостная, улыбающаяся. Впрочем, нет, вовсе и не юная, если присмотреться. Просто высокая, стройная. Атак – нет, моих лет, пожалуй. И улыбка... Она улыбалась. Приветливо, наверное. Правда, на самом доньшке этой улыбки мелькнула тень, а в уголках ее глаз притаилось что-то непонятное – может быть, вызов? Или показалось?

– Привет! Какими судьбами? Давно мы не виделись! – наконец, опомнилась я. Молчание затянулось – надо же было сказать хоть что-то.

– Да уж. Здравствуй. Вот, вышла погулять, погода великолепная.

– Да, просто отличная погода. И я тоже здесь гуляю. Пришла вот на старые места. Помнишь, как мы здесь отдыхали вместе? В кино ходили, на танцы...

Я произносила первые попавшиеся слова и совершенно не узнавала свой голос – какой-то безжизненный, отстраненный – чужой.

Ну, да, конечно, надо как можно скорее возвести стеклянную преграду между нами. Ведь кто же ее знает, чего она от меня хочет...

– Да... Ну, это я поняла. Воспоминания... – пожав плечами, медленно произнесла она. «Что это в ее тоне, ирония?»

– Ты хочешь сказать, я... ну, конечно, я все помню, – я первая ринулась в атаку.

– Кто бы сомневался! – В ее голосе звучала – нет, даже не ирония – горечь.

– Ну а как ты? Все в порядке? – Я тут же перевела стрелки.

– Нормально. У тебя?

– Да, спасибо. Хорошо. Я здесь отдыхала в Звенигородском пансионате с моими девочками, сегодня вот уезжаем, так что все уже – закончился наш отдых...

– Сколько уже твоей дочке?

– А то ты не знаешь! – сорвалась я, не удержавшись.

Разговор явно не клеился. И вот ведь незадача, так сразу и не уйдешь. Хотя... почему бы и нет?

– А ты здесь что, тоже отдыхаешь? Здесь, на какой-то даче? Одна или с семьей?

– А то ты не знаешь! – передала она назад брошенный ей пас.

– Послушай... не стоит нам разговаривать в таком тоне... – после паузы, не сразу нашлась я. – В том, что тогда случилось, не моя... – тут я запнулась, но сразу же поправились, – не только моя вина, и ты это прекрасно знаешь.

– Похоже, мы обе повзрослели с тех пор, – пристально глядя на меня, после долгого молчания произнесла она. – Повзрослели, изменились, да... Только вот поумнели ли?

Поумнели? М-да... Что-то верится с трудом. Не факт, что человек с возрастом умнеет. Внешне меняется – это, увы, да. Сильно меняется. Иногда до неузнаваемости. А внутренне остается тем же. Или нет?

Можно поменять прическу, квартиру, мужа, семью – а характер? Где это я читала: характер человека – его приговор. Вот хотя бы она. Все эти годы я ее почти не вспоминала и знала о ней очень немного, хотя когда-то мы общались достаточно тесно. Ну да, только слышала что-то о том, что она вышла замуж – неудачно. Быстро развелась – ну, еще бы! С ее-то упрямым, необщительным, непримиримым характером. Что вроде бы у нее был ребенок – не помню точно, кто... Девочка, кажется. Но это все я плохо помню: в этот период мы уже не встречались. Да и не очень-то я интересовалась ее судьбой, по правде говоря... Однако ее дочка, должно быть, совсем взрослая, у нее уже, вероятно, своя семья, дети...

Все так, все правильно. Только непонятно – зачем она сюда пришла сегодня? Ведь я вовсе не мечтала снова ее увидеть после стольких лет.

Время шумно задышало, убегая прочь, но поскользнулось и еле удержалось на ногах. Затем, расплескивая себя по дороге и обдавая нас брызгами, оно заскользило дальше – в неизвестном направлении. Да уж... Что-то начинаю я привыкать к таким погружениям.

Мы с ней соскользнули в далекое прошлое. Оно и понятно, ведь мы хранители времени.

Оказавшись перед запертой дверью в конце коридора времени, я, опережая ее, быстро достала из сумочки большой ключ, уже привычно вставила его в замочную скважину – ключ медленно, со скрежетом повернулся, дверь приоткрылась со скрипом...

## Много лет назад. Она...

...Ключ медленно, со скрежетом повернулся, дверь приоткрылась со скрипом...

– Понимаешь, дочь, это не любовь. Нет. По-моему, это у тебя болезнь, – втолковывал отец, пытаясь ее вразумить, как только видел, что она его *слышит*. – В этом ты меня не убедишь. Это какое-то наваждение или сумасшествие – я уж не знаю что. Мне это ясно уже сейчас, а ты потом и сама это поймешь.

Все понятно: отец наклеил на Олежку этикетку: «Яд!» А мама – даже подумать страшно! Мрачное глухое молчание мамы выражало ее неприятие этой истории. Стена недоверия между ними выростала до небес.

«Наваждение? Воронка? – размышляла она в те крайне редкие моменты жизни, когда к ней возвращалась способность думать о том, что происходит. – Но что же это такое, эта Воронка? Наверное, иррациональное нечто, Зазеркалье... Или какая-то новая реальность – волшебная Страна по ту сторону действительности. Как та, в которой очутилась Алиса, провалившись вслед за обладателем больших наручных часов, говорящим Кроликом, в глубокий колодец и попав в страну Чудес. Или та розовая мечта о вечной любви, которой жила Ассоль – девушка ждала своего принца столько лет! И вот, наконец, спустя годы, верный данному слову ее долгожданный возлюбленный герой, ее *принц* Грэй приплыл за ней на корабле с гордо реявшими по ветру алыми парусами, надел ей на палец кольцо... А может быть, это верность своей Любви – вера и надежда Кати Татариновой, не сомневавшейся, что ее Саня жив и да спасет его любовь ее, невзирая ни на какие расстояния, и поможет превозмочь опасности, раны, даже смерть. Или, может быть, это ожидание и упорство Флер Форсайт: она столько лет лелеяла мечту о возвращении Джона, служила ей, не предала своей любви. Или это любовь, страсть, нежность, дружба – все вместе! – воспламенившие Робби Локампа броситься в ночи на помощь его тяжелобольной возлюбленной Пат Хольман и всего за несколько часов преодолеть на машине разделявшее их огромное расстояние в пароксизме овладевшей им веры и надежды спасти ее, победить болезнь и смерть любовью, несмотря ни на что... Страсть, сжигающая Анну Каренину, презревшую условности, мнение света, очертя голову устремившуюся в омут своего чувства к Вронскому и готовую на любые жертвы, даже на разлуку с сыном, ради своей страстной любви... А Маргарита, которая обрела своего Мастера лишь после того, как от горя и страданий стала Ведьмой вечером в пятницу и ушла с ним в Тот мир, где царит вечный Покой, потому что была верна своей настоящей, вечной любви...»

Этот ряд она могла продолжать бесконечно. И все это, независимо от картинки и окружения героини, было *ее* главной реальностью, не созданной, не выдуманной – *настоящей*. Однако имеет ли смысл объяснять это кому бы то ни было? Ведь не поймут.

Так что же, значит, любовь – это омут, наваждение, болезнь? Ну и пусть болезнь! Но чем бы *это* ни было, а избавиться от этого она не сможет, да и не захочет. Только отцу так говорить нельзя: его это огорчит. А сейчас просто необходимо срочно придумать что-нибудь очень убедительное, чтобы выйти из дома хотя бы часа на два. Олежка, наверно, ждет. Он уже привык ее ждать чуть ли не часами. Олежек, Олеченька... Стоит уже, наверно, там, на перекрестке у метро...

Отец говорил терпеливо, проникновенно. Он использовал каждый удобный случай, чтобы ее убедить.

– Ну, вот ты сама подумай: как можно хоть в чем-то положиться на человека, который не выполняет своих обещаний, не держит слова?.. Хорошо. Скажи, сколько раз он тебе обещал, что не будет появляться в таком состоянии?! Молчишь? А мне он что обещал во время последнего разговора? Говорил, что любит тебя, обещал, что не будет... мм-м... злоупотреблять... А! да что я? Не будет напиваться, возьмется за ум, окончит вечернюю школу. Вот тогда у тебя

с ним, может быть, и могло бы еще быть какое-то будущее! Но теперь... нет! Ведь он палец о палец не ударил для этого... Ну, что ты опять молчишь? Ты что, не согласна с этим? Если не согласна, тогда так и скажи – нет, не согласна!

В голосе отца звучала досада. Он покачал головой, вздохнул, скептически скривив губы, посмотрел на нее, немного помолчал... Но молчала и она, смотрела куда-то в сторону.

После долгой паузы отец продолжал:

– Разве можно ему верить! Вот ты мне лучше объясни, почему он опять звонил вчера так поздно вечером? Что, опять пребывал в нетрезвом состоянии? Как прикажешь понимать это хамство? А ты это хамство поощряешь своим поведением! Ну что ты все время молчишь?... Насколько я понимаю, тебе просто нечего ответить. Ты же разумный взрослый человек. А вы оба плывете по течению – куда кривая выведет! – Отец смотрел на нее сердито, с укором. А глаза не сердитые, нет. И смотрел-то он вовсе не сердито, а печально и встревоженно, и ждал ответа. – Ну, сама посуди, разве это любовь? Если он действительно любит, он должен тебя уважать и не являться в таком виде. На мой взгляд, он просто слабый, безвольный человек... Где у него голова? Нет! Один порыв, импульс! Он неуправляем... Он живет минутой, инстинктами, страстями. Им руководит чувство, а не разум. Ну и куда могут его завести страсти и импульс?! А тебя... тебя он и в грош не ставит! Да он и представления-то не имеет о том, что такое достоинство! Ты пойми: если человек не уважает других, то он, прежде всего, не уважает самого себя... Ладно! Какой смысл сотрясать воздух? Это разговор в пользу бедных! Все равно как об стенку горох. Ты же мимо ушей пропускаешь все, что я тебе говорю!

– Отец, мне надо пойти дописать там... еще один кусочек... – после затянувшейся паузы, глядя на него исподлобья, тихо сказала она.

Отец безнадежно махнул рукой, скептически и вместе с тем обеспокоенно посмотрел на нее и пошел в свой кабинет. Работать.

Неправда! Но она не обижалась на отца. Да, отрешенность от внешнего мира уже стала ее привычным состоянием. Но, временно выпадая из *летаргии*, она понимала: отец то пытается воздействовать на ее разум, логику, то хочет достучаться до ее чувств. Ну, и что тут скажешь? Часто во время таких разговоров ей становилось очень жалко отца: если бы только он знал, насколько это бесполезно... В такие минуты ее охватывало чувство вины, и становилось очень стыдно. Но иногда она с раздражением думала: «Подумаешь, лектор! Вот пусть в университете свои лекции и читает! А здесь... Что же он все время мораль-то читает! Ну, какой смысл в этих его нотациях? Великий логик!»

Всем своим существом она ощущала: что-что, только не логика. Разум? Логика? Здравый смысл? Но они здесь совсем не при чем. Все равно она ничего не может изменить. Такие разговоры с отцом случались в последнее время все чаще. Он говорил, говорил... делая отчаянные попытки убедить. Она отмалчивалась, отделяясь короткими репликами, и оправдывалась, когда уже нельзя было молчать. Зато потом, в разговорах с родной подругой выговаривалась.

\* \* \*

– Майк, слушай, ну, как у тебя дома-то? Что отец говорит, насчет вас, насчет Олежки?

– Ой... нет, знаешь, это просто невозможно – его слушать. И еще я боюсь, я даже уверена – он прав... Понимаешь, я ведь знаю, я сама чувствую, что неправ... что зря связалась с ним. И я, правда, уже просто не знаю тогда, что мне теперь делать!

– Ну, послушай, а с другой стороны, что тебе надо сейчас-то делать? И чего ты так дергаешься-то, а? У тебя же с ним все вроде бы хорошо, так? Ну, так и подожди пока, ведь никто же тебя не заставляет тут же что-то решать! И потом... Ну, я не знаю... Ты что, сможешь разбежаться с Олежкой вот так, сразу?

– Нет, не смогу... И не хочу! Этого не будет!

– Ладно, так ты что, замуж за него прямо сейчас выйдешь? Да, слушай, кстати, а он тебе предлагал уже? Когда на свадьбу-то пригласишь? И потом, я ж у тебя свидетелем буду. Разве нет? Так должна же я знать заранее?

– Ага! Ты что, издеваешься, да? А родители? Они же вообще насмерть встанут! Мне что, одной против всех идти? Да, но знаешь, вот отец... он ведь все правильно говорит. И главное, вот когда он все это говорит, я все понимаю – умом, а потом как увижу *его*... Олежку – и все... Ты не поверишь, но – ну ничего я не могу с этим поделать. Понимаешь, жутко стыдно, вот и молчу, как дура: ведь просто нечего отцу возразить... Я, честно, не знаю, что мне теперь делать, просто руки опускаются, но я ничего не могу изменить! Прямо раздвоение личности какое-то! Знаешь, так страшно бывает иногда.

Маятник часов стал раскачиваться все быстрее, быстрее...

## Много лет назад. Она...

... Часы стали тикать громко и с перебоями.

«Что бы такое придумать», – лихорадочно соображала она. Просто обязательно надо сегодня вечером выйти. Она и так уже сегодня с самого утра считает часы, даже минуты до встречи с Олежкой. Но как же медленно тащится время – словно путник в гору с тяжелым мешком за плечами! Вот осталось шесть часов, пять... три... два с половиной, два часа восемь минут, два часа – ура! И так каждый день – нет, больше не выдержать!

И, главное, вчера встретиться не удалось: он работал в вечернюю смену. А позавчера она не смогла уйти с комсомольского собрания, которое, как назло, затянулось до позднего вечера, собрания скучного, как всегда – нет, еще скучнее, чем всегда! Сначала слушали длинный отчетный доклад за год комсорга с говорящей фамилией Заседателей. Потом долго, занудно обсуждали итоги *картофельной* эпопеи их второго курса в сентябре-октябре в Подмоскovie, под Серпуховом. Поощрили передовиков, перевыполнивших план по сбору урожая на бескрайних картофельно-свекольно-морковных полях необъятной нашей Родины. Вынесли *строгачи* нескольким студентам с занесением в личные дела за то, что закапывали в землю картошку и свеклу, чтобы первыми закончить бесконечную, до самого горизонта, грядку, а в отношении двоих ребят поставили на голосование вопрос об отчислении из университета. Она проголосовала против отчисления, но осталась в меньшинстве – как всегда. Затем долго-долго утрясали список студентов, которые должны были на будущей неделе отправиться на овощную базу на Мосфильмовской улице – почти дверь в дверь с известной киностудией – перебирать, бестолково перекладывая с места на место, гнилые, склизкие овощи и превратившиеся в размокшую прокисшую кашу фрукты. И все это под недреманным оком толстой наглой служительницы базы, в ватнике, с унылым лицом и пронзительно хамскими интонациями в голосе. Ясное дело, никто особенно на овощную базу не рвался: дело-то совершенно гиблое, овощи все равно почти все сгниют, да к тому же там каждый студент получит сполна обязательную порцию хамства от работников этого учреждения. И вечная мерзлота там, как на Северном и Южном полюсах, вместе взятых! Потом еще сто лет обсуждали мероприятия, проведенные комсомольским активом в юбилейный год 100-летия со дня рождения В. И. Ленина... И еще целую вечность решали, как именно комсомольцы курса должны проявить себя в мероприятиях по случаю неотвратимо надвигающегося 100-летия Парижской Коммуны, и избирали активную группу для участия в выставке по поводу этой славной даты. В общем, комсомольские активисты усердно возводили фасады хижин и дворцов в потемкинских деревнях советской реальности. Ну, а под самый занавес еще долго-долго выбирали комсоргов курса, групп, представителей в комитет комсомола университета. В общем, обычная история, привычная повестка дня... Тоска без конца и без края. Правда, рядом сидела ее *любимая* подруга, с которой они учились в одной группе, ее тезка, тоже Майя. Но когда они пришли на собрание, свободные места в аудитории оставались только в первых двух рядах, а здесь не очень-то поболтаешь – комсорг живо замечание сделает! И все эти долгие часы никого из аудитории не выпускали без уважительной причины, пока собрание не закончилось. Ей казалось, это вообще никогда не закончится. И пребывание в коллективе тоже не слишком увлекало: она не умела дружить со всем *родным* коллективом. Друзей ведь может быть очень немного – один, два, не больше.

Все эти часы, минуты, секунды, устремившиеся в бесконечность без нее, она томилась на собрании, а Олежка ждал у входа в университет. Впрочем, он готов был ее ждать где угодно и сколько угодно.

В тот вечер они смогли побыть вместе только по дороге домой, а еще немного постояли в подъезде. Но разве это много – полчаса, сорок минут вместе, не больше!

В своей комнате она только начала переодеваться, как услышала телефонный звонок. Три минуты ожидания показались бесконечностью: страх, досада, надежда, радость, тревога, напряжение – все это сплелось и завязалось в один запутанный болезненный узел... Ой! Она точно знала, что это он. Ну, зачем он так?.. Ведь отец запретил ему сюда звонить!

*Одинокий отвергнутый Змей,  
Сбросив кожу, ползет по земле.  
Впереди у него – Ужисн тот,  
Час всего – он, конечно, придет!*

Отец вошел в ее комнату, скептически посмотрел на нее, тяжело, обреченно вздохнул, скривил губы в горестной, но, как ей показалось, и сочувствующей усмешке, позвал:

– Ну, беги уж... Там, видно, жить не могут без тебя!

Ну, а если и так?

– Отец, ты пойми, он не хотел... Просто мы плохо договорились, вот ему и пришлось позвонить, он задержался, он не дома... И это вовсе не хамство с его стороны!

Господи, только бы все было... как ей хочется! В порядке – это не то слово. Только бы он не... только бы был в нормальном состоянии! Со всем остальным она справится, как бы ни было трудно. Она же сильная, она сможет защитить их любовь!

Ну, слава Богу! Пронесло на этот раз. Теперь у нее есть еще около двух часов, чтобы что-нибудь придумать насчет выхода из дома.

Два часа спустя, сказав отцу, что хочет еще сегодня забежать на часок к Аленке – вряд ли он этому поверил! – она выскочила из дома. Подруга была в курсе всех ее дел: они знали друг о друге все, до мельчайших подробностей – и уже не в первый раз она прикрывала ее от родителей.

Подруга жила в соседнем доме, но дорога хорошо просматривалась из окна, поэтому она попросила Олежку подождать у Алениного подъезда. Отлично, они зайдут к Аленке, и она будет там, если родителям вдруг вздумается ее искать.

Снег неприятно скрипел под ногами, словно она наступала на мелкие осколки разбитого стекла. Свинцовое небо нахмурилось, сурово сдвинуло, как брови, темно-серые, почти черные тучи. А изломанный, какой-то искалеченный ветер остервенело швырял прямо в лицо колючий, ледяной снежный песок – целыми пригоршнями. Он колот щеки, попадал в глаза... А на небе ни луны, ни самой маленькой звездочки. Еще бы! Как он ожесточился, ветер: гонял по темному небу мрачные тучи, злобствовал, хрипло, надрывно, словно в тяжелом бронхите, кашлял, сипел, свистел, плевался. Ветер просто рвал и метал, заходясь от ярости! Холод пронизывающий. Как разбушевалась природа! А ведь она даже не заметила, как явилась зима!

Олежка уже ждал ее у подругиного дома, стоял, заслоняясь от ветра, сложил ладони домиком, прикуривая на ветру сигарету. Ну почему голова всегда так кружится, а дыхание перехватывает от счастья? Счастье! Вот же как ей повезло! Но что же это такое? Вот что в нем такого, а? Что можно было в нем найти? Ведь он совсем обыкновенный, ничем не примечательный... Встретишь на улице – и не заметишь. Наверное, такой, как многие... Нет. Не такой. Не похожий ни на кого.

Увидев ее, Олежка рванулся к ней, крепко прижал к себе. Она уткнулась ему в куртку, жадно вдыхала его запах. Как хорошо, что так темно. Объятие было долгим, поцелуй – бесконечным. Оказывается, мелодия бывает не только у песни, у поцелуя – тоже... Один только ветер видел, как Олежка целовал ее, но ему-то это безразлично, ветру, он подглядывать за ними не станет, он своими делами озабочен – вон как озверел!

– Майечка, лапа... Я так соскучился! Мы не виделись уже целую вечность! – продолжая крепко сжимать ее в объятиях, выдохнул он.

– Позавчера...

– Вот, я же про это и говорю. Так долго! Не могу без тебя так долго! Ну ладно, все, молчу, молчу. Куда пойдём?

– У меня очень мало времени. Давай зайдем к Аленке, больше все равно никуда не успеем.

Дверь открыла Надежда Александровна, тетя Надя, как она с детства привыкла называть Аленкину маму.

– А, вот это кто! Але-енк, иди давай сюда! Кто к нам пожаловал, смотри-ка! *Эти двое* к нам пришли! – весело позвала дочь Надежда Александровна.

– Ща-ас, мам, вилки только домою! – закричала подруга из кухни. – Приве-ет! – а это уже им.

Тетя Надя приветливо поздоровалась, улыбнулась, впустила их, только хитро, хотя и незаметно для него, подмигнула ей.

– Ну, давайте, давайте, проходите скорее, чего встали в двери, как засватанные? Дует же, холодно-то как! И вы вон уже синие от холода, замерзли как! Так что проходите и раздевайтесь скорее.

Вот здорово! Удержалась на этот раз от ехидных замечаний и иронических реплик, а могла бы, с ней это часто бывает – она вообще женщина с юмором. Аленка недавно пересказала ей один разговор с матерью. Как это тогда назвала их тетя Надя? Ах, да! Она сказала, что они точно как Аленкино *неразличное собачье семейство* — Лялька с Чапом, которые не расстанутся друг с другом никогда. Вот и сейчас собачки выскочили в прихожую следом за Аленкиной мамой. Японские болонки, обе, как по команде, поднялись на задние лапы, приветливо и почти синхронно замахали закрученными петлей наверх хвостиками-бубликами. Не то залаяли, не то запищали, а скорее всего, даже в унисон запели в знак приветствия, с радостью узнавая их, попытались даже подскочить, чтобы лизнуть в лицо, в нос – все равно, куда уж придется, в знак любви и признательности. Лялька и Чап, муж и жена, но похожие друг на друга, как брат и сестра, хорошо знали ее и каждый раз заходились от радости при виде знакомого человека. Впрочем, незнакомого тоже – они всегда были приветливы и очень жизнерадостны.

В квартире было тепло, особенно с мороза, из кухни распространялись вкусные запахи. В комнате работал телевизор. Они вошли как раз, когда прозвучали позывные сигналы – началась программа «Время».

*«Добрый вечер! Здравствуйте, товарищи! – вложив в свои слова максимум жизнеутверждающего оптимизма, торжественными, хорошо поставленными голосами поздоровались с вечерней советской страной Игорь Кириллов и Анна Шатилова. – Сегодня Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев принял в Кремле...»*

«Интересно, программа может когда-нибудь начаться другими словами?» – подумала она не без ехидства.

– Ужинать с нами будете? Тогда пойдёмте скорее! – пригласила Аленкина мама. – Мойте руки. Где полотенца, ты, Майк, в курсе. И приходите, а то сразу после ужина мы хотим чемпионат по фигурному катанию посмотреть, Пахомову и Горшкова. Или, может, Ирина Роднина с Улановым выступать сегодня будут? Первое место, наверно, займут. Он как раз сегодня начинается, чемпионат мира. Так что идите, присоединяйтесь к нам, – тактично добавила Надежда Александровна.

– Мам, послушай, пожалуйста, оставь их в покое, им надо поговорить! – закричала Аленка из кухни.

Теряя тапочки и вытирая на ходу мокрые руки кухонным полотенцем, подруга вылетела в прихожую, поздоровалась:

– Приветик, Майк! – и чмокнула ее в раскрасневшиеся на ветру щеки. – Приветик, Олежка! Что-то тебя давно не было видно! Что, старых друзей уже забываем, да?

Потом окинула их хитрющим оценивающим взглядом, при этом незаметно подмигнула ей, скорчила в зеркало, но так, чтобы он не видел, понимающую гримасу:

– Ладно, ребята, тогда идите пока в мою комнату!

– Аленк, ну ладно тебе, хватит ехидничать, – не выдержав отраженных в зеркале прихожей гримас подруги, хихикнула она, слегка отстав.

– Слушай, но ты же ведь не выйдешь за него замуж прямо сейчас? Этого не может быть! – сверкнули вдруг молнией слова подруги.

Припомнилось изумление Аленки, когда она узнала об их романе.

...Он смотрел темно-серыми глазами, так нежно, но и как-то строго, даже торжественно, взглядом затягивая ее в опасный омут. Обнимал ее бережно, словно боялся обидеть, спугнуть, произносил трогательные, пронзительные слова. Целовал ее деликатно и осторожно, словно боясь навредить ей, оскорбить... Где-то там, внутри – у нее? у него? – непонятно где – накопилось море нежности, ласки, любви. Догоняя друг друга, сталкиваясь, слова отзывались в ее душе хрупким, тонким, деликатным звучанием, словно хрустальные рюмочки, когда ими чокаются – и падали в самое сердце. Его слова *гладили* ее по сердцу.

Они растворились друг в друге. И доверили себя друг другу.

– Подожди... Не надо... Давай так... просто посидим... Ну, пожалуйста, подожди... не надо.

– Да... хорошо, не буду. Не бойся.

Она гладила его по лицу, по волосам. А он зарывался лицом в ее волосы, сильно отросшие после стрижки, вдыхал их аромат.

Нежность. Тепло любимого человека. Тишина. Счастье. Оттого, что он, Олежка, так близко. Счастье узнавания... отражения... принятия.

Поздним вечером Олежка провожал ее домой. Кажется, на улице потеплело. Ветер больше не злился, он сменил гнев на милость, подобрел, смягчился. Зима, совсем еще юная, почти девочка, застелила землю белым бархатным ковром с коротким нежным ворсом и бело-снежными, нисколько не покрасневшими на холоде, тонкими пальцами аккуратно поправила его, пригладив даже самую крошечную складку. Как жаль наступать на этот снежный ковер: натопчешь еще – грязные следы ведь останутся, ой, как неопрятно. А сверху, с высоты ночного свода небес, – на небе ни луны, ни звездочки – кто-то щедрой рукой быстро отрывал от ватно-снежного рулона много-много крошечных пушистых комочков, бросал их вниз – и они летели, кружились, словно пушистые парашютики, кораблики из ваты. Эти ватно-снежные хлопья сбивались в пары, танцевали, бесшумно кружились в танце, в полутемном, освещаемом лишь их собственным, отраженным лучистым светом, небесном зале, исполняя безмолвный торжественный вальс-бостон, который медленно перетек в мелодию Зимы Антонио Вивальди, – а затем медленно падали и ложились на землю.

Полыхало зимним вечерним звоном высокое низкое декабрьское небо.

Кто это так щедро сыпал снег с этой головокружительной высоты?

Потом ветер стих совершенно, и пришла оглушительная тишина. Неясным размытым пятном выглянула из-за вьюжной хмари тусклая луна, окрасила мягкий бархатный ковер в матовый молочно-желтый, затем молочно-голубой *лунный* цвет, и снежные хлопья тоже стали голубыми. Декабрьская ночь озарилась нежным голубым светом. Все теперь отливало голубым: и снежный ковер на земле, и летящие снежинки, и небо, и волшебная, полная страсти музыка Зимы из *Времен года*.

О чем напоминало ей это молочно-голубое сияние? О чем-то очень счастливом, но далеком, давно ушедшем, забытом...

Тот огромный, в длинном, до пят, черном пальто и черной шляпе с широкими полями, неведомый некто расшалился: свернул лист бумаги в несколько раз, вырезал половинку фигурки, затем развернул – и получилась целая вереница одинаковых зимних ночей. Ночь разрасталась, как множество раскрашенных в темно-синий цвет и вырезанных из бумаги куколок – одна за другой... Ночи-близнецы взялись за руки и устроили веселый зимний хоровод.

Пришла к ним звонкая пушистая голубая зима. Зима... *Времена года...* Музыка Вивальди... Немного кружилась голова. От пахнувшей слегка арбузом, чуть-чуть дыней, а больше всего, хрустким твердым антоновским яблоком, брызжущим соком холодной зимней свежести. От льющейся откуда-то – непонятно откуда, может быть, с небес? – торжественной музыки. От юности, радости. От счастья. Их переполняла, кипела, переливалась через края душераздирающая жажда жизни.

А из небесной выси тот неведомый некто щедро поливал их с Олежкой счастьем. На них потекли ручьи, нет, целые реки счастья. На них проливалась, обрушивалась сама жизнь. Жизнь – живая, звенящая, кипящая, переливающаяся через края – сама жизнь жила, пела, бурлила, разливалась без края в ней, в нем, в них, вокруг них. Они влюблялись друг в друга снова и снова. Каждую минуту.

Звенела тихая призрачная ночь. Звенело счастье.

\* \* \*

А впереди расстилалась дорога, и путь лежал совсем не близкий. И бежали перед ними километры – тысячи и тысячи километров, отмеченных несущимися навстречу дорожными столбами.

## Без времени. Девочка...

В детстве девочка больше всего боялась неодобрения. Осуждения. Мама и папа проявляли его по-разному. Но одинаково страшно.

Мама выходила из себя, становилась, как грозовая туча, сверкала молнией, гремела, кипела, шлепала дочку Папа не выходил из себя и не был похож на тучу, и не гремел, не кричал.

Но он суровел, строго сдвигал брови, осуждающе качал головой, шумно вздыхал, сопел носом, складывал губы в скептической или осуждающей усмешке: «*И это моя дочь так ведет себя?*» А потом повисало молчание. С ней не разговаривали, на нее не обращали внимания. Демонстративно, чтобы она поняла. Осознала.

И тогда появлялся Страх. Не постучавшись, со всего размаху распахивал дверь, врвался в комнату непрошеным гостем.

Страх всегда являлся, когда повисало молчание. Из-за этого молчания. Из-за одиночества. Потому что не доверяли, не понимали. Потому что ее не слышали, не принимали – то есть отвергали.

Девочка сидела в своем уголке у этажерки тихо-тихо и упрямо молчала, опустив голову. Никто не знал, о чем она думает – она никогда не говорила. Если к ней все же обращались, смотрела исподлобья. Даже когда ее уже прощали. Улыбались ей. Было трудно говорить, трудно объяснить, невозможно попросить прощения.

«Впечатлительная девочка. Но скрытная. Вся в себе», – думала мама.

Нет, не думала. Чувствовала. Но мама была слишком молода, красива, полна энергии, чем-то увлечена, занята, погружена в работу, в свои дела, в повседневные заботы, чтобы это понять.

\* \* \*

...И снова лето, и она с родителями отдыхает на юге, кажется, в Анапе. Поздний-поздний вечер. Нет, уже явилась, стала полновластной хозяйкой черная кавказская ночь. Было бы совсем темно, но высоко-высоко в южном небе высыпали звезды – тысячи, нет, миллионы звезд – полыхающих светлячков-фонариков, разгорелась яркой люстрой на небесном потолке полная луна. А где-то там, за деревьями, совсем рядом, как притаившийся диковинный сонный зверь, вздыхает, сопит и шумно дышит, и хлюпает носом, и что-то устало шепчет море, тихо-тихо ворчит, ворочается, пытаясь поудобнее устроиться в своей необъятной постели – никак не спится ему Они возвращаются из кино, и девочка идет домой очень гордая. Вот как! Какая она уже совсем *взрослая*, ходит так поздно вечером в кино!

И все-таки она очень устала, хочется спать. Она начинает зевать. Может, покапризничать?.. Наверное, мама замечает это и говорит папе:

– Все-таки не надо было нам так поздно в кино ходить, видишь, как она устала – маленькая еще!

Ах, так? Маленькая?! Да она уже взрослая! От такого оскорбления у девочки сжимается горло, перехватывает дыхание, слезы наворачиваются на глаза. За что ее так обидели? Она большая, ее надо... как же это? Слово вот теперь забыла!.. А, вот! Ее надо *у-ва-жать!*

Усилием воли девочка тут же берет себя в руки... Пусть все видят – она *со-вер-шен-но* не устала!

Луна щедро поливает землю молочно-белым светом с серебристым отливом из своего большого кувшина. Серебряная лунная дорожка скользит по земле, по траве, по тропинке. Мама и папа идут впереди. А девочка отстала шагов на двадцать. А может, и на тридцать.

Конечно, лучше бы ей пойти вперед, но страшно, и еще так ведь и потеряться можно в этой южной темноте!

Однако как же ее оскорбили, назвав *маленькой*! При одной мысли о нанесенной ей обиде девочка еще больше хмурится, надувает губы, гордо поднимает голову, гордо и независимо смотрит прямо перед собой, – но все же внимательно следит, куда поворачивают родители.

А луна разгорается все сильнее. Как горят звезды на южном небе! Девочка идет по лунной дорожке, топчет лунный свет, ноги утопают в серебристо-белом ковре, сотканном из лунного света.

Потом яркий этот свет поднимается до пояса, до плеч... Теперь он укутывает ее всю. Девочка дышит лунным светом, пьет его, захлебывается им, глотает...

Иногда родители оглядываются, замедляют шаг, о чем-то тихо говорят между собой, кажется, улыбаются... Ну, уж нет! Все это хорошо, только она ни за что не подойдет к ним первая – она так и вернется домой *одна*!

\* \* \*

– Ну что, доченька, пойдем сегодня, сходим в твой детский сад, навестим Эмму Робертовну. Хочешь? – предложила в тот день мама. – Я как раз сегодня специально пораньше пришла из института, можно сходить после обеда, пока еще рано. Давай-ка скорее обедать. Вот сейчас я только разогрею, налажу все... Давай, иди мой руки, и поможешь мне накрыть на стол!

– Ой, давай, конечно! Пойдем! Вот здорово! – обрадовалась девочка.

Она тогда училась в первом классе, и только что началась вторая четверть. Мама улыбалась, шутила, и погода стояла хорошая, такая солнечная.

Правда, сегодня с девочкой случилась одна очень большая неприятность, но сейчас не хотелось об этом даже думать. Может, как-нибудь обойдется?

И вообще, если рассказывать, то уж лучше потом, вечером, после возвращения от заведующей ее бывшим детским садом Эммы Робертовны. А сейчас жалко огорчать маму.

– Очень хорошо. Мы уже так давно собирались. Она, конечно, очень обрадуется – она тебя так любила! А то знаешь, она может обидеться, решит, что ты ее забыла или не хочешь к ней идти. Ты ей расскажешь о своей школе, о том, что ты изучаешь, о своих успехах. Ей будет очень приятно. Прогуляемся, купим по дороге цветочки. Погода сегодня просто замечательная. У тебя много уроков на завтра? Ну ладно, вернемся – и выучишь. Давай скорей обедать!

Вот здорово! Сегодня прямо праздник настоящий получается!

Как хорошо! И у мамы такое звонкое настроение, и на улице такая веселая погода, и они сейчас пойдут гулять вместе с мамой – от всего этого девочка даже позабыла о своей сегодняшней неудаче.

После обеда они быстро убрали посуду, стали собираться к Эмме Робертовне и были уже почти готовы, когда мама вдруг сказала:

– Доченька, а где твой дневник? Давай его сюда. Мы его возьмем с собой, и ты покажешь Эмме Робертовне... Ну, давай же его, я к себе в сумку положу... – Но дочь молчала, и мама внимательно посмотрела на нее. – Так, где твой дневник? Ты, Майя, вот что, ты уж лучше сразу скажи, что случилось. Ты что, его потеряла? Да что это с тобой? А ну посмотри на меня! Ты что молчишь?

Вот оно!

– Мам, знаешь что... я... я... сегодня получила плохую отметку... по арифметике...

Мама сразу нахмурилась, сурово сдвинула брови, сердито поджала губы... Звонкий день тоже нахмурился, скривил губы и ушел.

– Какую плохую отметку? А ну говори! И давай мне сюда дневник, наконец.

Девочка подала тетрадку, исподлобья посмотрела на маму сине-серыми глазами. Обычно все говорят: как у мамы. Потом молчала, опустив голову. Молчание быстро сгущалось.

Мама открыла дневник, увидела двойку, нахмурилась.

– Ну, все понятно. И как тебя угораздило? Ну, скажи! Анна Ивановна просто так, ни за что, не могла поставить тебе двойку – значит, ты не старалась, не выучила.

Мама присела, немного подумала, затем очень строго взглянула на дочку и жестко сказала:

– Все. Переодевайся, Майя. Никуда мы не пойдем сегодня. Нельзя идти с двойкой к Эмме Робертовне. Это очень стыдно! Что она подумает о тебе, когда ты двойки получаешь?! Давай садись, учи уроки, а то завтра опять... что-нибудь у тебя получится. И давай-ка, подумай о своем поведении!

Глаза у мамы стали острые – порезаться можно – и ой, какие колючие! В голосе зазвучали металлические нотки. Она ушла в кухню и долго не возвращалась. Да и что толку, что ушла. Теперь все равно будет молчать – осуждающе, укоризненно поджимать губы – и так весь вечер.

Девочка забилась в свой уголок у этажерки с книгами и горько, безутешно плакала. Это хорошо, что мама ушла в кухню! Никто не увидит, что слезы у нее текут и текут, даже вон на столик капают, и на платье, и остановиться ну просто никак невозможно... Она всхлипнула и громко шмыгнула носом. Ну почему так обидно? Что не пошли к Эмме Робертовне? Да нет, не то... Это не беда. Подумаешь! Можно и в другой раз сходить. Хотя у нее это первая двойка, раньше она всегда получала только четыре или пять. Ну, зачем мама говорит про какие-то двойки! Ой, только бы она сейчас не вошла! Так не хотелось, чтобы мама видела, как горько она плачет. Нельзя, чтобы мама узнала, какая она слабая.

Значит, она нескладная? Неумеха? *Разлапистая!* Значит, она не такая сильная, как мама? А по всей комнате разливалось, растекалось осуждение.

Незаметно подошел вечер, тихо вздохнул, негромко шмыгнул носом в знак сочувствия, скромно присел рядышком на ее маленький стульчик. Пришел с работы папа, хитро подмигнул ей, потом переоделся и, посмотрев на часы, включил радио. Оно заиграло негромко. А потом, как всегда в это время, зазвучали позывные любимой девочкиной передачи, и задорный голос запел песню:

*Начинает свой полет веселый спутник.*

*Отложите на часок свои дела.*

*Шутников надежный друг, веселый спутник...*

*Мы надеемся, что вы из их числа<sup>18</sup>.*

Обычно, едва слышав эту песню, девочка радостно кричала: «И мы, и мы из числа *шутниковых!*» Но сегодня даже и любимая песня не могла ее порадовать.

\* \* \*

– Деточка, ты, пожалуйста, гуляй только во дворе и не ходи в те бараки. Ты меня хорошо поняла? Там живут плохие дети, тебе с ними нельзя дружить.

Летом девочка часто бывала у бабушки и дедушки – маминых родителей. Вот и сейчас она жила у них и собиралась утром на прогулку.

– Ну почему-у, бабушка?

---

<sup>18</sup> Еженедельная юмористическая радиопередача в СССР в конце 1950-х годов.

– Я тебе уже объясняла почему: они плохие, невоспитанные, тебе с ними незачем дружить! А ты лучше пойдешь, найди себе какую-нибудь хорошую девочку из приличной интеллигентной семьи и играй с ней.

– А тогда с кем мне гулять, с Машей, да, бабушка?

– Зачем с Машей? Не-ет... У нее мама такая мещанка!

А девочка не спорила. Она вообще никогда не спорила, особенно с бабушкой. Девочка понимала: бабушку не переспоришь, ничего все равно не выйдет.

\* \* \*

Постучав в дверь, мама быстро вошла в комнату соседа дяди Васи, демонстративно поздоровавшись с сидевшим там мальчиком, его сыном, сердито сказала:

– Майя! Ты что опять здесь делаешь? Ах, телевизор смотришь! Сколько можно говорить – нет там ничего интересного. И здесь тебе тоже делать нечего! Иди сейчас же к себе в комнату! Давай-ка лучше книжку читаем – я тебе купила новую. Вот увидишь – очень интересную.

– Ну, мамочка... можно, я здесь побуду? Немножко...

– Давай-давай! Сию же минуту! Пошли, слышишь?

Девочка послушно пошла за мамой. Наверное, мама, как всегда, права... И девочка не спорила. Конечно, все правильно: сосед дядя Вася – ал-ко-голик их коммунальной квартиры, и когда напьется, то орет, дерется и выгоняет из дому жену и сына. А еще он развел у себя в комнате грязь, клопов, и они ползут через электрическую розетку в их комнату, и маме приходится морить их гексахлораном – ух ты, какое слово красивое! Хотя воняет это средство просто ужас как – не случайно мама тогда отправляет ее к бабушке... Да, но зато у него телевизор есть с большой лупой перед экраном... И вообще, девочка никогда не спорила, особенно с мамой. Только смотрела исподлобья и молчала. Понимала: маму не переспоришь, ничего все равно не выйдет. Но ведь и ковыль, *голубая трава*, о которой так проникновенно пела ей в раннем детстве, перед сном, как колыбельную песню, мама, от порывов ветра упрямо прогибается до самой земли – а вот дерево может сломаться.

## Много лет назад. Она...

...Радость от того, что он так невозможно близок...

Счастье еще большего сближения. Доверия. Соединения. Слияния.

Дрожь в голосе. До боли в горле, до хрипоты. У него, у нее. Рвется к нему душа, растворяется в нем вся. Все больше хочется самой последней близости. И он тоже сдерживается из последних сил.

Так было всегда, как только им удавалось остаться одним. Но он держался осторожно, боялся настаивать, а она каждый раз находила силы совладать с ним – и с собой.

– Люблю тебя по-страшному. Моя хорошая... Цветочек мой...

Не хватает нужных слов. Конечно. Словами это не выразишь.

– Ну почему ты боишься своих чувств? – недоумевает он.

– Подожди еще... не надо... не сейчас... Ну, подожди еще немного... пожалуйста... я боюсь... – последние слова она шепчет тихо-тихо.

Еще бы не бояться последствий!

– Никак не пойму, что ты чувствуешь, как относишься ко мне, никогда не знаю, чего ты хочешь. Ты ведь все молчишь... не говоришь ничего... Ну, пожалуйста, не закрывайся от меня... – молит он, пробуя каждое слово на вкус, внезапно пересохшим голосом, словно и голос тоже его боится, тоже не хочет ему принадлежать. Но и в такие минуты чувство такта не изменяло ему..

А что, если?..

– Нет, ты не бойся, не надо... Ты же знаешь, если только ты не захочешь, я ничего такого себе не позволю. Ну не могу я так... против твоей воли... Сколько раз я клятву себе давал не трогать тебя! Только... ты сама скоро захочешь этого, правда ведь?.. Если честно, ну скажи – да?..

Он зарылся лицом в ее волосы. Его голос стал вкрадчивым, обволакивал, затем очень сузился.

Даже находясь в невероятной, тревожной, опасной близости от него, она скорее угадывала, чем слышала то, что он прошептал.

– Да... – тихим-тихим эхом отозвалась она.

Вот! Нельзя было отвечать сейчас это – еле слышное – да! Последнее решение остается за женщиной. «Да» было ее согласием. Голова закружилась от его поцелуев, а они становились все более решительными, глубокими – мужскими. А его глаза просто затягивали ее в себя, как два огромных горячих темных омота, обволакивали, завораживали, проникали внутрь, растапливали... А сердце билось у самого горла, готовое выскочить. И непонятно было, чье это сердце так бьется – его ли? Ее ли?

Не было больше сил сдерживаться. Больше не было сил сдерживать его.

Полутемная комната осветилась вдруг голубовато-зеленым аквамаринным сиянием. Оно тоже ласкало, завораживало, обволакивало... Откуда было ей знать, что страсть бывает и такой?..

Не хватило сил сопротивляться.

И упал барьер.

Не думая больше ни о чем, очертя голову, они в каком-то безудержном восторге бросились с обрыва в пропасть, упали, нырнули в бурлящий, болезненно-сладкий бездонный омут, втянувший их в опасную горячую, темную Воронку. Когда он оказался в ней, она, кажется, не почувствовала ни боли, ни стыда, ни страха – вся растворилась в нем, точнее, они растворились друг в друге. Да... да... вот так... наконец-то! Да! Тела заскользили вместе, слаженно,

в такт. Как в сладострастном ритуальном танце. Какой он сильный! Еще нырок, еще! Какое глубокое погружение! Какой он нежный...

А потом, вынырнув, то быстро, то медленно они вместе поплыли в потоке, словно в ином, нереальном измерении, всей душой, всем телом отдаваясь ритму, музыке, хрустальному звону течения, снова и снова искренне, без остатка, не помня себя, одаривали друг друга полными пригоршнями счастья. Не видя... не слыша... не ощущая ничего вокруг... забыв обо всем... Слившись в одно существо так, что в мире больше не осталось никого и ничего! Они то тонули, то, задыхаясь от изнеможения, выплывали на поверхность, когда не хватало уже воздуха.

*Человек явился в мир таким.  
Обнажен, незащищен, уязвим.  
Змея Искушение – на нем.  
Яблоко Греха... давай сорвем?*

*Женищина рождается в любви.  
Чистота слепит, влечет, манит.  
Лилия чиста, бела внутри...  
Нет! Таких нет больше – посмотри!*

Сердца бились в такт.

Моя... любимая... родной мой... да, так... Еще, еще! Лапа моя, ты, ты, ты... да!

Серебряное звучание той божественной, ликующей музыки замирало, падало, становилось неразличимым, неслышимым...

А затем голос музыки нарастал, гремел, грохотал, устремлялся вверх, ввысь на какой-то невообразимой ноте, в сумасшедшем, упоительном, счастливом crescendo. Да, да, да-а-а!..

И звенели, ликовали души, и вибрировали, и пели от счастья тела в унисон Вселенной, в высочайшем акте любви и самопожертвования.

## Наше время. Она и я...

– ...Ну и зачем нам говорить в таком тоне? Какой в этом смысл – сейчас? – произнесла я примирительно, осторожно подбирая каждое слово.

– Вот ты опять! Смысл! Это *неразумно! Нерационально!* – моментально вышла из берегов, взорвалась она, очень похоже передразнивая меня. Ту, из тех, старых, дней, или эту, дня сегодняшнего? Было трудно это понять.

Эмоциональная реакция после стольких лет – ничего не скажешь! Как-то не очень на нее похоже, или я просто забыла?

– Ну, надо иногда и голову включать, как же иначе? – парировала я. – Что, так теперь и плыть по течению? Здорово! Только к чему это приведет?

– Вот ты опять оправдываешься! Как тогда, – она снова загоняла меня в угол.

– Хорошо! Ну, а что мне еще оставалось делать, вот скажи? У меня же не было выбора! Нельзя загонять человека в угол! Никто же не захотел понять, услышать нас... меня! Ни он... никто не оставил мне никакого шанса! – заорала я вне себя. Ожила старая обида на нее. Досада, озлобление, неприязнь – волны этих чувств снова захлестнули меня, накрыли с головой.

– А вот психовать не надо! Что ты заводишься с пол-оборота?! Держи себя в руках! Неужели за столько-то лет не научилась? Это мне надо кричать. Ты-то как раз вышла сухой из воды!

От обиды я даже задохнулась, на секунду потеряв дар речи. Но только на секунду.

– Что ты сказала? – рявкнула я. – И ты это что, серьезно, да? А ну повтори! Это я вышла сухой из воды?! Я? – Тут мне пришлось замолчать – и перевести дух.

Я старалась совладать с собой, говорить спокойно и вложила в свои слова максимум сарказма, на который была способна. Но ядовитый тон, похоже, совсем не действовал на нее. Ехидная усмешка стерлась с ее лица, и на нем попеременно начали проступать... досада... обида... горечь... страх!

Но меня уже ничто не могло остановить.

– А он... он, вообще... Что, думал, *склеил* понравившуюся девочку – и все! Здорово, да? – я уже почти кричала.

– Может быть... Об этом я ничего не знаю. Но может быть, так и было в самом начале... А потом, когда у вас уже все закрутилось?... Как ты можешь так говорить: ведь он у тебя был первый... А он... Да он же не мог думать больше ни о ком, вообще дышал, или, как это говорят – не дышал на тебя...

– А, ну да, ну да! Слыхали! Как там: *пожар чувств! вулкан страстей!! Неистовый Роланд!* – злобно, как разбуженная нектати гадюка, зашипела я на нее. – *Вертеровские* или, черт его знает, какие там еще... африканские страсти, так, что ли?! Да уж, высокие отношения, ничего не скажешь! Ага... Только ты забыла почему-то одну ма-аленькую деталь, так, пустячок: собственную дурь, горе – что? Он заливал потом водкой! Отличное решение! Просто замечательное! Ну, конечно, ведь это же проще всего! Гегемон проклятый, каторжник чертов – а туда же! *Ах, люблю, ах, люблю!* Да он... он просто... он же у меня годы жизни украл! – Я окончательно вышла из себя. – А обо мне он хоть когда-нибудь думал? А, да ладно! Ни он... никто... нет, правда, никто не хотел принять меня всерьез! Ну, не было у меня шансов! Ты что, уже забыла, что мне пришлось пережить? Я и сегодня не могу об этом спокойно говорить, это до сих пор моя боль! Это все так и не прошло до конца, наверное! А ты еще смеешь мне что-то говорить! И вообще, не лезь ты мне в душу и заткнись, поняла? Что я, по-твоему, могла поступить иначе? Ты не имеешь права меня осуждать!

Она не перебивала, слушала внимательно, а когда я закончила, посмотрела на меня исподлобья, помолчала, потом тихо произнесла:

– Чужие слова повторяешь... А право я имею. Я-то ведь смогла...  
Припомнилось вдруг что-то:

*Нет больше Страха! Мы летим, и Змей...*

Господи! Ну, вот не помню я, как там было дальше – не помню, и все тут! Будто кто-то начисто стер из памяти... Как там дальше?!

– Ты что, не слышишь меня, а? Я ведь смогла, – повторила она уже громче и увереннее.

– Да о чем ты говоришь, я что-то никак не пойму?

– Ах, ты не понимаешь? Так я сейчас тебе объясню. Помнишь, что случилось, когда...

Снова временная дыра? Кто-то из нас – я или снова она, совершенно непонятно кто – уже привычно пронеслась по хронологическому коридору и с разбегу влетела... Куда?

## Много лет назад. Она...

Помнишь, что случилось, когда?..

– Ох, Майка, Майка! Что ж ты делаешь со своей жизнью? Ну, разве так можно? – вразумлял ее отец.

Вот уже больше двух недель, как она поссорилась с Олежкой и совершенно не находила себе места.

Перестала ходить в университет, почти не выходила из дома. Только иногда прибегала к Аленке или подруга являлась к ней, и тогда она могла душу отвести – поговорить о нем.

Они сидели с отцом в большой комнате, уютно устроившись на диване. Смеркалось, шторы были задвинуты не очень плотно, и было видно, как за окном быстро сгущались мартовские матово синие сумерки.

– Ты пойми, Майк, такое прощать нельзя. Ты должна покончить с этой историей. Ну, как ты только можешь терпеть его выходки? И до каких пор, а? Ведь это какая-то Достоевщина! Уж ты мне поверь: если он позволяет себе являться к тебе пьяным чуть ли не среди ночи уже сейчас, пока вы ничем не связаны, то подумай, на что он может быть способен, если ты вдруг возьмешь да и выскочишь за него замуж! А сколько раз ты уже просила, чтобы он этого не делал, ну скажи!

«Хорошо, что отец не включает свет, – думала она. – Так он не увидит, что слезы неудержимо текут, текут из глаз...»

– Отец, – начала она, делая вид, что просто слегка простудилась, достала платок, чтобы он не подумал, что она плачет. – Отец, я все понимаю... Но что же мне теперь делать? Когда он в следующий раз позвонит, я хочу все-таки поговорить еще раз... сказать ему..

– О чем ты собираешься опять с ним разговаривать? Хватит разговоров, все давно сказано! Неужели ты не понимаешь, что это уступка с твоей стороны, он так и поймет – поймет, что все ему позволено! Где же твоя гордость, Майк, он же плюет на все, что ты ему говоришь! Где твое достоинство, а? А уж особенно, если ты будешь говорить, как всегда, недомолвками! Ведь ты же из Москвы в Ленинград всегда едешь через Владивосток...

– Но ты пойми, я... я не могу так, не могу так долго без него... я вообще без него не могу, – ее голос упал, и последние слова она произнесла срывающимся хриплым шепотом.

– Знаешь, что, дочь... Конечно, все я понимаю. Понимаю я твои чувства. Уж кто-кто, а я... Понятно, он заслонил тебе весь белый свет. Но все равно учти: я категорически возражаю против того, чтобы ты вышла за него замуж. Знай: я, безусловно, буду против вашего брака и решения своего не изменю. И твоя мать, конечно, тоже... Хотя ты учти и то, что если ты с ним не будешь видеться долго, то он, может быть, хотя бы поймет, что с тобой он так вести себя не имеет права. И если он тебя действительно любит, то, кто знает, может быть, со временем... Конечно, я не очень в это верю.

– Но зачем же тогда так мучиться, зачем все это, какой смысл ждать, если все равно ничего не выйдет?!

– ...Майк, послушай... Давай-ка с тобой потолкуем, спокойно, без нервов. Ну, ты ведь разумный человек и рассуждаешь разумно обо всем, кроме одного. Объясни ты мне, пожалуйста, моя дорогая дочь, что с тобой происходит? Ведь с тобой невозможно ни дела иметь, ни договариваться, как только речь заходит о нем! Вот я стараюсь тебя понять – и, честно говоря, не могу. Я, конечно, уважаю твое мнение и, так сказать... твои чувства. Чужое мнение я привык уважать и проявлять терпимость, ты же знаешь, и, в конце концов, никому не дано право вмешиваться в чужие чувства, судить... Да, я это понимаю и готов отстаивать. Но, на мой взгляд, он просто слабохарактерный, безвольный человек. Да с ним и дело-то иметь просто

опасно... Вспомни, ведь один раз он уже доигрался – вон в колонии уже успел побывать за хулиганство. Осудили же его тогда, еще в школе!

– *Как умеет любить хулиган...* – пробормотала она.

– Что? Я не расслышал... – недоверчиво переспросил отец. В тоне его звучало недоумение.

– Да нет... Так, ничего, неважно... Это я так, просто... о своем подумала...

– Знаешь, на слух я пока что не жалуясь. Ты что, думала, я не расслышал? – ядовито заметил отец. – Только знаешь, это совсем не тот случай – Есенина стихи цитировать! Здесь и сравнивать нельзя! Вообще, насколько я его понимаю, он примитивный ограниченный человек, плывет без руля и без ветрил. К тому же его окружение, среда, его уровень... И потом, он же элементарно невоспитан!

– Отец, но ведь у нас в стране провозглашается равенство, и неважно, из какой ты семьи, из какой семьи он – ну, если все равны, то какая же разница, – медленно произнесла она с некоторой долей ехидства.

– Да, все у нас равны, конечно, но только ты, пожалуйста, не передергивай! – моментально отреагировал отец. – А ты вот лучше подумай: в чем, собственно, должно выражаться это равенство? В невежестве, невоспитанности, так, что ли? И, наверное, все же не в дремучей необразованности, не в неотесанности и серости, а? Ведь его кругозор, интеллект – ох!.. Ну, просто слов у меня нет... – он тяжело вздохнул. – Господи, да неужели тебе с ним интересно? Для меня это неприемлемо. Я бы не мог иметь ничего общего с таким человеком. Я вот только не понимаю, как ты-то этого не видишь, не чувствуешь? А ты сама? Ты же потеряла интерес ко всему, кроме... своих чувств! Раньше ты с таким увлечением занималась римским правом, итальянским и английским языками, сравнительной лингвистикой. А какие рассказы писала! И что же теперь?.. Теперь ты все забросила, вот теперь даже в университет не ходишь. Что это у тебя за наваждение такое? В какую летаргию ты впала?! Где же твое достоинство, наконец, а, Майк? Как ты можешь настолько не уважать себя? Ну как тебе только не противно смотреть на него, когда он напивается?! Но, в любом случае, если ты сейчас ему снова уступишь, то можешь сразу, прямо сейчас, зачеркнуть все свои иллюзии относительно будущего.

Телефон! О Боже! От неожиданности она даже вздрогнула. Господи, ну до чего голосист! Прямо оглушил.

Отец взял трубку, но сразу положил ее.

Ну вот! Опять она забыла перерезать телефонный шнур и отсоединить проводки так, чтобы телефон не звонил! Если бы можно было выдернуть шнур из розетки! Но телефонный шнур соединен с розеткой напрямую. А теперь он начнет трезвонить без конца!

А еще лучше сделать то же самое и с дверным звонком – вдруг ему вздумается явиться.

– Ну, вот видишь, опять повесили трубку, – отец сдвинул брови, развел руками. – То молчат – не хотят со мной разговаривать, то вот, как сейчас, трубки вешают... Это он, конечно. Дождется, когда ты подойдешь к телефону. Насколько я понимаю, рассчитывает взять тебя измором. Вот видишь, какой он хитрый, оказывается: ждет, пока ты как следует соскучишься...

– Отец, но вдруг все-таки у нас получится? Мы же любим друг друга. Как можно предавать свою любовь? Может быть, не сейчас... но потом, позднее... когда-нибудь... – и, не выдержав, она всхлипнула.

– Да, но он же вот именно это самое и делает постоянно – предает тебя и вашу любовь этими своими художествами! И потом, как ты представляешь себе вашу будущую жизнь? Ты только подумай, ведь он, мягко говоря, не слишком воспитанный, и с его-то отчаянным характером, да еще это его постоянное, ну, скажем так... пристрастие к спиртному. Ты представляешь себе, что могло бы из этого получиться, если бы ты вдруг выскочила за него замуж? Это ведь совсем другое дело, это – не просто встречаться, как сейчас! Нет, это пустой номер.

– Отец... Но, значит, когда любишь, приходится чем-то поступаться... терять достоинство?

– Господи, ну, и логика у тебя! Да откуда ты такое взяла? Наоборот! Но это, правда, смотря какая любовь...

Ну что тут возразишь? Отец, конечно, прав.

Она встала и направилась к двери. О чем еще тут говорить?

– И не горюй ты так, Майк, выше нос! Ведь все еще будет, ты уж мне поверь! – сказал отец ей вдогонку.

Она остановилась уже в дверях, обернулась к отцу – и взорвалась:

– Будет, будет?! И сколько же мне еще, интересно, ждать этого самого светлого будущего? Ну, прямо как у нас в стране! Когда рак на горе свистнет? Все время все только и обещают это самое светлое будущее впереди. Будет! А когда, скажи? Сколько ждать? До морковкиного заговенья, как бабушка Юля говорит, так, что ли, да? Но я-то хочу жить сейчас! Понимаешь: я не хочу ждать, когда что-то там будет! А черт его знает, что там будет! *Я хо-чу жить сей-час!*

И ушла в свою комнату И долго-долго сидела, не зажигая света. Уже совсем стемнело.

А внизу, этажом ниже, праздновали свадьбу. Веселый гул. Громкая музыка. Смех и песни. Время от времени – крики «Горько! Горько!!» А ей хотелось выть от боли, страха, тоски, отчаяния. Ведь она понимала: вряд ли сможет она выйти за Олежку замуж. Не будет этого в ее жизни, а если они и смогут когда-нибудь пожениться, если примут такое решение, то она сразу окажется оторванной от всех близких ей людей... от мамы, отца... Сумеют ли они выстоять вдвоем против всего мира? Это если вдвоем... Но может ли она на него положиться, если он уже сейчас так себя ведет?

Они сидели с Олежкой у него дома, где в эти послеобеденные часы никого не было: даже его домоседка-бабушка куда-то ушла. Напряженный получался разговор, хотя Олежка и пытался разжалобить ее. А она помнила одно: стоит только дать слабину – и все начнется сначала.

– Майечка, лапа, вот зря ты так говоришь! Правда, ну зачем ты так? Напрасно ты так со мной... Ну, прости ты меня, ну, пожалуйста! Я ведь стараюсь, и я всегда прислушиваюсь к тому, что ты говоришь. Ну, я постараюсь, обещаю тебе. Больше не буду... Послушай, я, правда, не хотел... Знаешь, я сам не знаю... Ну, не понимаю я, как я опять... Я, правда же, не хотел... Я ведь люблю тебя...

Этот его детский лепет, эти его обещания – все это она слышала уже не в первый раз. Ей так хотелось ему поверить, но разумом она понимала: верить нельзя, грош цена его обещаниям.

– Да ты что, вообще, издеваешься, что ли, надо мной?! Ладно, все-таки объясни, зачем это тебе? Послушай, а ты что, совсем уже не можешь не пить? Ты выглядел омерзительно – мне теперь и вспоминать-то об этом противно, а уж тогда!.. Вот видел бы ты себя со стороны!.. Ты что, уже больной совсем, алкоголик, да? Тогда тебе лечиться надо! Это же слабость, понятно? Не хочу это видеть, это терпеть. И не буду, понятно тебе? Я в своей семье к такому не привыкла. И знаешь что, я всегда считала, что мужчине быть слабым стыдно! Ну, вот как можно настолько не уважать себя? Ты просто слабый, безвольный человек! Разве можно на тебя положиться, опереться? А еще говорил – любишь... Тряпка ты половая, вот ты кто! Понял?! – Он молчал, опустив голову, и она окончательно потеряла самообладание. – У тебя вообще-то есть хоть капля достоинства или уже вовсе нет? Ну, так, в принципе? Эй! Ты как, ты меня вообще слышишь хотя бы, а?! – она произносила эти слова, она почти кричала, но чувствовала: да, отец прав, все впустую, тут уж ничего не поделаешь. Зыбко... Зыбко все кругом. Болото. Гать. Трясина.

На минуту он оторопел.

Опустил голову, тихо произнес:

– Майечка, милая, ну, я постараюсь... Ты мне веришь? Правда! Послушай, поверь мне, хотя бы еще раз, ну, пожалуйста. Ты пойми, я правда не могу без тебя! Эти полмесяца, когда мы не виделись, или даже больше... Я не могу так, правда... Пойми, только ты, только ты одна мне нужна, правда, и никто – ну что же теперь делать? Я же люблю тебя, а ты? Ты любишь меня, ну, скажи?

– Слушай, но ведь это же не разговор! Ты все время уводишь в сторону! Я, наверное, вообще была неправа, что до сих пор терпела все эти твои фокусы. Ну, вот скажи, разве я могу верить твоим обещаниям?! Ты же сам знаешь: ты их не можешь сдержать.

Она не могла ему поверить. Они молчали. Молчание провисало все чаще. Ей так хотелось ему поверить, но перед глазами возникал отец, с его скептической усмешкой, и его слова звучали как приговор: «Не верю я ему! Свежо предание...»

Олежка подвинулся к ней поближе, обнял, попытался поцеловать. Она отвернулась, резко встала, пошла к двери. Не слушая его уговоров остаться, побыть с ним еще хоть полчаса, хоть несколько минут, надела шубку, сапожки, вышла из квартиры, не попрощавшись. Она шла быстро, почти бежала, сама не понимая куда, а в сознании, как в клетке, билась мысль: «*Все! Это конец! Не-при-ем-ле-мо! Без-на-де-жно! За-пре-дель-но!*» Алые буквы этих слов выстраивались перед глазами, сами складывались в слова, как лозунги на первомайской демонстрации. С непонятной ей самой отстраненностью она отметила: странно, почему так весело, радостно, звонко стучали ее каблучки по тротуару, уже совершенно освободившемуся от снега и льда, отбивали каждый слог. Да, вот уже и весна, а ее это совсем не радует.

Все так, все правильно. Разве может она его изменить?

Как исцарапана душа, прямо до крови. Словно ее руки в детстве, после игры с котенком Рыжим.

Долго-долго бродила она по городу в тот вечер, пока совсем не выбилась из сил, и сама не очень понимала, куда идет, зачем, который теперь час. В голове почему-то крутилась дурацкая скороговорка «*Шла Саша по шоссе...*» Надо же! Привязалась, проклятая...

Мартовский вечер сегодня вышел из дома позднее обычного и широко шагал ей навстречу, торопясь на работу и быстро расстегивая на ходу пуговицы своего длинного, до пят, широкополого темно-синего кашемирового пальто, потому что от быстрой ходьбы ему стало жарко. А распахнув его, наконец, ласковый вечер улыбнулся приветливо и открыто, протянул к ней руки, словно стремился заключить ее в теплые душевные объятия, укутать с головы до ног в свое необъятное жаркое пальто.

Он достиг ее, поймал, ободряюще похлопал по плечу, обнял и поцеловал. Ей стало жарко, неуютно, неловко: ведь она-то жаждала совсем других объятий и поцелуев. Но увидев ее расстроенное, нахмуренное лицо, синий вечер недоуменно поджал губы, резко повернул в другую сторону и в смятении устремился прочь.

«Вот, даже вечер отвергает меня», – с горечью подумала она.

Где это она читала, что ничто в мире не происходит просто так – случайно, и вовсе не разум, а сердце выбирает, в кого влюбиться? Может быть – кто знает... Но если это так, то зачем тогда вообще пересеклись их дороги? Для чего они встретились, если чувства заводят ее в тупик?

Потом, когда от долгой ходьбы начали гудеть ноги, она села в полупустой 41-й автобус, удобно устроилась на заднем сиденье и поехала без всякой цели до конечной остановки и обратно. У этого автобуса очень длинный маршрут, а еще не совсем стемнело, и так не хотелось спускаться под землю... В метро темно, душно, тесно. Возвращаться же домой? Нет, и домой ей совсем не хотелось. Надо было побыть в одиночестве, подумать, принять какое-то решение, и потом, трудно было видеть осуждающий взгляд отца, слышать, как он, нахмурившись и сурово качая головой, скажет: «Опять к нему ходила? Как ты не понимаешь: это уступка! И потом, если ты сегодня стала с ним разговаривать, слушать его, значит, через неделю ты и

совсем сдашься – снова уляжешься с ним в постель! А он только того и добивается – опять из тебя веревки вить станет!». Нет-нет, только не домой!

Что же ей теперь делать? Разумом она понимала: наверное, она просто выдумала себе Олечку. Он вовсе не такой, каким кажется, и надо отказаться от него, вычеркнуть из своей жизни. Но ведь это невозможно! Нет! Одна лишь мысль о разлуке с ним вызывала нестерпимую боль. Ой, как больно! Но и быть с ним она тоже не может.

Мысли судорожно заметались в голове. Она понимала: завтра, через три дня, через неделю он позвонит, они встретятся, и все начнется сначала. Ну да, сколько-то там времени он будет стараться вести себя как надо – весь вопрос только в том, когда он снова сорвется. Да, это неприемлемо. Но что делать ей, если белый свет на нем сошелся клином и невозможно избавиться от этого *наваждения!*

Любовь выплескивалась из нее, и брызги попадали в лицо, на мех шубки, на сапожки. Ничего она не может с этим поделать. Это донкихотство, борьба с ветряными мельницами. Все равно ничего не выйдет. *«Пус-той но-мер»*, – словами отца выстукивали ее каблучки безжалостную дробь по асфальту. – *«Да-да! Да-да! Да!»*.

Да! Против нее – привычки его семьи, его окружение, среда, в которой он вырос и живет сейчас, – всё и все ополчились против их любви.

Но все же это ее Воронка... Теперь она начинала смутно осознавать: это что-то темное, теплое, тихое, уютное, безопасное – и очень счастливое. Тогда она должна ее защищать всеми силами. Как то внутреннее, лично ее пространство, которое она создавала себе сама и раньше, когда замыкалась в себе. Когда создавала себе свой уютный, свободный от жизненных бурь, выдуманный книжный мир.

## Без времени. Девочка...

...Это был ее такой уютный, такой безопасный и свободный от жизненных бурь, выдуманный книжный мир.

– Это девушка утонченная, необычная, не такая, как все. Это девушка из XVIII века... – говорил немного старомодный седовласый господин, мамин иностранный научный коллега.

– Да, надо же, это правда, – и удивлялась, и почему-то, как комплименту, радовалась мама.

Что это было? Комплимент? Или предостережение?

Правильно ли это? Так ли уж это хорошо – ошибиться эпохой, задержаться, потеряться душой, если не телом, – где-то в другом веке? А девочка радовалась и не спорила. Она вообще никогда не спорила, особенно с мамой. Все равно ничего не докажешь. И потом, в этом случае она как раз не сомневалась: ну конечно, комплимент. Ведь так здорово – быть необычной. Она не такая, как все!

С самого детства она очень любила читать. Все понятно – домашняя книжная девочка. В раннем детстве родители по очереди читали ей каждый вечер, и книжки всегда были такие интересные! А потом она научилась читать сама.

Как же радостно оставаться дома одной и делать то, что нравится. А нравилось ей сидеть дома и читать. Читала она много, множество раз перечитывала любимые книжки, вся, с головой уходя в параллельный мир и пытаясь воплотить свою реальную жизнь в нереальном книжном мире. Как много книг! Вот они, плотно, в несколько рядов, стоят в книжных шкафах и на стеллажах по всей квартире – выбирай любую. Ее любимые книги располагаются на разных полках, в разных местах: в родительской библиотеке всегда поддерживался образцовый порядок, и можно сразу найти нужную книгу.

«Три товарища». «Анна Каренина». «Нетерпение сердца», «Письмо незнакомки» Цвейга. «Ручьи, где плещется форель» Паустовского. «Сага о Форсайтах»... «Дорога уходит в даль» Александры Бруштейн. «Милый друг» Мопассана. И еще, и еще – и все любимые! «Мастер и Маргарита». Анна Ахматова. «Синеглазый король»... «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, «Тишина» Юрия Бондарева... И еще, и еще...

Книги загадочно шуршали, тихо-тихо шелестели страницами, сами перелистывали их. В зависимости от времени суток книги перешептывались почти бесшумно или разговаривали друг с другом довольно громко. Книги заводили беседу и с ней – и вот она уже различает их по голосам. Вот гремит гулкий бас «Руслана и Людмилы», а вот – тихо! слышите? – мягкий баритон «Двух капитанов», вкрадчивый тенор *Bel Ami*<sup>19</sup>. Ну а это, конечно же, металлическое меццо «Лунного камня». А вон с той полки слышится слегка капризное ломкое сопрано молодой мадьярской аристократки Эдит Кекешфальвы: она все ждет своего неверного возлюбленного Антона Гофмиллера и не может вынести измены этого блестящего австрийского офицера. Ему вторит детский дискант «Алисы в Стране чудес»...

А некоторые книжки девочка видела и в цвете. Багрово-алый «Амок», прозрачно аквариумная «Корзина с еловыми шишками», кобальтово-синяя «Песнь торжествующей любви», коричневая с зелеными прожилками «Война и мир»... А незнакомые пока книги манили яркими корешками, загадочными именами, непонятными названиями, увлекали за собой в волшебный, волнующий мир, в невообразимую даль *взрослой* жизни.

Девочка читала все подряд – запоем. Летом, в каникулы, она часто проводила с какой-нибудь книгой ночи напролет, встречала рассвет, а затем тихонько, чтобы не разбудить домашних, особенно маму, которая спала очень чутко (и ей не понравилось бы, что девочка не спит

<sup>19</sup> «Милый друг».

ночью, зато потом отсыпается днем) – выходила на балкон, чтобы полюбоваться, как над крышами большого города встает солнце. Сразу после восхода на это красное, а иногда малиновое солнце можно смотреть не щурясь. Оно гладит крыши домов, деревья, спящий город, ласкает их своими теплыми оранжевыми лучами.

«Да уж, – с некоторым ехидством говорила она сама себе. – Прямо как пушкинская Татьяна, которая любила *предупреждать зари восход* — и тоже на балконе. А главное, она уже стала совсем взрослой!»

Молодая преподавательница литературы Арина Михайловна – это им, старшеклассникам, она казалась пожилой, – невысокая, темноволосая, нос горбинкой, с четким, до жесткости, профилем, всегда очень элегантно, как-то по-особенному, изысканно, одетая, была очень похожа на Анну Ахматову, которой она восхищалась и, вероятно, слегка подражала.

«*Ты все узнаешь, кроме Радости. А ничего, живи*» — ну, разве можно найти, подобрать, высказать слова точнее, ярче, пронзительнее! Правда, затаенный смысл этих слов девочка поняла лишь спустя годы. Спустя много лет...

Арина Михайловна научила девочку любить родную литературу. Какие интересные художественные образы русских, советских писателей она рисовала для них, учеников девятого, потом десятого класса! Они вставали перед ними, как живые: Толстой, Достоевский, Чехов, Есенин, Ахматова, Булгаков, Паустовский, Аксенов... А в выпускном классе девочка просто бредила Блоком – и знала наизусть особенно любимые ей стихи. «*Только влюбленный имеет право на звание человека*» — как точно сказано, не в бровь, а в глаз! А томик Василия Аксенова с повестью «Пора, мой друг, пора!» Арина Михайловна подарила девочке, и он остался ее любимой книгой на долгие годы, навсегда.

А какие нестандартные диспуты устраивала Арина Михайловна! «Любила ли Наташа князя Андрея?» – надо же! Ученики оставались после уроков в классе и, забывая о времени, спорили до хрипоты, до крика, до слез. Как поразило ее, когда любимая преподавательница поставила ей пятерку за одно-единственное слово в сочинении по произведениям Чехова: кусачий хищник – хорек...

Иллюзорный мир книг, быть может, воспринимаемый девочкой слишком буквально, становился для нее основной, даже единственной реальностью – реальностью, пропитанной иллюзиями. Он сплетался в сознании с настоящим, а часто заменял реальную жизнь.

Мир-пирог с начинкой из иллюзий. Зато на этот домашний книжный мир не надо глядеть исподлобья. Он предсказуемый, он не опасен, в нем ни холодов нет, ни ветра, ни особенных сквозняков – живи себе на солнечной, подветренной стороне. В нем не надо молчать, опустив голову или глядя в сторону. Почему же она молчала? Девочка и сама понимала это с трудом. От страха? Но чего она боялась? Одиночества? Быть отвергнутой? Что означало ее молчание? Гордость? Желание оставаться собой, настоящей, сохранить лицо? Или что-то другое? Необходимость соблюдать приличия? Она точно не знала.

Зато она уже давно поняла: тот, реальный мир – он *опасный*: можно пораниться, порезаться об острые края. Хотелось защититься, убежать от него.

Ребенком девочка была дикаркой, тихоней, молчуньей. Она стеснялась разговаривать с чужими, не любила детских праздников и общества детей – подойти к девочке-сверстнице, познакомиться с ней было для нее целой проблемой. Вообще, она предпочитала общение со взрослыми, ведь с ними гораздо интереснее!

Взрослея, девочка начинала осознавать: жизнь настоящая неотвратимо отталкивала ее своей неприглядностью, низменностью, обнаженностью чувств, цинизмом и ложью мира взрослых. Жизнь пугала ее: достаточно было подумать о своей слабости, уязвимости, хрупкости, незащищенности. Реальный мир не всегда принимал ее, когда она была сама собой, а иногда даже отвергал. В этом мире так легко потеряться!

А книги рассказывали о Любви, дружбе, о преданности, доверии, о понимании. О самоотверженности. О плече друга. О принятии другого – таким, как есть. Полностью, целиком. И чем больше они обо всем этом рассказывали, тем больше она их перечитывала. В ее воображении шеренгами, как марширующие оловянные солдатики, проходили, чеканя шаг, зеленые, оранжевые, аквамариновые, багрово-красные образы... И она читала, читала... и мечтала.

*«Я знала все твои привычки... и жила только тобой... Я целовала ручку двери, к которой прикасалась твоя рука, я подобрала окурок сигары, который ты бросил... к нему прикасались твои губы. По вечерам я... выбегала на улицу посмотреть, в какой комнате горит у тебя свет...»<sup>20</sup>*. Эти пронзительные строчки завораживали восприимчивую, тонкокожую девочку, бесконечно трогали ее, пробуждали в душе смутный, размытый образ – друга, возлюбленного, одного-единственного, любимого, на всю жизнь – и делали ее очень уязвимой... Вот если бы вдруг появился *принц* на коне... Только девочка понятия не имела о том, где живут принцы.

---

<sup>20</sup> *Стефан Цвейг. Письмо незнакомки.*

## **Наше время. Она и я...**

Ссориться и спорить нам надоело. Да и к чему? Все равно никакого толку.  
Над заснеженным парком, над дачами Мозжинки повисло тяжелое, мрачное молчание.  
Все. Надо уходить отсюда, надоело!  
– А ты помнишь одну августовскую ночь? – она первой нарушила молчание.

## Много лет назад. Она...

Все! Дождалась, наконец. Через полчаса можно выходить из дома и ехать на Новый Арбат – на Главпочтамт. Звонить Олежке в Ригу. И так каждый вечер.

Из дома нельзя. Логика, конечно, странная, у отца. Если она будет звонить из дома, то это, с его стороны, лишь поощрение ее... наваждения, а вот если из другого места, откуда угодно... даже когда отец об этом знает, то уже другое дело – ничего вроде бы и нет... Надо соблюдать декорум... Или это у него просто робкая надежда: рассосется... Как там, у Толстого – образуется? Впрочем, она его хорошо понимала, потому что сама часто на это рассчитывала.

Догорал, медленно спускаясь на землю, солнечный, теплый, не очень жаркий августовский день.

Олежка улетел в Ригу две недели, нет, больше – уже пятнадцать с половиной дней назад, и сколько осталось? Еще так много! Ложась спать, она аккуратно зачеркивала в маленьком секретном календарике оставшиеся до его возвращения дни. Этот ежевечерний ритуал помогал ей пережить разлуку с ним. Да, кстати, сколько еще ждать? Четыре, нет, уже только почти три с половиной дня... Как же долго! Время насмеялось над ней: оно остановилось совсем – нет сил больше! Олеженька, Олежик...

Постучался, вошел в комнату отец, чуть заметно прихрамывая, как всегда, когда очень устал, присел с ней рядом на диван, спросил, что она сейчас читает. Она оторвалась от книги и внимательно посмотрела на него. Невысокий, худой, очень аккуратный, хотя одет по-домашнему, седой. Вон, волосы совсем почти белые, но очень густые, жесткие даже на вид, непослушные, рассыпающиеся по пробору, на обе стороны, хотя он тщательно зачесывает их с высокого лба назад...

Он рано поседел, еще совсем молодым – она его только таким и помнила. И вид усталый, конечно. Ну, все ясно, опять целый день провел за письменным столом – работал над докторской диссертацией, хотя сейчас он в отпуске... И как это она раньше – ну, хоть вчера, позавчера – не замечала, как сильно он устает в последнее время? Она вдруг не столько поняла, сколько ощутила: работа для отца – это еще и отдушина, средство уйти от невеселых мыслей, от реальности, которая, вероятно, не слишком радовала... Взгляд рассеянный, с прищуром, от усталости более резко, чем обычно, обозначились морщины у рта, у глаз, и глаза, обычно мягкие, зеленовато-серые, теперь покраснели, затуманились. Да нет, они у него грустные...

Отец подвинул к себе, заглянул в книгу, которую она читала, задумался, словно что-то припоминая. А, «Заговор равнодушных». Он одобрительно кивнул в ответ на ее немой вопрос, нравится ли ему эта книга, потом тепло, ласково посмотрел на нее, негромко, мягко сказал – а голос такой уютный, бархатный, словно мягкое послевкусие, которое остается от последнего глотка отлично заваренного кофе:

– Слушай, Майк, а ты помнишь, сегодня будут показывать новую серию «Саги о Форсайтах». Знаешь, а ведь хорошо сделали фильм англичане, мне, в общем, нравится. А ты как считаешь? Тебе нравится, да? Слушай-ка, а как этот главный актер, как же его?.. (Эрик Портер – подсказала она) играет Сомса! Тебе понравилось? (Она знала: Соме – самый любимый герой отца в «Саге»). Ты же смотрела со мной предыдущую серию? Да? И, насколько я понимаю, сегодня должна уже быть серия, в которой Джон возвращается в Англию с Энн, – в общем, «Лебединая песня» Флёр. (Отец знал, что Флёр – ее любимая героиня). Вот как раз начнется уже, – он посмотрел на часы, – через сорок минут. Посмотрим с тобой? И я как раз перерыв сделаю до завтрашнего утра. Я уже сегодня поработал как следует и что-то сильно устал, но зато сделал все, что хотел, сейчас вот только пойду, допишу до точки – а то мне тут одна мысль как раз сейчас пришла в голову – и все сложу... А пока давай-ка выпьем кофейку? Знаешь, я ведь сегодня с утра съездил на Кировскую, в магазин «Чай и Кофе» и купил полкило хорошей

арабики в зернах – теперь нам на некоторое время кофе хватит. Хотя и пришлось мне как следует в очереди постоять. Свари пока, а?

– Ага, сейчас сварю, конечно.

Она сварила в турке, по классическому семейному рецепту, привезенному мамой из Румынии, крепчайший ароматный кофе – именно такой больше всего любили в их семье.

Разлила его в маленькие хрупкие кофейные чашечки – самый любимый, самый уютный и успокаивающий аромат в жизни и любимые, самые изящные чашечки на свете!

Потом принесла их в комнату и, удобно усевшись рядом с отцом, приступила, наконец, к неприятному разговору.

– Только, отец, знаешь что... вот... так... наверное, «Сагу» мне сегодня посмотреть не удастся. Видишь ли, мне сейчас надо тут... выйти ненадолго... Всего-то часика на полтора, ну, *отецочка*... – и она виновато опустила голову.

– Подожди... Ведь ты говорила, он уехал? – после короткой паузы отец посмотрел на нее озадаченно, с сомнением.

– Ну да... Но мне же надо позвонить... – промямлила она.

– Та-ак. Ну, все мне ясно. Поедешь звонить ему. М-да... Вот уж воистину говорят... – он сокрушенно покачал головой, тяжело вздохнул, сделал над собой усилие, но все же не смог удержаться от ядовитой реплики, – охота пуще неволи! – Она боялась поднять голову, посмотреть на него. – А, да ладно! – он безнадежно махнул рукой. – Как я понимаю, ничто уже тебя не удержит. И выходит, зря веду я тут с тобой душеспасительные беседы: это напрасное сотрясение воздуха – ты ведь все равно поступишь по-своему! Взывать к твоему разуму – вот, видимо, и все, что я могу, ведь есть же у тебя голова на плечах, в конце-то концов? И надеюсь, ты знаешь, что делаешь... Нет, ты пойми меня правильно: я не могу не уважать твои чувства, однако, смотри, думай: можешь ли ты полагаться на него? Что ж... Ладно, поступай как знаешь...

Ох, как трудно было смотреть прямо в его укоряющие глаза! Его взгляд служил ей немым укором. В такие минуты отец олицетворял в ее глазах *совесть*, и она не знала, как ей быть, когда она оставалась наедине с этой совестью. Нарушить каноны, традиции семьи – это же предательство! А при мысли о маме она просто физически ощущала, как последние, почти побежденные, но все-таки еще не добитые остатки ее разума, рассудка сражаются на поле боя, защищают не захваченные, пока не сдавшиеся бастионы... Да, мамин *здравый смысл*... и это так правильно! Она знала: маме здравого смысла не занимать, он у нее даже в избытке. Ей казалось, что здравый смысл – это показатель внутренней силы, жизнестойкости человека.

Она немножко завидовала маме... Да, но мама ведь всегда так занята, вся погружена в свои дела, заботы, и жизнь у нее тоже непростая – вот и не очень они понимают друг друга... Наверное, маме приходится тяжело: ведь она никак не может понять, что такого привлекательного нашла ее дочь в этом, как она считала, убогом, примитивном человеке совсем не их круга, да еще с уголовным прошлым. Мама всем своим видом показывала, что не намерена обсуждать эту проблему – да какая вообще проблема?! Еде здесь проблема? – и не допускала мысли, что эта история может иметь продолжение...

А вот где *ее* здравый смысл, *ее* интуиция?.. Почему они молчат?

После минутного молчания отец пристально посмотрел на нее, осуждающе, строго, нет, не строго – обреченно покачал головой, засопел, шумно вздохнул, скривил рот в горькой, болезненной усмешке и, ничего не говоря, вышел из комнаты. Закрывая дверь, взглянул еще раз. Как на тяжелобольную. Сочувствующе.

Отец боится за нее – это она хорошо понимала. Вон какие у него глаза – грустные, растерянные. Никому и ничему нельзя отдаваться всем существом, целиком, без остатка. Опасно для жизни.

Не влезай – убьет! Что же, весь его жизненный опыт подсказывал ему это?

А все-таки ровно через час она войдет в телефонную кабинку на Главпочтамте, наберет заветный номер – и услышит, наконец, Олежкин голос: ведь каждый вечер в один и тот же час он ждет там, в Риге, у телефона:

– Привет, Майечка! Послушай, не могу я уже больше, я так соскучился! А ты? Но все уже, я уже скоро! А ты приедешь меня встречать, сможешь? Да? Вот здорово! Вообще, лапа, как ты? Ты не забыла меня? Нет? Ну, правда, как ты там, без меня? Да, и я тоже очень-очень соскучился! – Потом, притушив, сузив голос так, чтобы никто, кроме нее, не услышал, он прошептал: – А помнишь ту ночь? Нам было так... так хорошо, правда?.. Ты любишь меня, Цветочек мой?..

Ночью, лежа в постели, погасив свет, совсем уже готовая уснуть, она *слушала* рвущийся ей навстречу любимый голос. Он звучал в ней волшебной музыкой, каждый такт которой падал в сердце и отзывался трогательной горьковатой нежностью и тягучей сладкой тоской...

Она *вдыхала*, словно он был близко-близко, его запах – так, крепко обнимая, прижимая к себе перед сном любимого плюшевого мишку, ребенок вдыхает его запах... Его запах – такой неповторимый – мужской, надежный, близкий, родной...

И *всматривалась* в темноте в его лицо, и видела близко-близко его горячие, в полыхающих, искрящихся счастьем, огоньках, темно-серые глаза, отражавшие ее саму, говорившие ей о любви, словно он был сейчас здесь, рядом с ней. И *ощущала* на своем теле каждое прикосновение его ласковых жарких губ, горячих рук, – и купалась в тихом, теплом изумрудно-зеленом море счастья.

И вспоминала...

## Много лет назад. Она...

...И вспоминала, как поздно вечером накануне Олежкиного отъезда, они ехали на такси из Москвы в совхоз-комбинат «Московский», где она после второго курса работала в студенческом стройотряде, строившем парники и овощехранилище. Она почти каждый вечер приезжала оттуда в Москву, чтобы побыть вместе с ним. Они гуляли в Нескучном Саду, по набережной Москвы-реки, ходили в кино, чаще всего, в «Рекорд» в их любимых Лужниках – небольшой этот кинотеатр находился прямо в здании Большой Спортивной арены, – и устраивались там, обнявшись, в последнем ряду. Иногда они сидели в каком-нибудь кафе, а потом, поздно вечером, он провожал ее до самого палаточного городка, где жили студенты ее курса.

В тот день работа в стройотряде закончилась почему-то рано – сразу после полудня. Очень кстати! Она позвонила Олежке домой из телефона-автомата и скорее поехала в Москву, чтобы подольше побыть с ним накануне его отъезда. Вместе они погуляли по Лужникам, пообедали в летнем кафе, сходили в «Рекорд» на «Подсолнухи». Искренний, печальный фильм – он запомнится, отозвавшись трепетом в душе, навсегда.

...А денек выдался замечательный – летящий высоко-высоко, и там, наверху, звенела глубокая, ровная, яркая синь-синева неба – и ни облачка!.. Красивый день – румяный, загорелый, пышущий здоровьем, искрящийся счастьем, как будто он только что вернулся на работу после отпуска на Черном море. Какой бездонной, какой необъятной горячей синевой разливалось над ними, как полыхало безбрежное августовское море неба! Обалдевшее от восторга синее небо. Жаль только, что этот радостный золотисто-рыжий день слишком быстро поздоровался с вечером. Рыжим золотом плескалось теперь наверху, щедро рассыпая брызги вокруг, высокое летнее небо, становившееся все выше. А тут и синий вечер подоспел, пожал золотому дню мягкую теплую руку. Нежно и незаметно слились, перетекли они друг в друга.

Родившийся на свет вечер стремительно менял краски. Новорожденный, он окрасил мир сначала в мутновато синий, с молочным отливом, а затем, вскоре – в кобальтовый цвет, словно какой-то начинающий художник старательно размазал кисточкой по небу синие чернила, такие же, как те, что стоят на письменном столе у ее отца.

Но незадачливому этому художнику почему-то не понравился его шедевр, и он в раздражении вылил на небо целый флакон черных чернил.

И, конечно же, испортил все! Вечер сразу же растерялся, стемнел и пропал в ночи – ушел в прошлое, чтобы, к сожалению, уже не вернуться никогда.

И в третий раз мир поменял краски: разгоревшаяся в полную силу луна и полыхающие там, в вышине, звезды сделали ночь нереальной – блестяще-черной, с редкими проблесковыми огнями, как в аэропорту – антрацитовый.

Августовская ночь. Полнолуние.

Антрацитовая ночь поздоровалась, устремилась им навстречу – ласково и страстно одновременно, обволакивая, окутывая их нежностью.

...Выйдя из такси, они вошли в зачарованный ночной лес, населенный смутными силуэтами, странными тенями, призраками прошлого, настоящего, будущего, которые еле слышно шептались о чем-то между собой... А со всех сторон их окружала, обнимала, радовалась им глубокая ночь. Здесь, в лесу, ночь опять изменилась, стала мягкой, кашемировой, матово-черной. В непроглядной темноте, держась за руки, они немного побродили по тихим лесным тропинкам. Лес приветливо, по-дружески принимал их торжественным звонким молчанием, улыбался широкой открытой улыбкой, доверчиво раскрывался им навстречу, как старая любимая книга, и они с удовольствием перелистывали его страницы, каждый раз открывая нужную – самую любимую...

Ночной воздух пах теплом и сухостью. А весь июль Москву поливали дожди!

Долго сидели на поваленном дереве – Олежка заботливо подстелил свою куртку, устроил для нее удобное сиденье, – курили одну сигарету на двоих, рассказывали друг другу о чем-то незначительном, но для них очень важном. Они слышали, как ночь волновалась, вздыхала, дышала им в лица то нежно, то страстно, что-то нашептывала, желая поведать все свои секреты, важные и пустяковые. И деревья в лесу тоже перешептывались, наверное, сплетничали, обсуждая их с Олежкой.

Он крепко держал ее за руку, и обнимал, и шутил, ласково, деликатно подтрунивал над ней, а она смеялась... И слова его торопились, и бежали наперегонки, играя в догонялки, и перекатывались, и кувыркались друг через друга, играя в салочки, и последние перегоняли, перепрыгивали через другие слова, произнесенные раньше. А в глазах его совсем по-детски, на одной ножке, подпрыгивали от радости и нетерпения шустрые горячие смешинки и хитринки, игравшие, как всегда, друг с другом в прятки...

Много молчали, но это было *понимающее*, а потому счастливое молчание.

А потом горела, полыхала багрово-красным пожаром, трещала сучьями, поднимаясь до самого неба и даже выше, кипела, разливаясь киноварью, страсть. Как странно, ведь земля-то была совсем сырая после прошедшего недавно дождя... Зачарованная багрово-алая Воронка страсти затягивала глубже, глубже... глубже... и все было не достать до дна. А страсть неистовствовала, бурлила, жгла огнем, извивалась оранжево-рыжими языками пламени, дымилась, опаленная, захлебывалась восторгом, счастьем! Багрово-алая обжигающая страсть была антрацитовая ночью, лесом, небом, травой, поваленным деревом, ночным свежим воздухом. И светила им сверху полная луна: круглый молочно-белый плафон, как дома, у ее торшера, медленно плыл где-то там, в вышине. И страсть была этой огромной молочно-белой, с багровым отсветом, луной, и распахнутыми настезь глазами крупных, ярких августовских звезд, глядевших на них сквозь деревья.

Страсть, неистовая, отчаянная, по-детски искренняя, была в них и вне их, и вокруг них, она затопила – или подохла? – весь мир! Горячо! Жарко!.. То горько, то сладко, тревожно, остро, *сумасшедшие* пахли лесная трава, цветы. А земля была вся усыпана опавшими листьями, сосновыми шишками, еловыми ветками... Они кололи ей спину? Да... Может быть... Нет... Она не замечала этого. Мешали сосновые шишки? Нет... Они ничего не чувствовали. Запах его куртки, на которой ей было так мягко лежать, – любимый запах! – сливался с одуряющими, волшебными запахами августовской ночи. И ночной лес больше не казался черным, непроглядным. Он стал багрово-алым, и в багрово-алом свете она видела его умиравшие от страсти любимые глаза, любимое лицо, склонившееся над ней... Каждую черточку.

Раскаленная земля под ними раскачивалась все сильнее, сильнее, словно лодка в разбушевавшемся море, и гудела, как огромный колокол на высокой колокольне... Восторг. Наслаждение друг другом. Соединение. Слияние... Забвение... Как сладко кружилась голова, как растворялись, как таяли они друг в друге... Совсем, до последней капли, потеряв представление о времени и пространстве.

А страсть звенела, как натянутая струна, и умирала от счастья, и рождалась вновь.

Багрово-алая от страсти ночь прерывисто дышала, смеялась, захлебываясь от счастья вместе с ними и плакала от счастья тоже вместе с ними. Ночь сообщнически подмигивала им яркими глазами августовских звезд, а изредка теряла какую-нибудь звезду – роняла ее на землю, и та падала, медленно-медленно скатываясь по небу на землю, как сверкающая крупная слеза.

Августовский звездопад.

Его глаза силой телепортации поднимали ее до самого неба, и они вместе взлетали туда, как на гигантских качелях, а потом падали вниз с головокружительной высоты, чтобы снова взлететь – вместе. Летело, кружилось, гудело от оглушительного восторга огромное чертово

колесо, а небо все падало и падало на землю, проливалось на них неистовые ливни счастья. То нежно звенела колокольчиками, то гремела в мажоре, грохотала громом над зачарованным страстью лесом торжествующая, грозная, неотвратимая, смеющаяся, упоительная музыка балета *Вальпургиева ночь*<sup>21</sup>. Вкрадчивую, летящую мелодию виолончели, арфы, грусть и плач скрипки сменяли всхлипы флейты, рев трубы, а затем ночной лес раскалывали на куски оглушительные взрывы бубна и грохот барабана. И опять, и опять, и снова, и опять... Снова звенела веселыми нежными колокольчиками, а потом гремела эта музыка... Снова вкрадчивую, фривольную, летящую мелодию танца сменял гремящий грохот ударных инструментов. И опять нежный хрустальный перезвон колокольчиков перекрывали удары барабана, словно раскаты грома разразившейся вдруг прямо над ночным лесом грозы.

– Любимая моя, хорошая, – шептал он еле слышно, обнимая ее и с трудом переводя дыхание. – Майечка моя... милая... только ты мне нужна... только ты одна, больше никто... нет... нет, никто... и никогда! Ты так хочешь, да?.. Тебе так хорошо? Правда? Милая, да... да, так! Вот так... еще, пожалуйста, вот так... еще... еще... так... как хорошо... а тебе?.. Наверно, мы просто очень подходим друг другу., или я очень люблю тебя... но так же просто не бывает... та-аак...

– Олеженька, ты мой...

– Цветочек ты мой! Люблю тебя по-страшному, до головокружения, до сумасшествия!

– Да, да-а... Так...

В ушах звучала небесная музыка ее любимой немецкой баллады<sup>22</sup>:

*То любви недуг, поцелуев звук, и еще, и снова, и опять!*

Сплетались слова, сплеталось дыхание. Сплетались, растворялись друг в друге и летели неизвестно куда, парили, не помня себя... уже не тела – души. И две души, сливаясь в одну, звенели, нежно, как две хрустальные рюмочки, как нежные колокольчики Вальпургиевой ночи.

– Ведь ты тоже так хотела этого, сегодня, здесь, сейчас, немедленно! Правда ведь? Ну скажи?

– Да-аа!

– Люблю тебя, так... ааа-а!!!

Жаркая, ошалевшая от страсти, багровая или антрацитовая, или непонятно какая ночь заходила в судорожном восторге, обрушивалась на них оглушительным водопадом нереального, оглушительного, нестерпимого счастья. Польхающая в небе луна всхлипывала, стонала вместе с ними от невозможного, сумасшедшего наслаждения. Лес хохотал, гудел, схлопывался, вспыхивал, гас. Небо устремлялось ввысь, а потом опрокидывалось на землю. А захлебывающаяся в экстазе страсти мелодия *Вальпургиевой ночи* то грохотала, взрывалась, разбрызгивая вокруг тысячи разноцветных искр, то звенела небесными колокольчиками чуть слышно, то почти замирая.

«Я люблю тебя», – пела, молила скрипка то страстно, то нежно.

«Люблю... люблю...», – вздыхала в ответ виолончель.

Эта страсть, это наслаждение дарили забвение. И таилось в этом что-то давно забытое. Может быть, то было прикосновение к какому-то древнему Знанию, тысячелетней мудрости? Может быть, им открылось вдруг нечто, спрятанное глубоко под толщей веков и даже тысячелетий? Первозданная Мудрость Любви, скифских или, скорее, славянских языческих обрядов... Что-то неизведанное, сказочно-поэтическое, исконно свое, родное, древнее, уносящее в глубину, в даль веков. Или это было надвремье? Навь?..

<sup>21</sup> Балет «Вальпургиева ночь» – Шарль Гуно создал в опере «Фауст» яркую хореографическую картину.

<sup>22</sup> Гёте. Коринфская невеста.

Древний ритуал... Глухие леса, хороводы. Жар и потрескивание костра налесной поляне. Пламенеет лес, зажигается поляна диковинным светом – розовым, оранжевым, рыжим – непонятно каким! И летают, скользя, в этом ночном разноцветном мире смутные полупрозрачные тени, и отражается ночной мир в глазах людей тысячами маленьких пожаров. Все жарче разгорается костер на поляне, и полыхает он яро, и освещает все вокруг огненно-рыжим заревом, и огонь дышит и движется. Жаркие языки пламени пляшут, оживая на глазах, и устремляются ввысь, и достают до самого неба, а искры сверкают и летят, и звезды в небе тоже летят от счастья... И летят, кружа хоровод, пляшут девушки в сарафанах, и венки у них на головах, и длинные косы их тоже летят в вихре танца. Огненные пляски и текущие полноводной рекой песнопения, и дивная, звенящая, смеющаяся музыка. И хитрое подмигивание, и серебристое хихиканье жизнерадостных колокольчиков, и чарующий и завлекающий, вкрадчивый и манящий смех русалок.

...И вот уже косы распустились, и ленты потеряны, а длинные запутавшиеся волосы полощут, лаская, прохладный ночной ветерок, и звучит странная, диковинная, дразнящая всхлипывающими или смеющимися колокольчиками музыка, и слышится обволакивающий, страстный, полный неги любовный шепот в уголках леса... И потрескивает догорающими сучьями ночной костер, и пляшут, смеются, брызжут огоньками-светлячками искры, и тихо гаснут. И полыхает теперь ночной мир пожаром юности и неизведанной доселе непреодолимой страсти. Жаркие объятия и поцелуи, любовный порыв, горячий трепет... Соитие, восторги обладания, извивающиеся, слившиеся в первозданном языческом блаженстве пары, и всхлипы, и вскрики, и сладостные судорожные содрогания... И погибает задрожавшая, изогнувшаяся в нестерпимо сладких конвульсиях упоительная ночь. Недолго сладкое забытье. Ах, как ночи коротки! И вот уже струится рассветом море юности.

...Мудрость природы. Извечный языческий ритуал. Рвущийся наружу острый инстинкт. Продолжение рода. Соединение мужчины и женщины друг с другом, с землей, с Вечностью.

Языческий обряд солнцеворота – только в начале августа.

Слов больше не было – зачем?

Они то улетали далеко-далеко, то куда-то падали – их затягивало в глубокий темный омут. Их Воронка была бездонной, конечно. И только луна исподтишка подглядывала за ними.

*И в том диеном саду божественном,  
Где рождалась, цвела, пела Земля,  
Там сегодня Им мы обвенчаны.  
Только мы – вдвоем. Ты и Я.*

*Мы пришли в мир ликующей, вечной,  
Той последней первой Любви.  
Там Он создал нас – и Бесконечность.  
Там начало. Конец. Там Соль земли.*

Потом они снова сидели на поваленном дереве, обнявшись, прижимаясь друг к другу крепко-крепко. Он держал ее за руку, трепетно, бережно, как хрупкую драгоценность.

Слова находились с трудом.

– Ну что же нам делать? – задавал он все тот же вопрос. – Ведь родители... твоя мать... Она и слышать обо мне не захочет. И твой отец тоже. Он хороший мужик, Георгий Федорович, такой... правильный. И он же не глупый, понимает, в каких мы с тобой отношениях... что мы любим друг друга. Но разве не будет он смотреть на меня, как ... как на волка, если мы будем вместе, если, например, мы поженимся?

...И вдруг яркая вспышка, от которой в ночном лесу на мгновение стало светло, как днем... Что это? Когда это было? Сосновый бор, строевой лес – и вот же *она* сама, вот! Совсем маленькая девочка шагает по лесу вдвоем с отцом на закате после грозы и старается идти с ним в ногу, как большая. А лес умылся дождем, вот какой он чистый-пречистый. И откуда-то очень издалека слышится негромкий голос отца. Его голос становится то чуть громче, то тише, и звук его то приближается, то удаляется, словно эхо тихонько повторяет за ним: «Давай услышим молчание леса... давай... вай... А теперь, послушай, Майк, как лес *звонит*... Ма-айк»...

Это видение было таким ярким – золотисто-оранжевый с зелеными пятнышками и сверкающими рыжими искорками лес.

– Солнышко спать уходит, и в лесу от него выросли *косые золотые столбики*. Смотри: солнышко строит золотые столбики... бики... – показывает папа.

... А запах в лесу острый-острый, и прямо в нос забирается, и колется.

– А когда гром гремит, это страшно, пап... страшно... а... шно? – спрашивает девочка, и голос ее тоже почему-то раздается откуда-то издалека, становится то чуть громче, то тише, и звук его то приближается, то удаляется.

– Да нет, что ты, смотри, как весело: запах этот острый у тебя в носу поселился, а солнышко в твоих золотых волосах заблудилось – давай его искать... ис-кать... ать...

А папа большущий, высокий-высокий, а сам добрый, как мамина шуба из морского котика, и голос у него тоже хороший, мягкий, как рукав маминой шубы.

...На какие-то секунды словно вернулось к ней буйство красок, запахов, свежести, нежности, тепла. Любовь осветила темный лес, ночной мир... Любовь и нежность. Любовь и страсть. Любовь – и золотые столбики...

– Я не знаю, как нам быть дальше, – тихо сказала она.

– Но ты ведь любишь меня, правда? Я же вижу это, я чувствую... – заботливо закутывая ее в свою куртку, нежно обнимая и целуя, прошептал Олежка.

– Да...

– Ты не замерзла? Не холодно тебе? – спросил он, прижимая ее к себе крепко-крепко.

Она отрицательно помотала головой. Они долго молчали.

Ну как принять такое решение? Она обняла его, уткнулась в воротник его рубашки, с наслаждением вдыхала родной запах, чтобы надышаться на целых три недели.

Но к молчанию ее он давно привык, и его это не раздражало.

– Наверно, потом, когда-нибудь, тебе нужен будет другой... – медленно и очень тихо проговорил он. – И потом, я же понимаю: общего у нас, конечно, очень мало, и разные мы с тобой слишком: и семьи, и окружение – все разное... Но вот только... я все равно люблю тебя...

Они опять помолчали. Ей нечего было ему ответить.

– Ведь ты же все равно не сможешь забыть все это, я знаю... Но только запомни: первым я от тебя никогда не уйду! – сказал он вдруг громко и с какой-то непонятно к кому обращенной угрозой. С ожесточением.

– Но... нет, это невозможно! Зачем ты так говоришь? Я совсем не хочу тебя терять!

– ...Знаешь что... Уехать бы нам отсюда... Туда, где никто нас не знает. Ну, вот кто мы такие, кто мы друг другу? Любовники? Как для тебя лучше – быть моей женой или просто так? Хочешь, давай поженимся, хочешь? – выдохнул он ей в самое ухо.

Она не ответила. Только, зачарованная, смотрела в его глаза и не могла наглядеться. Горло сжималось от необъяснимой боли – она не могла ответить.

...А на Земле уже хозяйничала заря. По крутым ступенькам сбежал с неба на Землю запыхавшийся, загулявший где-то в теплой ночной компании, часов не наблюдая, бесшабашный гуляка-рассвет. А вслед за ним, толкая его, зевая и дыша ему прямо в спину, уже спешило утро, заспанное, не совсем еще проснувшееся, свежее, зарумянившееся после сна, как спелое

сочное яблоко, – хотело быть пунктуальным. И они встретили рассвет, поздоровались с утром и пошли через лес, через Киевское шоссе, по еще спящим немым улицам поселка к стройотряду. Какое-то потустороннее ощущение неизъяснимой легкости, даже невесомости переполняло их.

В то утро Олежка улетал в отпуск в Ригу, в гости к тетке, на двадцать дней, то есть на целую вечность. Они оба уже думали только о том, как бы пережить эти почти три недели. Как же так? Он там, в Латвии, она здесь – еще три или четыре дня в стройотряде, потом дома, в Москве. Вот о чем она меньше всего думала – это как бы ей незаметно проскользнуть в палатку, где ночевали девчонки-стройотрядовцы, чтобы вездесущий командир стройотряда не заметил, что она возвращается уже утром, прямо на работу. А надо бы об этом подумать! Уже два раза дотошный командир Сашка Отвечалин давал ей штрафной наряд вне очереди – вместо строительства парников отправлял ее за *нарушение трудовой дисциплины* мыть туалеты.

Покатился-покатился колобком по городам и весям через утро, полдень, сумерки к вечеру этот новый, не по-августовски жаркий день. Первый день без него – прошел паровоз, за ним следом отстучали по рельсам колеса.

А потом покатались по рельсам, гремя на стыках, еще девятнадцать вагонов – таких же оглушительно пустых дней.

Нет. Не совсем пустых. У нее было предощущение – что-то случилось...

## Наше время. Я...

...Да, она-то, может быть, и смогла поступить иначе. А вот я – нет. Ну, зачем она лезет мне в душу, после стольких лет, со своими воспоминаниями! И потом, она обвинила меня в предательстве, хотя и не произнесла этого слова. Ну не было никакого предательства. Потеря, боль, незарастающая брешь – так точнее. Что ж поделаешь? Просто не повезло. А предательство? Это сильно сказано! И уж если кто совершил предательство... То это *он!* *Она?* Да нет, это слово вообще тут не подходит. Нет. Малодушие, а у него, может быть, уже и болезнь. Что с этим поделаешь? Так случилось. Просто не повезло.

Откуда вдруг много лет назад мутным потоком ворвалось в мою жизнь это наваждение? Почему так случилось? Наверное, не было в Олежке ни настоящей мужской силы, ни особого интеллекта, ни достоинства – ну, решительно ничего особенного. Почему? Не было ответа на этот вопрос – ни в те, старые времена, ни много лет спустя. Может быть, я его просто придумала. От начала до конца. Создала себе книжный, романтический образ принца. Но на кого похожи принцы? Этого я не знала. Своего принца я воздвигла на пьедестал и увенчала его главу короной.

Или венцом терновым?

Но он, мой принц, об этом – не знал.

Да и знал бы – не понял.

Разумом я, вероятно, понимала все это уже тогда. Но чувства... Что-то зацепило, отозвалось в душе – какая-то нота упала в сердце, прозвучала в унисон. Кто может до конца понять алхимию любви?

Неистовый... Как подходит к нему это слово. Как привлекало это неистовство! Неистовый, не терпевший кривых, окольных путей... Как поражала эта прямота! Отчаянный, искренний... Как подкупала эта искренность! И... слабый. Слабый, безвольный, незрелый человек. И пьющий – уже тогда. Кажется, сильно пил и его отец... Может быть, его отец рано и умер от пьянства? Он ведь никогда ничего не рассказывал о своем отце, а я и не спрашивала... Его ожесточившаяся, работающая в магазине продавщицей мать. Ей бы только вытянуть двоих мальчишек да одеть-накормить, да на ноги их поставить, а тут еще и бабушка, тоже есть хочет, а надо ведь обставить, чтобы было *все как у людей*, крошечную квартиру из двух смежных комнат... До воспитания ли ей! Она и понятия не имела, какую жизнь ведет ее старший сын, ведь он уж вырос, работает, деньги в дом приносит, все вроде в порядке, ну, и на том спасибо, а ей за младшим, Толиком, присмотреть бы, чтобы двое не нахватал да не подрался бы с кем в школе! Так надо же, теперь старший-то вон влюбился, кажется. Ведь все вечера, если не на работе, то где-то пропадает или ее звонка у телефона ждет. К телефону и не подойти, никого не подпускает, дежурит. Ишь ты, как она его зацепила! Того и гляди, он еще вот-вот приведет сюда свою девицу да женится, да как вздумают здесь поселиться и сядут оба ей на шею, а то еще эта его *невеста* детей сразу нарожает – и все это в их крошечной квартирке... Что же, на голове друг у друга, что ли, сидеть? Нет уж, дудки. Пускай ее родители об этом думают – у них целых три комнаты, у этих *интИллигентов!*

Вот так это было. А он... Что он? Сильно пьющий, не слишком воспитанный, слабый человек. А страсть, если это только страсть, проходит рано или поздно. Чаще – рано.

Что же это было – зачарованная Воронка бесконечности?

Дар судьбы или проклятие?

Дар? Тогда почему его не удалось сберечь?

Проклятие? Но тогда зачем оно вообще было дано судьбой?

Как она возникла – Воронка?

Воронка часто возникает на месте образовавшейся пустоты.

Говорят, первая любовь не забывается никогда. Много лет я запрещала себе вспоминать ту пронзительную, болезненно отзывающуюся – и сегодня болит, когда дотронешься, – историю... Нет, неправда! Вспоминать, конечно, вспоминала, но как-то отстраненно, словно случилось это в другой жизни.

Моей?

Все гораздо хуже.

Может ли так случиться, что человека вдруг выталкивает, выносит из нормального течения его жизни какой-то непонятной силой, и он попадает в какую-то иную реальность, в параллельное жизненное пространство? Вот так просто: возвращается человек в один прекрасный день домой, идет по другой, не той, что обычно, улице – и все! Время спотыкается, падает, ломает себе руки, ноги, ребра – хорошо, что не шею. Потом кости времени сростаются, но старые травмы все равно ноют, болят, кости ломит, когда меняется погода... А человек? Он встречается с людьми, которых никогда не увидел бы, не узнал, *не заметил*, если бы пошел привычным путем. Или вдруг зачем-то возвращается домой в необычное время? Подходит в неурочный час к телефону... Окажется дома, когда вдруг кому-то вздумалось на беду заглянуть на огонек... Да просто в магазин выскакивает не вовремя! Неизвестно зачем. Какая разница. И никто не может знать – случайно? не случайно? Но в жизнь человека врывается нечто незапрограммированное, что-то ноющее, болезненное, что определяет потом всю жизнь.

По чьей-то злой доброй воле – что это? Судьба? Случайность? Предопределение? Карма? О ней все больше говорят сегодня. Неизвестно. Только попадает человек в параллельную реальность – а сам даже не замечает того, когда же, что же с ним случилось.

А потом он оказывается наглухо замурованным в этой чужой жизни... И принимает эту чуждую ему реальность за свою, настоящую. И в этой чужой – *не* своей – жизни человек живет и радуется, и встречает друзей, с которыми, может быть, никогда бы и не дружил, и единственного, любимого, на которого в своей настоящей жизни даже и внимания бы не обратил?

А всего-то и случилось – пошла не по своей дороге, не в свой день, не в свой час... Как в сказке Андерсена: возвращался человек из гостей домой, по ошибке, случайно, надев не свои галоши... Только советник, сторож, студент из той сказки вовремя – за минуту до беды – замечали ошибку и снимали те проклятые галоши или теряли их... А я? Ведь стоило в тот майский день пойти в гости, в кино, уехать за город... да куда угодно, хоть к черту на рога!

Вся жизнь пошла бы иначе!

Недавно я прочитала в книге одного итальянского автора: «У счастья есть ключи от каждой двери, и мы должны только верить в то, что окажемся дома, когда оно вдруг захочет открыть нашу».

*Чужая* жизнь – и в нее, в Воронку чужой жизни, улетели, словно сверхмощным пылесосом втянутые, лучшие годы жизни. Но где же тогда моя жизнь – та жизнь, которую мне пообещали, когда я родилась? Память тех первых дней подсказывала: да, тебе ее пообещали.

Ноги больше не держали – я почти упала на скамейку у старого двухэтажного здания пансионата.

Даже солнце, еще недавно так гостеприимно встречавшее меня там, в лесу, и здесь, в Мозжинке, что-то вдруг призадумалось, затуманилось, погрустнело, нахмурилось... И возникло ощущение, будто я смотрю на солнце сквозь запотевшее стекло, а по краям кто-то обвел его нечетким, словно размытым темно-серым контуром.

Жизнь назад не повернуть, не отмотать, как пленку старого фильма, не перелистать, перевернув страницы, назад, чтобы начать читать с начала – или с любого места – как много раз прочитанную от корки до корки любимую книгу. Меня, прежней, больше нет.

А его вообще нет.

Обстоятельства оказались сильнее. Что это – слабость? Страх? Конечно. Как часто нами управляет страх! Есть в жизни вещи, которые нам неподвластны.

А воспоминания... Они живы, они всегда со мной и во мне... И так будет, наверное, всегда. Уж их-то никто не отнимет. Даже она.

Кстати, а она ушла, наконец, кажется. Слава Богу, ведь я совсем не рада ее видеть. Тоже мне, святоша нашлась. И соблюдать декорум я не хочу.

И все же сейчас я здесь, жива-здоровая, полной грудью вдыхаю свежий зимний воздух, а он?..

*Мир вскипел однажды. Он запылал и не погас.  
Люди не готовы к Вечере Святой и в этот раз...*

После стольких лет я вспомнила, наконец, эти стихи.

Я знаю, где он сейчас.

Я не знаю, где он сейчас.

## Наше время. Она...

Может быть, зря она обвиняла свою собеседницу? Тем более, в предательстве.

Да никакое это не предательство, а самая обыкновенная слабость. Малодушие. Страх. Не всем же быть сильными. В конце концов, что делать, если не по плечу ноша. Слабость – это не преступление.

Ее первая счастливая несчастная любовь не закончилась никогда. Эту любовь – путь длинной в два года и в целую жизнь – никто не понимал и не принимал.

*...мы сильнее, мудрей.  
И теперь, я признаюсь тебе, —  
Мы поверим Судьбе!*

Как бы не так! Есть в жизни вещи, с которыми не справиться, обстоятельства, которых не изменить. Наверное, когда-то давно она все же перепутала себя с *той*, другой – и потерялась во времени и пространстве...

Вот только воспоминания... пронзительные, полные боли... Какие они живые... Сколько лет прошло, а картины, звуки, ощущения из прошлого живы, и они всегда с ней и в ней... Так и будет. И так будет всегда.

Самое главное, наверное, – это быть самой собой, как бы ни старались тебя сломать, приспособить под себя, переделать. Сохранять верность самой себе, даже когда обрежут крылья. Совсем. Больше не взлететь. Это и значит быть сильной. Быть мудрой.

Правда, и это ничего не дает. Не спасает. Вот ее же не спасло.

Это самое трудное в жизни. Потому что надо еще суметь понять – какая ты, что в тебе главное.

Она знала, *где* он сейчас.

## Часть II Страсти по воронке

### Много лет назад. Она...

То предощущение ее не обмануло.

Чтобы не опоздать, она выехала из дома часа за четыре и поэтому оказалась в аэропорту задолго до прилета Олежки. Отправляясь его встречать, она принарядилась: надела нежно-розовую водолазку и модный ярко-синий брючный костюмчик-клевш, привезенный мамой из Чехословакии, которого он еще не видел. Отличный, кстати, костюмчик, очень ей идет, только вот еще достань у нас такой – разве такие модные и красивые вещи достанешь просто так в советском магазине!

Она долго слонялась по зданию аэропорта «Внуково», даже и не мечтая выпить где-нибудь чашечку кофе. Это в зарубежных фильмах героиня может зайти в бар что-нибудь выпить – там такие заведения на каждом шагу. А в советском аэропорту об этом и подумать невозможно. Только ресторан, но туда не принято заходить, чтобы просто выпить кофе, да и закрыт он до самого вечера.

Присесть бы где-нибудь. Но нигде нет ни одного свободного места.

Люди сидят на вещах или даже лежат прямо на полу – наверное, со вчерашнего дня ждут свой рейс. Ой, только бы его рейс не задержали!

Наконец, мелодичный металлический голос объявил: «Совершил посадку самолет, следующий рейсом номер...»

Олежка, возбужденный, радостный, загоревший, с небольшой, но, видимо, тяжелой сумкой на плече, которую он не стал сдавать в багаж, чуть ли не первым выскочил из зала прилета, где скопилось огромное количество пассажиров, ожидавших своих вещей. Он сразу увидел ее в толпе встречающих, подбежал, обнял, прижал к себе и, ни на кого не обращая внимания, долго целовал. Неужели закончилась мертвая полоса ожидания, отчуждения от всего мира, неужели они, наконец, снова вместе?

Стоял еще теплый синий вечер, как часто бывает в конце августа, светило заходящее солнце, но порывистый холодный ветер напоминал о том, что лето, уходя, машет им рукой на прощанье, а осень уже вприпрыжку бежит, спешит навстречу.

«Да, лето прошло, – с сожалением думала она, выглядывая из окошка такси. – Вон сколько желтых, оранжевых, рыжих листьев на деревьях, на земле!»

И лес по сторонам шоссе изменился – насутился, сдвинул брови, смотрел хмуро, исподлобья, потемнел лицом... И вот опять этот мерзкий, тревожный ветер! Она никогда не любила ветер, а уж теперь...

«Сказать?» – напряженно думала она, пока они ехали в такси из аэропорта. Нет, пока еще рано. И как-то неловко, даже страшно. И потом, ну, о чем говорить? Может быть, ничего и нет. Может, все решится само собой. Как-то образуется. Ничего же еще точно не известно. Зачем же тогда пороть горячку раньше времени? Ведь ее же не тошнит, и голова не кружится, даже есть не хочется больше обычного... И какие там еще признаки?.. Ведь это же все должно быть. Ну вот, правда, *этого* нет... Да, это, конечно, серьезно. Но может, она просто испереживалась от того, что его не было рядом столько времени?!

Нет, надо все-таки подождать, ну, хотя бы еще недели две.

Сидя на заднем сиденье машины, они были не в состоянии оторваться друг от друга.

– Лапа, я так соскучился, нет, ты даже не представляешь, я уже больше не мог, я бы ни дня больше не выдержал... – шептал он ей в самое ухо. И немного громче: – Ну как ты тут, без меня? Тебе уже скоро в университет, да? Занятия-то когда начинаются? Слушай, но тебе, и правда, понравился мой подарок?

Олежка привез ей из Риги изящный янтарный кулон – маленький, стекающий капельками, прозрачный коричневато-желтый овал.

Он все говорил, говорил, говорил... И никак не мог наговориться, рассказывал о Риге, о том, как проводил там время, шутил, вспоминал смешные, забавные приключения с мельчайшими подробностями.

– А вот знаешь... Знаешь, это... Ты же ведь не была в Риге? Нет? Ой, как жалко! Знаешь, она, это самое, она такая... Ну, в общем, красивая, улочки эти средневековые, узкие, и здания навроде старинные, и, это самое, Домский собор. А мы еще в Дзинтари, на взморье, ездили, купались... А представляешь, чего он такое сказал-то... Ну-у, ваще, какой блеф!

Она слушала больше его голос, не очень прислушиваясь к словам, слова ей были неважны. И почти все время молчала, лишь изредка вставляла короткие реплики. Как она была счастлива от того, что он, наконец, рядом и теперь больше уже никуда от нее не уедет... Как же ей не хватало его романтического поклонения, меланхолии, нежности, его неистовой, отчаянной, искренней полыхающей страсти!.. Она только на всякий случай крепко-крепко держала его за руку, до сих пор не до конца веря в то, что он так близко, уткнулась ему в плечо и наслаждалась звучанием его голоса, интонациями, шутками, с наслаждением вдыхала его запах...

И вдруг... Она прислушалась внимательнее.

– ...Ну и, это самое, тут вдруг он, ну, этот, помнишь, это, я тебе рассказывал, так вот, этот типчик, это самое, притырился опять и ну – выпендриваться, то да се, пятое-десятое. Это вообще... тонкий намек на толстые обстоятельства! Не, ну просто умора! Ну, мы там с ним... это, ну как... слово за слово, я с ним, так сказать, поговорил... в общем-то, разобрался – все дела, он и поканал, ну, в общем, слинял, больше при мне не приходил. Ну, он мне ваще-то никогда не нравился, но сеструхе моей двоюродной он сильно нравится, он ее навроде кадрит, и она с ним, это, ну гуляет, а может, и живет уже, я не знаю, в киношку, там, на танцы ходит, ну, это... в общем, она от него балдеет, и что-то с ней не то... Представляешь? Так, блеф один!

Слушая его, она вдруг поймала себя на странном ощущении. Словно все это говорил не любимый человек, по которому она истосковалась, не видя его целых три недели, а какой-то посторонний, грубый и примитивный – *простецкий* парень, работяга, и у них по определению не может быть ничего общего, потому что он ей попросту чужд и даже неприятен. Ощущение было мимолетным, но настолько явным, что ей даже захотелось на минуту зажмуриться и заткнуть уши, а потом внимательнее к нему приглядеться.

– Знаешь, а ты как-то не по-русски говоришь... Странно даже! – она не смогла промолчать.

Олежка сильно покраснел, смутился.

– Да? Ой, а я как-то и не заметил даже, видно, увлекся... Там у нас все так... Ладно, извини...

И, поглощенный своими рижскими впечатлениями, он продолжал что-то рассказывать. А она слушала его в пол-уха, неотступно думая о своем – о том страхе, что преследовал ее вот уже почти две недели. О страхе перед тем невероятным, непостижимым, опасно звенящим, как если дотронешься пальцем до слишком сильно натянутой струны. О страхе, нарушившем недавнюю страстную идиллию, настигшем ее неотвратимо, словно наказание. Точно так же, как неприятие, осуждение молчанием родителей, которое неизменно следовало в детстве за какой-нибудь, может быть, и не слишком-то уж серьезной провинностью – мимолетной невинной ложью, опозданием с прогулки, поцарапанным письменным столом... Страх накрыл ее, сковал,

замуровал в каком-то непонятном пространстве – невидимом, но, словно толстой стеклянной стеной, отгородившем от всего мира.

К счастью, Олежка, кажется, пока не замечал ее тревожного состояния.

– Представляешь, – рассказывал он, – а еще я... Помнишь, я тебе рассказывал? Ну вот, я, это, туда и съездил все-таки снова и видел... Знаешь, как интересно! И еще все время думал: вот бы нам быть там вместе с тобой... Мы бы по Риге погуляли, купались бы...

Они как раз проезжали совхоз-комбинат «Московский». Она подняла голову, метнула на него быстрый взгляд, украдкой, чтобы он не заметил.

Помнит ли он?.. Вспоминает ли?.. Но, впрочем, для мужчин старые места не так важны, наверное... Хотя, кто знает...

– Скажи... Что-то не так? – после неловкой паузы тревожно спросил он вдруг, когда они уже подъезжали к дому. – С тобой не то что-то, точно! Что случилось? – Его голос сразу охрип, надломился, дрогнул.

Вот оно! Ну, конечно, он почувствовал. Так бывает, когда чувства, души двух людей настроены на одну волну.

– Ну... Почему ты так решил? Да нет... Со мной ничего... – в ответ на его вопрос она что-то неуверенно промямлила, хотя пыталась придать своему голосу уверенность.

– Нет, но ведь, это, ну, как сказать... Ну, я же чувствую!.. Это правда, точно ничего не случилось? Точно?! Нет, ты уж лучше скажи!.. Только ты не обманывай меня, ну, пожалуйста... А то ты не такая, как всегда, ну, ведь я же чувствую... Ты что, мне не рада? Слушай-ка... А ты не хочешь мне... не хочешь ничего такого мне рассказать?.. Может?.. Слушай, ну, пожалуйста, скажи, только не молчи!

В тоне Олежки чувствовались тревога, ревность, угроза, страх, голос его опять сорвался. И тут ее осенило – это он вдруг вообразил, что у нее появился кто-то другой. От этой мысли стало даже смешно. Да разве такое может вообще когда-нибудь случиться?!

Но как сказать ему об этом? Как сказать: «Она приехала с нами оттуда, из Московского?» Она? Хотя почему она? Скорее всего, даже она...

– Почему ты все время молчишь? Ну, пожалуйста, не молчи! – теперь в его взгляде, в голосе уже явно прочитывался страх.

Молчать дальше стало невозможно. Она глубоко вздохнула, перевела дух, сделала над собой усилие... и перепрыгнула барьер.

– Глупый ты, даже не думай об этом... Все у нас хорошо... – выдохнула она ему в самое ухо. Он запечатал ей рот поцелуем, и у обоих закружилась голова.

*Нет больше Страха!  
Мы летим, и Змей  
Не сломил нас —  
мы сильнее его,  
мы мудрей.*

*И теперь – признаемся себе —  
Да! Мы верим Судьбе!*

– Ну ладно, замнем для ясности... Но я только, знаешь... ну, как сказать? Ну никак не пойму, почему ты скрываешь от меня свои чувства? – шептал он, наконец, оторвавшись от нее. – Ты что, это, стыдишься своих чувств? Ну, вот почему ты закрываешься, бываешь такая чужая и холодная, как лед? Нет, не всегда, конечно... Но понимаешь, ведь тогда и мне с тобой рядом пусто и холодно...

Он говорил это уже не первый раз, и она слушала с удивлением. Но ей было трудно понять, что он, с его непримиримой, непостижимой для нее прямоотой, с трудом принимает и смиряется с ее непостижимой уклончивостью. Нет, она не скрывает чувства – и все же скрывает. Что делать, если она привыкла прятать их... Она боится, стесняется, а может быть, не умеет открыто проявлять нежность, любовь, заботу. Если бы знать, как выглядишь со стороны... Ведь она действительно замыкается вдруг в себе, наглухо закрывает все окна, все форточки, запирает себя на ключ. И он ни при чем здесь. Это ее слабость, угловатость, разлапистость, это их так хочется запереть на два замка, на три поворота ключа – каждый...

А сегодня к этому добавились еще сомнения: сказать или еще подождать? Эти сомнения он, конечно, тоже почувствовал.

Сказать ему? Подождать? Ведь ничего же не должно случиться? Может, пронесет как-нибудь?

Она уклонялась, бежала от этой мысли.

А все-таки – что делать, если не пронесет?

## Без времени. Девочка...

С самого детства девочка твердо усвоила: надо найти свое Дело в жизни и следовать ему. Это самое важное в жизни.

– Мне надо еще поработать, – говорил отец даже в праздники, даже в субботние вечера, и, не слушая никаких возражений, упрямо шел в кабинет, к письменному столу, склонялся над ним и писал... Весь, с головой уходил в свое творчество... Поскрипывал пером – отец долгое время не признавал шариковых ручек и каждый вечер аккуратно заправлял перьевую ручку синими чернилами, – из-под пера возникали, как на фотографии, проявлялись слова, одно за другим, *нарисованные* каллиграфическим круглым, мелким почерком. Так было всегда, сколько она его помнила. Долгое время девочка никак не могла понять, как это можно работать всегда, даже когда все отдыхают. Лишь много лет спустя поняла – как и почему.

На письменном столе у отца стояли два белоснежных мраморных бюстика, когда-то привезенных им из командировок в США: левый бюст принадлежал Аврааму Линкольну, а справа сидел вылитый в мраморе крошечный Франклин Делано Рузвельт. Два великих президента Америки помогали отцу думать, творить, поддерживали уникальный, образцовый порядок на столе, стояли на страже особой – плотной – тишины и той совершенной научной атмосферы в кабинете, где стеллажи с книгами по истории, праву, философии Западного мира занимали целых три стены, от пола до самого потолка.

Мама по утрам уходила в свой институт или в библиотеку, или уезжала в какие-то командировки, и тоже всегда была очень занята. Для мамы не существовало ни суббот, ни воскресений – она очень много работала, постоянно выступала на международных симпозиумах, приобрела имя в научном мире.

Мама писала статьи и книги, *монографии*. Это слово девочка запомнила с самого детства и очень гордилась знанием такого научного слова. И каждый раз, когда рукопись отправлялась в издательство, в доме без конца повторяли: «Идет верстка... сверка... пришли чистые листы» – в общем, начиналась запарка, работа с раннего утра до поздней ночи, без суббот и воскресений... Мама издала несколько монографий, и в конце концов родителям удалось накопить денег на первый взнос за кооперативную квартиру в только что построенном хрущевском панельно-пятиэтажном доме – и покинуть, наконец, коммунистический рай коммунальной квартиры.

В раннем детстве, когда все они ютились вчетвером в одной комнате коммунального общежития, по вечерам, засыпая, девочка привыкла видеть две поочередно склонившиеся над письменным столом спины: мама или папа обязательно что-то писали – *работали*. С тех пор крепко засело убеждение: так и надо! Дело, любимая работа – это главное в жизни, а вот любовь, семья... Это когда-нибудь потом, это приложится, возникнет само собой. Просто возникнет – и все тут! И даже если нет...

«Политические дискуссии», как она привыкла это называть, жарко разгорались в семье, когда приходили в гости друзья родителей и приезжала из командировок мама. Они живо интересовали девочку. В этом была дразнящая новизна. В этом была сама *живая* жизнь.

Двадцатый съезд. Что-то непонятное, непостижимое, но неудержимо притягивающее...

Оттепель – великолепно и волнующе! Это же значит – пришла весна!

Битвы за честную историю – ой! А что, разве бывает нечестная? И за нее зачем-то надо биться? А в школе ничего такого не рассказывают, надо только пересказать как можно ближе к тексту очередной параграф из учебника и законспектировать из «Правды» решения очередного партийного съезда, а это так скучно...

Ах, да, вспомнила! Все-таки честной истории и правда приходится отстаивать свое право на существование. Это был совсем уже близкий ей – потому что ее родители жили в нем, –

научный мир. А здесь, в этом мире, конечно же, так нужна... Как же это? А, интеллектуальная свобода.

Девочка слышала недавно, как родители с возмущением обсуждали, что историка Александра Некрича порицают *там, наверху*, за честное изложение Великой Отечественной войны, а еще *оттуда, сверху*, требуют его осуждения сообществом ученых-гуманитариев, исключения из партии, из института, где он работает.

В научных институтах сражались тогда жестоко – шли стенка на стенку, словно два класса столкнулись в смертельном бою. Многие зрелые, а тем более молодые ученые, даже аспиранты в большинстве своем решительно и смело выступали против затхлости, замшелости и – как это? да, против догматизма! – в науке и в обществе. Они боролись против подпевал возвращавшимся во власть зубрам, против халтуры и лизоблюдства в науке, против тошнотворной серости и самодовольной бездарности – за новую науку и новую, свободную от оков лжи, фальши и рабства жизнь. Это были битвы за свободу.

Да, это Шестидесятники. Это что-то новое, интересное, свежее.

Даниэль – о, как волшебное, как загадочно звучит! Но девочка все же что-то знала, слышала, что это замечательный писатель, как и Синявский.

Генерал Григоренко – ох, а это *остро* пахнет опасностью. Но она честно постаралась запомнить и это имя.

А еще девочка слышала: существует какая-то политическая «Белая Книга» – это тоже красивое название, только вот немного странно, почему же она называется «Белая»? Если в этой книге защищают невиновных людей, то она же, наверное, должна быть «Красной» или даже «Черной», потому что нельзя же терпеть несправедливость! И она знала: это хорошие, честные люди, просто у них сильнее, чем у остальных, развиты чувство собственного достоинства, правдолюбие, стремление к свободе, повышена температура совести – вот они и не могут и не хотят соглашаться с тем, что творится в стране, молча терпеть зло и несправедливость. А эта... интеллектуальная свобода, которой они требуют, – так это же ведь и правильно! Как захватывающе и научно звучит!

«Свобода, за которую вступились эти люди... – размышляла девочка. – А что это такое, в сущности? Возможность делать в жизни то, что хочешь, то, что любишь? Да. Но не только – этого мало. Тогда необходимо понять свое призвание – и поскорее, так, чтобы не было слишком поздно. Но, вероятно, это еще и внутренняя – интеллектуальная свобода ученого, да и просто человека. И тогда продолжением такой свободы обязательно становится ответственность. И умение отвечать за свои действия».

Свобода – как непривычно звучит это слово, когда о ней говорят правду, – только искренне, без фальши.

...Девочка хорошо запомнила, как отец, вернувшись после научной командировки в США, рассказывал о своих американских впечатлениях. За несколько месяцев он объездил почти всю огромную страну, даже самые отдаленные штаты Запада, куда советские ученые, как правило, не попадали, читая лекции в университетах и собирая материалы для докторской диссертации в университетских библиотеках. Более всего поразила отца та внутренняя свобода, которую он почувствовал, общаясь с университетской профессурой, со студентами, да и с простыми американцами. Да! Внутренняя свобода, достоинство человека, независимость, уверенность в себе, в своих силах и возможностях, самодостаточность.

«Как же это будет по-английски? – вспоминала девочка. – А, вот: *self-made man*».

А еще отец вспоминал, как однажды зимним вечером, ужиная в семье американского профессора в небольшом университетском городке Среднего Запада, он был совершенно ошарашен, когда вдруг услышал слова, которые, вероятно, непроизвольно вырвались у изумленного хозяина дома: «О, Господи! Оказывается, они, русские, – нормальные свободно мыслящие люди, и с ними можно нормально разговаривать... Надо же! А мы-то боялись! И, вероятно, с

ними можно даже договариваться...» Не договорив до конца эту эмоциональную тираду, профессор осекся, тут же покраснел, закашлялся. Наверное, он сам от себя не ожидал – чтобы вот так, вслух, в присутствии советского профессора... И жена профессора посмотрела на него с осуждением. Да, но ведь так говорил профессор университета, довольно известный историк – вовсе не человек с улицы, обманутый официальной американской пропагандой *охоты на ведьм*, которую надул ветер холодной войны.

Отец привез девочке письмо от дочки американского профессора, ее ровесницы, – приветливое письмо, а главное, какое-то свободное, – вот так, просто, давай дружить и переписываться! В конверт была вложена фотография – американская девочка, ее брат и сестра. Дети сидели в саду около небольшого коттеджа в естественной позе, улыбались весело, непринужденно, не на объектив. Девочка сразу же ответила американской подружке подробным добрым письмом. А маленькое изящное ожерелье, переданное американкой в подарок, она часто надевала и бережно хранила еще долго-долго.

Кончался тогда 1965-й год. Совсем недавно мир заглянул в пропасть ракетного кризиса. Совсем-совсем еще недавно планета была ошеломлена выстрелами в Далласе, оборвавшими тонкую струну жизни президента Кеннеди...

А что в Советском Союзе? Огромный длинный маятник отмерял время, раскачиваясь тревожно и все быстрее, быстрее, а гигантские часы, громко тикая, звучно отстукивали последние месяцы, даже дни советской оттепели...

«Летопись полувека»<sup>23</sup> – она с таким нетерпением ждала каждую новую серию по телевизору и всегда с каким-то острым, головокружительным восторгом отмечала новые, казавшиеся тогда ужасно смелыми шаги по крутым ступеням лестницы, ведущей к честной истории. Ох, как они круты, как высоки, эти ступени, и как, оказывается, непросто карабкаться по ним, чтобы сделать еще один шаг к честной истории... Вот сегодня вечером, например, будут показывать 1937-й год. Год Большого Трора. Интересно, какие имена назовут, какие документальные кадры сочтут возможным показать? Скажут ли о начавшихся в тот год повальных арестах многих известных военачальников, да и сотен – нет, тысяч, нет, гораздо больше! – простых советских людей? Насколько эта история *сумеет* быть честной?

Потому что честная история должна повествовать о человеческих судьбах, исковерканных советской диктатурой. Должна говорить о людях, перепаханных и раздавленных физически и морально безжалостными гусеницами советского режима.

...Девочка помнила, как ее дед Антон, мамин отец, известный авиаконструктор, рассказывал о внезапных вызовах к Сталину во время войны или сразу после нее. За ним присылали машину, всегда неожиданно, провокационно, каждый раз поздно вечером или даже посреди ночи, и бабушка провожала его, уже не надеясь увидеть вновь, и все-таки ждала до самого утра. Однажды, выйдя под утро из самого высокого кабинета в стране, дед почувствовал себя по-настоящему плохо. Ноги стали как ватные, не держали совсем, голова сильно кружилась, подступила вязкая тошнота, сильно забило, потом неприятно замерло, потом закололо сердце – и он даже не помнил, как спустился по ковровой дорожке лестницы, потому что на какие-то одну-две минуты, наверное, потерял сознание. И лишь потом, уже на улице, начал постепенно приходить в себя, словно выздоравливая после тяжелой болезни...

Биография деда повторяла в общих чертах жизнь страны и стала ее отражением. Лет в пятнадцать он покинул родной дом и отправился в неведомые дали по городам и весям, отме-

<sup>23</sup> «Летопись полувека» – документально-публицистический сериал. В 1967 г. в СССР отмечалась 50-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. «Летопись полувека» – цикл документально-хроникальных передач, где каждая передача посвящена определенному году. На голубых экранах (как тогда именовали черно-белое ТВ) около двух месяцев каждый вечер демонстрировался многосерийный телевизионный эпос, где год за годом прослеживались основные события в жизни страны за пятьдесят один год. Фильмы собраны из хроники – от 1917-го до юбилейного 1967 года (затем был добавлен 1968 г.).

рял версты бескрайних просторов огромной страны, увлеченный борьбой за справедливость, и пропал год полтора, а то и два. Где он побывал? Чего успел насмотреться? Однако впоследствии, уже взрослый, он сумел получить неплохое образование, особенно специальное – техническое, и стал довольно крупным авиаконструктором.

С тех пор прошло уже немало лет, но душа его, вероятно, болела до сих пор.

«Двадцать писем к другу». Вместе с родителями девочка слушала мемуары Аллилуевой – в ту осень их почти каждый вечер передавали по «Голосу Америки» – и ей было до слез жалко Светлану. Ведь ее грозный отец отнял у нее любимого, отправил его в места не столь отдаленные. А всего ужаснее то, что того любимого звали так же, как мальчика, который почему-то все чаще снился девочке по ночам...

Иногда девочка замечала, как поздними вечерами мама читает (а может быть, и отец – только она отца за *таким* чтением не заставляла), быстро перелистывает какие-то сложенные листочки, иногда совсем потрепанные, зачитанные, со слабо пропечатанным текстом. Лишь много лет спустя поняла: это были многократно перепечатанные на машинке где-то на дому или в издательстве – тогда такое тоже случалось – самиздатовские произведения Солженицына или кого-то еще из советских публицистов и писателей-диссидентов. Тогда она осознала, что родители оберегали ее и, конечно, себя. Девочка-то еще не взрослая, неосторожная – легко может что-нибудь ляпнуть подружкам в школе, сболтнет, не подумав, выскажется, где не надо.

Восприимчивая девочка не разумом, нет! – эмоционально, кожей впитывала факты, суждения взрослых, а больше – душу эпохи.

Годы спустя пришло осознание: постижение мира политики, мира взрослых было ее взрослением. Она так мечтала поскорее стать совсем взрослой! А еще больше хотела, чтобы ее приняли такой, какой она была – не казалась. Так отчаянно хотелось не быть больше *разлапистой*, угловатой – телом и душой.

Взрослость для нее – это дискуссии о политике и, конечно, Любовь. Любовь к отцу, к маме, к главной подруге, ко всему миру и, конечно, к этому очень высокому и худому сероглазому мальчику в очках, который что-то уж слишком часто снится по ночам...

Предошущение, мечта о большой любви и понимании. Девочка сердцем чувствовала: любовь – это понимание, принятие тебя целиком – такой, какая ты есть, со всеми недостатками. Любовь казалась огромной, всеобъемлющей – только черпай большими ложками и пей! Как ее много – она заполняет весь мир!

Юность почти всегда сосредоточена на себе, эгоистична. Но девочка понимала или, скорее, чувствовала: у взрослых свой, закрытый от нее, мир. В мире том не все благополучно: там живут обида, боль, гнев, тоска, страх, ненависть, рождаются апатия, безразличие, раздражение...

Но душой девочка была еще там, в теплой большой оранжевой комнате.

И вот они вместе снова: мама, папа, она... И приходят иногда хорошие добрые люди – друзья, или они одни дома... Тихо, деликатно постучавшись, заглянул к ним на огонек симпатяга-вечер, смущенно улыбаясь, уютно присел рядышком... И играет старенький мамин патефон, и мама часто ставит *ее* любимую пластинку (правда, девочка никогда не говорила маме, что она ее любимая), – да, наверное, все-таки *свою* любимую пластинку Капиталины Лазаренко:

*В любви ведь нужно  
Открытым быть и честным...*

Впечатлительная девочка. Закрытая. Вся в себе.

Вот запала ей в душу эта песня – слова, мелодия... такая... такая... Она не могла выразить это словами...

Да, вот! Как в раннем детстве. И мама, как на тех, старых, еще черно-белых семейных фотографиях, снова смотрела на мир открыто, широко распахнутыми сине-серыми глазами. А потом, постепенно, наверное, сама того не замечая, мама начала все чаще щуриться, словно запрещала себе смотреть на некоторые вещи, искусственно сужая, сокращая обозрение, отсекая все то, чего она не хотела или не могла больше видеть и принимать... А потом это вошло в привычку.

Как в детстве, когда еще не висело, не клубилось в их доме гнетущее, угрюмое, категоричное, плотное черно-серое молчание, ноющее, как боль в животе... бьющее по лицу, пронзительное, обжигающее, как окрик!

Что же оно означает – это молчание?

Это на их языке, языке взрослых, называется – как же это?.. Девочка однажды слышала и не очень поняла, но новое слово на всякий случай запомнила, потому что необычное и *взрослое*... Как это? А-а, да, вот! Соблюдать *декорум*.

Самое ужасное, что соблюдать декорум должна была почему-то и девочка тоже. Она точно знала: вопросы задавать нельзя. Это бестактно, это просто неприлично. Надо молчать. Это табу – есть вещи, о которых нельзя говорить. Запрет свыше. Обет молчания.

Так надо, и так легче. Ничего не выяснять, молчать, будто все хорошо. Тогда и вправду все будет хорошо. Рассосется. *Образуется*.

А наверху, на третьем этаже, играло радио, и вдохновенный, близкий, дружеский голос пел:

*Дайте до детства плацкартный билет.*

Время схлопнулось и, прежде чем исчезнуть, подмигнуло ей, состроив хитрющую физиономию.

Так, может быть, это и есть подлинное лицо Времени? Или оно какое-то иное?

## Много лет назад. Она...

Они сидели втроем в кафе «Тройка» на Профсоюзной улице – Олежка, его друг Сергей, которого все звали просто Серый, и она.

В тот необычно теплый для сентября вечер они отмечали возвращение Серого из армии.

Гремела музыка. Может быть, маленький оркестр играл и неплохо, только уж очень громко, и у нее сильно разболелась голова. К тому же исполняли порядком уже всем надоевшую песню *Облади-Облада*, и это сильно действовало на нервы.

Ее спутники оживленно беседовали. Серый увлеченно что-то изображал, размахивал руками, рассказывая особенно запомнившиеся ему эпизоды последних дней перед дембелем. Как он радовался: вот, *дембельнулся*, наконец!

«Надо же! Это надо запомнить – вот какой неологизм. Или это жаргон?» – автоматически отметила она про себя.

Олежка хохотал, переспрашивал, задавал вопросы, ведь ему служба в армии только еще предстояла.

Она взяла со стола бокал красного сухого вина, сделала небольшой глоток и тут же поставила бокал на место. Голова вдруг сильно закружилась, зал как-то странно покачнулся, от гремевшей в кафе музыки как-то неприятно зануло все внутри, физиономия сидящего напротив Серого стала расплываться, в глазах потемнело...

«Что это с ней? Это же ее любимое сухое вино – Ахашени! И потом, она же только пригубила любимый напиток».

Не показывая вида, что ей стало нехорошо, она через силу улыбнулась сидящему рядом Олежке, который заботливо спросил, почему она ничего не ест и не пьет. Но о еде не хотелось даже и думать.

Внезапно ее снова затошнило. И сегодня ее мутило утром, и вчера...

«Ага, вот мы и влипли, – с тревогой подумала она, – вот мы и доигрались. Значит, все точно, и придется идти к врачу. Впрочем, чего уж там – и без всякого врача все ясно».

Она откинулась на спинку стула, время от времени заинтересованно кивая и улыбаясь через силу, делала вид, что внимательно слушает разговор двух друзей.

Скоро приступ тошноты прошел, и стало немного лучше. Надо бы теперь выйти на свежий воздух, ведь здесь так накурено. И еще – попросить ребят не курить за столом. Хотя Олежка удивится: недавно она курила вместе с ними, поддерживала компанию. Как бы он чего не заподозрил!

Но тут оркестр заиграл что-то медленное, протяжное... «*Ночью, в темных улочках Риги*» — как хорошо!

Она не знала, сколько прошло времени. Только заметила вдруг, что бутылка водки, из которой пили два друга, опустела, и подлетевший к их столику официант открыл другую, такую же, поставил перед ними какое-то горячее блюдо. Олежка налил себе водки в большой бокал и залпом опрокинул его, не закусывая. Потом он повернулся к ней: глаза его сильно заблестели, смешинки с хитринками куда-то убежали, лицо стало расплываться, как жирное пятно на белой скатерти, язык начал заплетаться. Он что-то спросил, потом придвинулся к ней, обнял, попытался поцеловать, не обращая никакого внимания ни на Серого, ни на подошедшего официанта.

Ах, так? Хорошо! Она оттолкнула его, вскочила, резко отодвинув стул, и не обращая внимания на его попытки задержать ее, быстро надела висевшую на стуле куртку – как хорошо, что гардероб в тот вечер не работал! – и выбежала из зала. Он не успел ее задержать, только что-то громко сказал вслед.

Выйдя из кафе, она обернулась и увидела догонявшего ее Серого. Тот схватил ее за рукав куртки:

– Майк, ну чего ты завелась-то так, а? Ладно тебе дурить-то, давай скорей пошли назад, а? Ну, зачем ты так? Он на самом деле, это, ничего. Правда, знаешь, сейчас он закусит, потом пойдет умоется – я уж за этим прослежу, вправлю ему мозги-то слегка! – и все в будет в порядке. Ну, зачем тебе уходить-то? Уже темно, поздно, мы, слушай, скоро уже пойдем все вместе, проводим тебя. Ну, ты, правда, знаешь что... это самое, прости ты его!

– Сережка, ты меня извини, пожалуйста... Может, я тебе вечер порчу, но тебя-то я обидеть совсем не хочу, и я так рада, что ты вернулся, правда! Просто... Сегодня я что-то неважно себя чувствую...

Серый усмехнулся – не поверил, конечно:

– Что, думаешь, я ничего не понимаю, так, что ли? Да знаю я все: и что он, бывает, и меры никакой в выпивке не знает, это уж точно, и контролировать себя не может, и вообще... Ну да, это самое, ну, конечно, злоупотребляет сильно этим делом. Но ты ведь можешь на него повлиять, последить за ним – он же тебя знаешь как слушается и...

– Сереж, ну, ты себя слышишь хоть, что ты говоришь!.. Ой, слушай, только, пожалуйста, не кури сейчас, ладно! – испуганно сказала она, видя, что Серый достает из кармана пиджака пачку «Явы». – Так я, что, нянькой за ним бегать должна, да? Делать мне больше нечего! Все! До свидания! Я пошла, а ты не обижайся только на меня, ладно?

Ее слегка качнуло.

Опять закружилась голова. Усилием воли она остановила поплывшую под ногами улицу. К счастью, Серый ничего не заметил в темноте.

– Майя... Ладно, это, не буду я тебя уговаривать вернуться, но ты только постой еще минутку... Послушай, что ведь я хотел тебе сказать... Ты даже не представляешь, как он тебя любит... Ты не сомневайся, уж я-то знаю. Раньше у него так никогда не было, я же, это, в курсе. Он просто... Ну, не знаю я, как это сказать. Но в каждом письме, когда я в армии был – только все о тебе. А однажды... Нет, он меня... Ну, ладно, не будем об этом. Так что ты даже не думай – он тебя, правда, любит.

Они стояли в темноте друг напротив друга. Она хотела что-то сказать, но Серый перебил ее:

– Нет, ты подожди... Я что ведь еще хочу спросить. Слушай... это... ну в общем... а почему вы не поженитесь никак? Он же очень этого хочет, ведь ты ж это знаешь?

– Ага, вот мы поженимся, и он будет вот так пьянствовать, да? Здорово вообще-то, а?

– Так он, может, потому и пьет...

Тут она, вконец обозлившись, перебила его:

– Сереж, ну, ты хоть слышишь сам-то, что такое говоришь?! Что он из-за меня пьет... да?

– Да нет, ты ж пойми, не то я хотел сказать. Ну, он расстраивается, что вы редко бываете вместе, скучает по тебе, что твои родители и слышать не хотят...

– Так потому и не хотят, что!.. – рявкнула она, потеряв всякое самообладание.

– Ну... так если вы уже распишетесь, наконец, ну, что они – родители твои – смогут тут поделаться? – все-таки возразил ей слегка растерявшийся Серый. – Примут его – и все дела!

– Не примут, ты их не знаешь!

– Ну, а не примут, так, это, – и ладно! И уйдете тогда. А что тут такого-то, а? И он же тебе предлагал расписаться! У него, конечно, вам жить негде, там и так уж все как сельди в бочке друг на друге сидят. Жить вам там нормально не дадут. Вот если бы у тебя – ведь отдельная комната была бы! Ну да ладно, что поделаешь, когда родители!.. Но ведь вы можете на первых порах хоть какую комнатку-то снять, это и не так уж дорого, особенно, если на окраине где-нибудь...

Она внимательно посмотрела на Серого.

– Постой... Так это что, он тебя, что ли, просил со мной поговорить? Уполномочил, да? Серый явно смутился.

Помолчав с минуту, он продолжил:

– Да нет, правда же, нет! Но я только несколько дней как вернулся, а он все уши мне уже успел про тебя прожужжать. Все – Майя, Майя, Майечка... Слушайте, ну вы даёте, правда же, ребята! Извини, конечно, что я вроде как и не в свое дело лезу, но... Ну чего вы жизнь-то себе портите? Вы же любите друг друга, дураки вы этакие... Ведь ты же любишь его, да?

Она молчала – только низко опустила голову.

– Вот видишь – любишь ты его, конечно... И он тоже. Ну, так и вот, если снять комнату где-нибудь, не в Черемушках, конечно, а где-нибудь там, в каком-нибудь Медведкове или вроде того, то, знаешь, совсем недорого получится, да и от родителей подальше... И жили бы, как люди, нормально, вместе. и, в конце-то концов, что он, Олежка-то, не мужик, что ли? Он уже и сейчас неплохо зарабатывает, механики, знаешь, всегда в цене! Ну, и потом подработает еще где-нибудь, грузчиком ночью или, там, что... Проживете, в общем! Знаешь, как говорят: с милым рай... где угодно. И все лучше, чем так! И чего ты боишься-то? Ну, ты, правда, совсем к другому в своей профессорской семье привыкла, да?.. Ну, так что? Детей-то ведь у вас пока что нет, ну, это, можно их пока что и не заводить на первых порах – проживете как-нибудь сами, без помощи.

При последних словах Серого она закашлялась, потом буркнула:

– Ничего я не боюсь.

Серый продолжал:

– Ну вот и хорошо, что не боишься. А то, что это за дела: все по указке родителей: он, дескать, тебе не пара, он простой для тебя слишком, механик, недоучка, простой работяга... Ты только, это самое... ты не обижайся, что я так прямо тебе все выкладываю, но... А ты, что, маленькая сама-то? Чего, это, ты сама-то уже ничего не можешь решить, без указки, что ли, все за ручку только... Может, пора и... Последние слова Серого обозлили ее до предела:

– И вовсе это неправда! С чего это ты вдруг так решил? Скажешь тоже, Сереж! Я все сама решаю за себя, и не надо мне указывать, как мне жить, понял? Ладно, все уже, не хочу больше об этом говорить! И вообще, Сереж... я, правда, жутко рада, что ты вернулся. И ты не обижайся – но только, знаешь, вот что! Не лезь ты в мои дела и мою семью не трогай, понял? Все, пока, увидимся!

И, уже не оборачиваясь, она решительно зашагала по Профсоюзной улице в направлении дома.

«Что же делать? Может быть?..»

## Наше время. Я...

Ну, вот и слава Богу! Она ушла, наконец, совсем ушла, не попрощавшись. И лучше так. Наверное, решила, что ни к чему соблюдать декорум.

Однако я несправедлива. Ну при чем здесь она, в конце-то концов? Нет, это, конечно же, только моя вина: знала ведь, что ни в коем случае, никогда нельзя приходить на старые места! Не пришла бы – и не встретила бы ее! Но как хорошо, что она ушла! Кто ее вообще просил приходить? Я ее не звала. И пусть больше не возвращается. Ведь не было же у меня никакого желания снова ее увидеть! И она тоже, по-моему, не искала со мной встречи. Так что все вышло совсем случайно. Но зато теперь – надо же! – явилась зловредная тетка Пандора, выронила свой большой обшарпанный ящик, он стукнулся о землю, распахнулся – и вот что из него посыпалось!

Нет! Пожалуй, это хорошо, что я ее сегодня встретила. Она многое прояснила мне. Прояснила, что я прожила *не свою* жизнь. Просто в один далеко не прекрасный день я или, может быть, *она* надела чужие галоши и ушла неизвестно куда...

И куда же? Соскользнула за Алисой в кроличью нору и, следуя за Алисой и Белым Кроликом, попала в Зазеркалье? Оказалась в виртуальной реальности – и считала, что это настоящая жизнь – моя.

А путь-то оказался неблизким – *шоссе длиною в жизнь*<sup>24</sup>, как поется в одной популярной песне. Но что же делать, если запуталась, потерялась в чужом времени и пространстве. Завороженная своей неправильной любовью – не случайно она всем казалась странной – ушла в чужую реальность, в чужую жизнь. Сгорела от страсти, что сродни болезни, к человеку, которого сама себе придумала. Вместе входили в бесконечность – в бездонную любовь-Воронку. Гипноз? Наваждение? Болезнь? Такой был тот иллюзорный виртуальный мир, по неведомой причине принятый за настоящий.

Ну, до чего же все банально и сто раз пройдено! Книжная, тепличная, утонченная, воздушная девушка из интеллектуальной семьи – и простой, грубый, невоспитанный, хлебнувший уже всякого в жизни, неистовый отчаянный хулиган с пролетарской закваской, прилепившийся к этой девушке сердцем.

Разные измерения. Несовместимо.

Сбой в матрице жизненной программы.

Когда и как это получилось?

Где та точка невозврата? Тот сумасшедший *занос*?

Детство. Юность. Сбой матрицы. Молодость. Обрыв... Зрелость.

Нет, не так.

Детство. Сбой матрицы. Юность. Обрыв... Молодость. Зрелость.

А может быть, вообще так? Детство. Сбой матрицы. Обрыв... Юность. Молодость. Зрелость.

Ой, ну ладно!

Это все софистика. И потом, а она, что, *свою* жизнь прожила?

Вообще, неизвестно, сколько людей, даже из тех, кто меня окружает, надевают *свои* галоши? Правда, эта мысль не очень утешает...

Все-таки непонятно: когда? Когда и как это случилось?

Ничего подобного – и вовсе она не ушла. Она приблизилась, и я поняла: сейчас она снова задаст мне вопрос. И я уже знала, какой.

<sup>24</sup> «Дальнобойщик». Слова: Арсенов К.

## Много лет назад. Она...

Она вышла из женской консультации. Ноги не то, чтобы не шли, – они просто не стигались, и она переставляла их, тупо, механически, как деревянные ходули, – одна, другая, одна, другая. Она шла и зачем-то считала в уме – раз, два, раз, два... – словно польку собралась танцевать на счет раз-два... И почему-то видела себя словно сверху... или сбоку, непонятно.

Сегодня она, наконец, решилась узнать правду. Да нет, она все, конечно, знала заранее. Давно. Уже больше месяца.

Яркий, теплый сентябрьский денек – самый разгар московского бабьего лета – вдруг начал быстро меркнуть. Солнце спряталось за темно-серую тучу, а день неловко споткнулся о непреодолимое препятствие, чуть было не упал, но, неловко взмахнув руками, чтобы сохранить равновесие, все-таки удержался на ногах. Она просто физически ощутила, как рушится ее привычный мир – такой спокойный, уютный.

Верная Аленка ждала ее, сидела на скамейке неподалеку. Родная подруга не только пошла вместе с ней в консультацию. По ее вдохновенному совету при записи к врачу в регистратуре был предъявлен подругин паспорт – для конспирации. Однако она была тут же разоблачена.

Врачиха была пожилая, в очках, с жидкими, сальными, наспех собранными в пучок волосами и небрежно, даже неаккуратно вылепленным сырым лицом, словно ваятель, лепивший его, ушел, не завершив шедевр, да так и не вернулся, бросил, пресытился этим утомительным занятием. Она провела ее в кабинет и стала стыдить, прочитала целую лекцию о том, почему «так не следует поступать», но быстро вникла, поняла, с кем имеет дело.

– Ну, все, можете теперь одеваться. – Слава богу, закончился, наконец, осмотр – он показался ей бесконечным.

И пока она одевалась и сходила с ума от ожидания приговора, врач, усевшись за стол, что-то методично записывала в ее карточке.

Так и не дождавшись приглашения сесть, она неловко, как-то боком примостилась на самом краешке стула напротив Великой *инквизиторши* и только сейчас робко огляделась по сторонам. Небрежно выкрашенные в какой-то мрачный, грязно-зеленый цвет, обшарпанные стены, немного белого кафеля возле зеркала над раковиной, а сбоку, за невысокой облезлой серой ширмой, это чудовищное, пыточное *кресло* — она снова с опаской покосилась на него.

Прошло еще несколько бесконечно долгих минут. За все это время дознавательница не проронила ни слова. Закончив писать, она, не торопясь, сняла очки, медленно, тщательно протерла их мягкой синей тряпочкой и снова надела. Лишь после этого она подняла голову, посмотрела, наконец, на нее и, окончательно измучив ее, безапелляционным тоном изрекла свой вердикт. А в очках ее обрадованно запрыгали, засияли солнечные зайчики.

– Семь-восемь недель у вас, – скучным, плоским голосом произнесла прокурорша свой приговор.

А, вот и упал. Ударил по шее. Приговор. В сознании, как в клетке, заметалась, забилась, больно ударяясь о решетку головой и крыльями, мысль.

Доигралась. Допрыгалась. Все! Приехали!

Интересно, а чему это так радуются солнечные зайчики в очках врачихи? С какой такой радости распрыгались, а?

Может быть, это неестественно – приходить в ужас от того, что будет ребенок? Может, она какая-то ненормальная? Вероятно, каждая женщина должна испытывать неопишуемый восторг от каждой своей беременности – желательной, нежелательной, неправильной, недопустимой? А ведь эта врачиха, похоже, ждет от нее именно такой реакции – бурной радости?

Каждая женщина, наверное, должна просто захлебываться от восторга, узнав, что у нее будет ребенок – сколько раз она читала об этом в книгах! Аплодисменты, и все встают! Ну, что ж, тогда, значит, она – моральный урод, вот и все!

«Наверное, у этой врачихи давление скачет, – вдруг как-то отстраненно подумала она. – Вон, как вдруг покраснела! Или просто сегодня жарко?»

Странно, а она как-то и не заметила... Ей, наоборот, холодно... Отчего-то знобит.

– И когда были последние месячные, в июле? А в августе уже нет? Ну вот, все правильно... Так. Ну что, голубушка, будем рожать? Но вы ведь еще не замужем, кажется... Нет? М-да... Как же так? – покачав головой, с сомнением и почему-то даже с обидой проговорила врачиха. Она внимательно посмотрела на нее, и в ее взгляде прочитывалось осуждение. – И это что, первая беременность? А, ну да, конечно! – спохватилась врач, вспомнив ее невинные забавы с Алениным паспортом в регистратуре.

Слова падали на нее одно за другим, шлепались крупными градинами, больно били – каждое. Ее достоинство было уязвлено, нет – раздавлено. Она ощущала себя так, словно ее сию минуту отругают, а то и отшлепают и, как маленькую, поставят в угол. Ну да, ведь по неписаному правилу она должна бы состоять в браке уже не менее года, ну, или месяца два-три уж точно. А может быть, вдруг с неожиданным ехидством подумала она, лучше бы она вообще уже три года была замужем и ждала бы теперь уже третьего, четвертого, пятого ребенка!

– Первая, – дрогнувшим, каким-то простуженным, внезапно охрипшим голосом подтвердила она, хотя эта – главная свидетельница обвинения – вовсе не ждала ответа.

– Ну, ладно, пока что я в любом случае дам вам направления на анализы... Сейчас... Минутку, вот... – она быстро заполняла какие-то бланки. – Вот... Видишь, это два направления. Вот, держи, – разъясняла инквизиторша, почему-то обращаясь к ней – как-то странно! – то на «ты», то на «вы». – Анализы сдашь в ближайшие дни, лучше прямо завтра или в понедельник с утра, и обязательно натощак, поняла? Совсем ничего не ешь и не пей, кроме водички, слышишь? Хорошо. А потом придете ко мне, та-ак, – она что-то подсчитала и записала в ее карточке, – дней через пять. Сегодня у нас что, четверг? Давай-ка приходи в среду на следующей неделе. Я принимаю с трех до восьми. Все ясно? И не затягивайте, ладно? – Врач видела, что она находится в какой-то прострации.

– Да-да, спасибо... Я все сделаю. Я приду... До свидания.

Нет, голос сломался и явно уже ей не принадлежал.

Она встала, быстро пошла к выходу – если бы это было возможно, то и побежала бы.

Время почему-то встало и упрямо не желало идти дальше. Наверное, она целую вечность пробыла в этой камере пыток и испытывала теперь одно лишь только желание – поскорее покинуть это ужасное заведение и никогда уже туда больше не возвращаться.

Лишь теперь, когда надежды на благополучный исход уже не оставалось, она до конца осознала весь ужас свалившегося на нее бедствия.

Врачиха окликнула ее, когда она уже открывала дверь кабинета.

– И послушайте, когда придете ко мне, нужно уже обязательно решить, будешь ли рожать, и вообще, все решить, – обиженным тоном произнесла она. – Только учтите – срок уже не такой маленький, а это у вас первая беременность, – назидательно добавила прокурорша.

– Да... спасибо, я поняла, хорошо... До свидания... – прошептала она.

\* \* \*

– Майк, ну что?! – с нетерпением, швырнув недокурную сигарету в стоявшую неподалеку урну, спросила Аленка, когда она плюхнулась на скамейку рядом с подругой. – Как там у тебя? Что врач сказала?

– Семь-восемь недель... – опустив голову, еле слышно произнесла она не своим, каким-то жидким голосом. Голос ее сорвался вниз, упал последней каплей – и закончился. Губы дрожали, голос по-прежнему не слушался, прекращался, а потом и вовсе захрипел... закончился.

– Ой! Да ты что? Правда, что ли? Значит, ты все-таки залетела? Ну, ничего себе! Надо ж было так влипнуть!! – потрясенно проговорила подруга.

По дороге в консультацию Аленка все успокаивала ее, говорила, что рано еще сходить с ума, может, пронесет как-нибудь, может, ничего еще и нет, и вообще... Ну, мало ли от чего может тошнить, а голова кружится от перемены погоды... Да и *задержки* бывают еще и больше по времени, от жары, от нервов, она слышала...

– Ну да! Да! Я же тебе говорила! Я точно знала! – нервно отреагировала она на слова подруги.

Они надолго замолчали.

Потом Аленка медленно произнесла:

– Вот черт... Значит, не пронесло?... Ой, слушай, Майк, а он еще не знает? Ну, Олежка? Ты ему-то ничего еще не говорила? Не намекала даже?

– Нет еще. Но знаешь... Вот когда он прилетел из Риги, а я его встречала, так вот, он тогда что-то такое все-таки почувствовал. Еще все спрашивал: что с тобой не так?

– Ну, так а чего ж не сказала-то?

– Да о чем тогда говорить-то было? Я же ничего еще тогда точно не знала!

Да, ну, а теперь, конечно, сказать придется. Но страшно. Чего страшно? Ну, наверное, того, как он примет это, как примет ее в таком положении. Страшно обмануться, разочароваться в нем... Господи, вот опять этот страх! Ну почему она такая трусиха?!

– Слушай-ка, ну, а родители твои как? Они же все равно все узнают. Ну ладно, еще отец... А вот маме – как ты ей скажешь?

– Да уж... Мама как раз послезавтра возвращается из отпуска. Вот поеду ее встречать...

– Ну и ладно, уж как-нибудь! Да подожди ты паниковать!.. Ой!.. Слушай, да ты вон побелела вся. Тебе что, нехорошо? Голова кружится, да? Ничего-ничего... Ты вот что, знаешь... Ты лучше сядь и посиди-ка тут пока тихонько, не вставай, а то еще грохнешься... Давай-ка еще чуточку посидим, тут прохладно, в тенечке... Вот так, – обеспокоенная подруга не знала уже, что и предпринять. – Ну что, получше тебе? Не тошнит тебя?.. Майк, а знаешь что! Давай сейчас пойдем ко мне, посидим, чего-нибудь перекусим. Ты же, наверно, теперь все время есть хочешь... А у меня там фрукты какие-то остались – груши, виноград. И чего-то еще, вкусненькое. Бабушка вчера приезжала, привезла. Винегретику поедим. Кисель свой знаменитый бабушка сварила, клюквенный, ты же его любишь, хочешь? Пошли, а? И маг послушаем, мне на днях чертановские ребята – ну, ты помнишь, те, из МАИ? – такие отпадные пленки пригнали, просто отличные записи, там, правда, в трех местах пленка порвалась, но это ничего, мы сейчас ее живенько склеим, лаком. Лак для ногтей у меня дома есть... Ну, как, прошло у тебя, да? Тогда давай уже пойдем, отвлечемся, развеемся... Чего здесь сидеть-то?..

Ей действительно стало намного лучше. По дороге они зашли в булочную за хлебом, но едва только встали в кассу, как в очереди начался скандал. И очередь-то была всего ничего, каких-нибудь три-четыре человека, но две агрессивные теткы вдруг, просто на пустом месте, окрысились на немолодого мужчину, невысокого, седого, в очках, в сером плаще и шляпе, с портфелем в руке, который подошел без очереди – кажется, чек ему проббили не в тот отдел. Что тут началось!

– А этот вот хмырь, чего это он без очереди-то лезет? Что ли самый умный тут нашелся, да? – заорала, как резаная, первая тетка, пожилая, толстая, с плохо покрашенными хной неестественно морковно-рыжими патлами и в домашних тапках на распухших, исполосованных синими венами, ногах.

– Да не, слышь, он просто еврей, не видишь, что ли? А все эти жида, они же, знаешь, какие? Они злобные, а еще наглые, жадные, они же жмоты все, и только о себе и думают! – в той же тональности отвечала ей вторая тетка, какая-то стертая, без возраста. – И вот нет, чтобы, как все, в очереди постоять, так он прет, как танк! И чего, звали мы их сюда? Не, они не как мы, русские! Вот русские люди, так они же совсем другие, русский человек, он добрый и щедрый, и жалостливый, и он последним куском с другим человеком, своим ближним, поделится, сам голодать будет да отдаст, а еще, не, ну, правда же, последнее с себя всегда снимет!

– Во, точно! Русский человек – это сила, во как! – встрял в разговор неизвестно откуда взявшийся подвыпивший плюгавый мужичонка, в помятом пиджаке и с помятым от похмелья лицом. Он постучал себя в грудь здоровенным кулаком с татуировкой «Дуся» и изрек: – Вот я, к примеру, русский, да? Ясно это вам? А это кто такой, я вас спрашиваю? Это жид пархатый, чо, разве не видите? Во, г-гад, и шляпу надел, и очки вон нап-пялил, очкарик, *ученый* самый тут выискался, и бороду себе отрастил, ну, чистый *сиа-нист*, и портфель даже себе завел! Ваше, деловой! Да ведь они, знаете, жида эти, какие? Они же против политики партии и правительства, во как! А этот очкастый, он, ва-аше, деловой, ученый тут какой выискался! Гнать давно таких из нашей страны надо поганой метлой! – Русский пропойца угрожающе размахивал руками, его агрессия возрастала с каждым словом, а последние слова он проорал, как укушенный.

– Ну чего стали-то все тут, как... ну, я ва-аше не знаю, как кто?! Кто следующий, подходите поживей! Ох ты, господи, да некогда мне тут с вами со всеми валандаться! Давайте готовьте сразу мелочь и подходите в порядке очереди!!! – злобно завопила вдруг кассирша, просто как оглашенная, так, словно ей тонкую вязальную спицу воткнули в мягкое место. – А то, глянь-ка, какие умные вдруг все сразу пошли, а, Катя? – обращаясь, к стоявшей за прилавком продавщице, дурным голосом заорала обладательница мощной глотки.

«Господи, прямо оглушила, как сирена завывала, а голос-то какой визгливый, пронзительный, мощный, даже непонятно, где только помещается такая силища», – подумалось ей.

Восседающая за кассой, кассирша с нескрываемой, прямо-таки классовой ненавистью смотрела на людей в очереди.

Мужчина в шляпе уже куда-то исчез.

А они с Аленкой переглянулись – да уж! – и, не сговариваясь, вылетели вон из магазина, так и не купив хлеба.

– Вот урод! – в сердцах выругалась Аленка. – Гад какой! И надо ж было, чтобы попалась такая сволочь пьяная!

– Да уж... *Хамство*, это точно, – согласилась она. – Но, впрочем, знаешь, ведь и тетки эти, хоть и не пьяные, ну просто ведьмы какие-то ископаемые! С такими злобными и связываться-то опасно! А еще говорили – русские добрые, открытые... И эта кассирша, – ну вот с чего она такая лютая, озверевшая, а? Торговки на базаре, когда ссорятся или перекрикивают друг друга, так и то ведь, наверное, тише кричат, нет?

– Ну, наверно, жизнь допекла, и муж на шее сидит, алкаш, паразит, – задумчиво предположила Аленка. – М-да... Майк, но, между прочим, хлеба-то мы так и не купили... Я вот сейчас уже не помню, осталось ли дома хоть немножко? Мама ведь меня просила... Она же поздно с работы пойдет – хлеба может уже и не быть. Ну, да ладно, черт с ним, попозже выскочу в булочную, еще не вечер... Слушай-ка, Майк, а вот как ты думаешь, почему у нас в магазинах продавцы не умеют быть если уж не приветливыми, то элементарно вежливыми, хотя бы, а?

– Ну... А зачем им это, если и так сойдет? И потом, у них здесь какая ни на есть, но все-таки власть над людьми, над покупателями... Ну, как-то вот так, я считаю...

Еще долго оставался у них отвратительный осадок, будто они нахлебались помоев. Но удивительно! Мерзкий инцидент словно потушил, хотя бы на время, панику, овладевшую ею во время посещения женской консультации.

Собачья супружеская пара с восторгом встретила их на пороге Аленкиного дома, словно после столетней разлуки. Чап и Лялька подпрыгивали чуть ли не до потолка, виляли изо всех сил своими закрученными хвостиками, искренне радуясь встрече и так и норовя поцеловать поочередно их обеих в нос, в щеки – куда придется. Ну а уж когда они нацепили на собачек поводки и вышли с ними немного прогуляться, собачье племя пришло в полный экстаз.

Потом они долго сидели в комнате Аленки. Перекусили немного, пили чай с вареньем, бабушкин кисель, слушали «Так и будет» Ободзинского, Веславу Дроецку, Вертинского, Битлов... А навечно влюбленная неразлучная парочка Аленкиных попугайчиков счастливо чирикала в своей клетке, время от времени принимаясь усердно и нежно чистить друг другу перышки.

– Слушай-ка, Майк, ну, а все-таки, ты теперь как – будешь оставлять?.. – сочувственно поинтересовалась подруга. – С одной стороны, это все у вас было понятно и хорошо, пока проблем не было – одна романтика... Но теперь, если ты, правда, хочешь быть с ним вместе, родить от него ребенка...

Она долго молчала.

– Даже не знаю, что делать... Пока я не очень думала еще... Вообще, знаешь, что-то размагнитилась я, расслабилась, вот и получилось... – горестно простонала она.

– Олежке-то когда скажешь?

– Ну вот, когда встретимся, наверное, завтра-послезавтра. Но знаешь, как-то страшно...

– Ну, ты чего?.. Его-то чего бояться? Он ведь тебя любит, это ж сразу видно... вообще, за версту!

Подруга удивленно посмотрела на нее.

– Знаешь, Аленк... не все так просто. Если он, правда... так ко мне относится, то вот скажи – ну почему тогда он пьет?

– Ну а чего, каждый день, что ли, прикладывается?!

– Да нет... Но бывает... Часто он, конечно, скрывает – маскироваться, гад, хорошо научился, но я и по телефону, по голосу сразу чувствую. Иногда так страшно... Вот представляешь, меня ведь просто трясет от одного вида бутылки! – горько жаловалась она подруге. – Я уже эту водку видеть, а не то, что пить, не могу! В рот ее больше никогда не возьму! У меня на нее на всю жизнь аллергия уже!.. Ну, а потом, еще очень страшно, как родители... Представляешь, что мне родители на это все скажут!

– И ладно еще отец! Твоя мама особенно...

– Ничего! Знаешь, что-то мне подсказывает – отец тоже не будет в восторге, – невесело пошутила она.

Подруга сходилась на кухню, принесла еще по чашке чая и ее любимого вишневого варенья в розетках. На кухне тихонько играло радио, и из-за приоткрытой двери донеслось:

*...Горе горькое по свету шлялося  
И на нас невзначай набрело...*

– Аленк, вот отец уж точно не будет в восторге – насчет *горя горького*, которое набрело! – хихикнула она.

Странно, но даже такая мимолетная, невеселая шутка немного разрядила туман ужаса, почти зримо сгустившегося в комнате и все сильнее давившего, обволакивавшего их.

– Да уж, и не говори! – засмеялась в ответ на эту невеселую шутку Аленка. Потом сказала мягко: – Но вообще-то, Майк, конечно, надо тебе что-то решать... Майк, а знаешь еще что?.. Но уж если оставлять ребенка, то вам надо поскорее бежать в загс и расписаться, – размышляла вслух подруга. – По крайней мере, как-то уже решить этот вопрос побыстрее. Для вас же это просто формальность – ну, узаконите вы свои отношения, станете уже и на бумажке мужем и

женой... Правильно, только бумажка-то эта дорогого стоит, понятно тебе? Но, правда, в твоём случае это не проблема: Олежка-то, наверное, спит и видит, как вы распишетесь, да? Ведь он же тебе предлагал!.. Правда, родители...

– Ладно, что мы все об этом, да об этом... – ей стал почему-то неприятен этот разговор, и она резко сменила тему. – Ой, да, а кстати, Аленк, а ты не забыла еще: ты ведь тоже была в Олежку влюблена, как кошка? В восьмом, да и в девятом классе, помнишь? А теперь что, совсем-совсем прошло?

– Ага! А вы с Танькой – помнишь? – еще писали ему в колонию, часто, может, раз в месяц, – с радостью подхватила тему Аленка.

– А то когда даже и два раза в месяц, по твоей просьбе, – вставила она.

– Ну, да, а я уж получала, читала и даже часто сочиняла сама многие письма, а вы их потом только переписывали своим почерком – я ж тогда не хотела, чтобы он знал, что я ему пишу! – подруга продолжала предаваться воспоминаниям. – И чаще всего ты, помнишь, переписывала, а потом вы с Танькой ему посылали или передавали с его матерью, когда она к нему ездила.

Танька была их одноклассницей – в восьмом классе они дружили все вместе.

– Да уж, – задумчиво проговорила она, вспоминая их эпистолярную эпопею, когда он сидел в колонии для несовершеннолетних. – И в итоге допереписывалась я... А помнишь, ведь такие хорошие были эти его письма, такие искренние – или это нам тогда казалось? Покаянные были письма! – Внезапно в ней проснулся филолог, и она ехидно отметила: – Только вот, знаешь, с множеством грамматических ошибок. Ты-то уж не помнишь и внимания на это, наверное, не особо-то обращала, а мне сразу в глаза такое бросается. И слово «*сдесь*» у нас было написано именно так – с буквой «с», представляешь?.. А еще, Аленк, помнишь, еще мы с Танькой к его бабушке ходили узнавать, как у него там дела. Ох, и радовалась она нам, бедная! Она так за него переживала, плакала все время... Да ладно, это все когда уже было. Давно и неправда! А сейчас-то у тебя как, с Андреем?

– Знаешь, вот плохо совсем. Я вчера была в институте, на занятиях... Ну, в общем-то, ничего утешительного, – упавшим голосом пожаловалась подруга. – Андрея там нет, а в деканате мне одна знакомая девчонка сказала: «Он, кажется, собирается забирать документы». В МАИ вроде переводится. И чего ему у нас в МАДИ не нравится?

– Понятно... А поговорить с ним не хочешь все-таки?

– Не знаю... Может быть... Я вот что решила: позвоню ему, если он точно уйдет... Ладно, да ты это в голову не бери, у тебя сейчас проблемы посерьезней. Что делать-то будем – замуж в срочном порядке выходить? В белом платье и с фатой, да?

– Ну ты уж и скажешь! – фыркнула она.

«...*Мама, расскажи мне о дожде...*» — пела свою «Колыбельную» Дроецка на Аленкиной пластинке.

Она встала, посмотрела на себя в зеркало, висевшее над Аленкиной кроватью, достала из сумочки расческу и причесала волосы, создав на голове эффект растрепанности.

– Как ты считаешь, Аленк, мне постричься или продолжать отращивать волосы? А то как-то надоела уже эта стрижка – нет, ну правда же! – да и отросла она уже, вот-вот потеряет форму..

– Да не знаю, – подруга внимательно осмотрела ее прическу. – Вроде бы пока неплохо. Хотя, а с другой стороны, похоже, гаврош уже выходит из моды, ну, а так... Тебе и длинные тоже хорошо, они у тебя такие густые.

– Ладно... Можно пока и так походить, и, пожалуй, буду теперь отращивать. Наверно, сейчас это не самое главное... – она замолчала, и в комнате повисла долгая пауза. Потом, глубоко вздохнув и опустив голову, она тихо произнесла: – Аленк, ну, в общем-то... я, честно говоря, даже и не знаю... Я как-то, наверное, просто не готова еще к этому... И к замужеству, и

к тому, чтобы... Ну, в общем, к ребенку... Рано мне все-таки... И я не смогу, не справлюсь... И потом, знаешь что... Вот как-то нечестно это или... слово не то... но только потому, что ребенок... Может быть, тогда нам уже раньше надо было расписаться? А то, что это за брак вдогонку, по залету? Знаешь, сколько таких браков теперь? Чуть ли не каждый второй или третий! А потом столько же разводов.

Подруга уставилась на нее непонимающим взглядом:

– Майк, ну, вот послушай только сама себя! Ну, что ты такое говоришь? Что значит по залету? Ты ж все-таки не от первого встречного-поперечного *святого духа* залетела, в конце-то концов, правда ведь? А представь, что и вообще нет никакого залета, а просто ты же *могла бы* сейчас выйти за него – ну, просто обстоятельства бы по-другому у вас сложились! Не будешь же ты меня убеждать, что отказалась бы за него выйти, ведь ты же его любишь, хочешь быть с ним, а тем более он уже не раз предлагал! И чего ты не хочешь, я прям не пойму! Тебе же с ним хорошо, во всех отношениях хорошо, ведь правда? Вы же и дня друг без друга прожить не можете, и что, думаешь, я не помню, как ты тут страдала, когда он уезжал? У тебя, Майк, что, вовсе мозги заело с перепугу, так, что ли? Ты ж не дура полная, вообще-то, а?.. Нет, помоему, надо вам пожениться прямо сейчас – даже и не сомневайся, а там уж время покажет!

Она задумалась, потом сказала:

– Ну... ладно. Я еще подумаю. Хотя... Вот еще что... Ведь родители помогать ни за что не станут, а тогда: где жить да и на что? Квартиру снимать – а деньги? И, главное – ребенок...

– Ну, знаешь, как-то ведь все начинают. Ну, трудно будет сначала. Но ведь всем трудно. А мы с мамой, когда они с отцом развелись... Знаешь ли, нам тоже ой как нелегко было! Правда, я тогда уже в первый класс пошла, но все равно трудно. И ничего, выжили, как видишь, хотя, конечно, и сейчас нелегко приходится: я-то учусь еще, а на стипендию, ты же знаешь, особо не разгуляешься. Но это я к тому, что живем же мы вдвоем с мамой на одну ее зарплату да на мою стипендию, ведь у папаши своя семья, ребенок... Ну, что он там подкидывал?.. А как только мне восемнадцать исполнилось – и все, фигушки вам!.. Да, и потом, может, родители твои как-то все же изменят через какое-то время свое отношение? Ну, если у вас все наладится, ребенок появится... Как ты думаешь? Хоть чем-то, но помогут ведь?

Она долго молчала.

– Вряд ли... Ладно, Аленк, подумаем еще, обсудим это, ладно? – Потом с усилием подавила зевок – опять она не выспалась, прошлую ночь, перед посещением врача, опять от страха почти не спала – бросила взгляд на часы и подскочила, как ужаленная: – Ой, слушай, все! Давай я пойду уже, а то поздно, еще кое-что надо сделать...

– Сейчас пойдешь. Только вот послушай, что ведь я сказать-то еще хотела? Это, конечно, простая формальность, но... Знаешь, учти: надо все-таки вам тогда в загс пойти. В конце-то концов, ведь если что не так потом получится – ну, разведешься, да и все – и дело с концом! А у ребенка все же отец какой-никакой будет, а?.. А то, смотри... Знаешь, вот Люська Гордеева... Ну ты помнишь ее... Так вот, недавно пошла она получать пособие на свою Машку, а ей из очереди как заорут: «А ты не лезь раньше нас, и вообще иди подальше и молчи в тряпочку со своей *пятирублевой*...» Ты что, тоже так хочешь?

Их бывшая одноклассница полгода назад родила без мужа дочь Машку и теперь получала на нее ежемесячное пособие от государства.

– Ох, вот не нравится мне, когда ты так говоришь! – обозлилась она на Аленку. – И вообще я, знаешь, совсем не люблю, когда со мной таким тоном разговаривают.

Аленка вдруг захихикала:

– А как это твоя бабушка-то говорит в таких случаях, это ты помнишь? Не люби – да почаще взглядывай!

Очень похоже изобразила!

Она тоже засмеялась.

Но это был смех сквозь слезы.

## Много лет назад. Она...

Смех сквозь слезы.

С родителями – это следующий вопрос. Когда она уже скажет Олежке. Придется сообщить отцу, а он столько раз предупреждал ее: «Молю тебя – не иди дальше поцелуев!» И маме, а она слышать о нем ничего не желает: «Что?! Этот работяга! Да он хоть два слова-то связать нормально может?!»

Словом, она заранее знала все, что скажут ей родители.

Так и случилось – до последнего слова.

– Ну, и зачем тебе это понадобилось, скажи? Ну, почему ты постоянно во что-нибудь *вдрыюпяиваешься*? Ведь он простой работяга – *ра-бо-тя-га*, понимаешь ты это или нет? – ничемный, убогий, примитивный, никому не интересный, и в тюрьме уже успел побывать, да еще и алкоголик в придачу. Он хотя бы школу-то окончил?! Чем он вообще может быть тебе интересен, я не понимаю? О чем с ним можно говорить? Нет, ну, вот можешь ты мне объяснить, что ты в нем такое нашла, а? – не могла успокоиться, недоумевала мама.

Она перевела дух и продолжила:

– Да если бы я в твоём возрасте ... так себя повела, мои родители, нет, я даже не представляю, что бы они со мной сделали! Мне и в голову такое прийти не могло... такое поведение! А ты... Вбила ты себе в голову какую-то блажь – а теперь что наделала? Ты хоть подумала, во что может вылиться такое твоё поведение? В общем, короче говоря, у меня просто руки чешутся, а уж насчет него... Ладно, теперь придется думать, что предпринять. В общем, мне все понятно. А этот... Я не хочу причинять ему неприятностей, бог с ним, пусть уже идет дальше своим путем – но о нем я и слышать больше ничего не хочу!

Да. Железная логика.

И все-таки – как жалко маму! У нее и так хватает проблем... Командировки – в ту же Чехословакию, да еще сразу после того, как вызывавшие ужас в Европе тяжеловесные советские танки пропахали, исчертили, исполосовали своими гусеницами глубокие борозды на мостовых Праги.

.. Ей часто вспоминался день вторжения советских танков в Чехословакию – 21 августа. Они с мамой отдыхали тогда в Эстонии, зашли в какое-то кафе в Тарту, и официантка, подавая им кофе, спросила с ужасом и презрением:

– Вы, *советские*, на нас тоже нападете, вы нас тоже своими танками давить станете? И что же, война теперь начнется?

Что тут ответишь?..

И упал тогда свинцовый день, и придавил всей своей тысячетонной тяжестью... Возникло вдруг такое ощущение, будто все рушится вокруг или что сгустились тучи и вот-вот случится непоправимое.

Позор. Бессилие. Безднадежность.

Страшно. Стыдно за страну. Унизительно.

А еще у мамы подготовка докторской диссертации, вечная борьба в идеологических ведомствах, суровая необходимость зарабатывать на жизнь, да еще новая семья. Мама звонила несколько раз в день, но можно ли понять друг друга, разговаривая по телефону? Да, приезжала она очень часто, но всегда была так озабочена, так занята, торопилась... Усталая, задерганная. Ее большие красивые сине-серые глаза потускнели, как-то потухли и сузились еще сильнее. Вечно не хватало времени... А некоторые вещи она просто не хотела замечать.

Ну, не хватало у нее ни времени, ни сил вникнуть, поговорить, понять, простить за то, что ее дочь не такая, как она. Не внешне – внешне-то как раз похожа. Маме казалось, что любовь

дочери – это полудетское чудачество, простое упрямство, и только. Просто дочь убедила себя, вбила себе в голову – и что же теперь?

Мама всегда была для нее эталоном. Ей нравилось в маме все: и решительность, и энергия, и умение принимать решения. Она умела жестко отсекал то, что ей не нравилось – этого просто не существует, и конец делу! Мама никогда не будет колебаться, если уж что-то решила – отрежет раз и навсегда! Конечно, так легче, но понять этого она никак не могла: ведь в мире существуют и полутона...

Так что мать и дочь не очень понимали друг друга.

И были вещи, которые мама считала излишним или даже неприличным обсуждать. Мама была такая сдержанная – и в словах, а часто и в выражении чувств. Такая мамина закрытость иногда обескураживала ее. Что скрывалось за этим? Установки в семье? Жизнь в жестокой, лицемерной системе? Эхо страха на генетическом уровне, в подсознании?

Иногда ей казалось: родители, особенно, мама, но бывало, что и отец, воспринимали ее жизнь лишь как неотъемлемую часть их жизни, словно не могли свыкнуться с мыслью, что эта жизнь у нее *своя собственная*, отдельная... Может быть, они считали, что в этой своей жизни она немедленно во что-нибудь *вдрюпается*?

– Да все я понимаю, все. Не надо уж из меня делать-то... меня изображать каким-то монстром. Ну да, конечно, знаю: он способен на сильное чувство и к тебе, насколько я понимаю, относится серьезно, искренне... Это видно по его поведению. Однако выйти за него замуж ты все равно не можешь. Ну, конечно, ты вольна уйти к нему, пожалуйста, – только куда?

Она хотела что-то сказать, но отец продолжал:

– Может быть, ты не знаешь, но его мать явно не жаждет поселить вас у себя. Мы с твоей матерью однажды уже объяснились с ней по этому поводу – она сказала, что у них вы жить не сможете. Она-то думала, что он поселится у нас – так и сказала. Ну, а здесь он жить не будет: я этого не допущу. Я хотел бы ошибиться, но, по-моему, это очевидно – положиться-то на него нельзя. Эти его *выбрики* постоянные... Неужели ты и дальше будешь их терпеть? Одни его мавританские страсти чего стоят?! Просто какой-то Отелло! И к тому же, согласишься, он все же эгоист! Почему он думает только о себе? А о тебе он разве когда-нибудь думает? И, наконец, все же объясни ты мне, пожалуйста, дорогая моя дочь, как тебе может быть с ним интересно? Вот скажи: он хоть читает что-нибудь, он чем-то интересуется, кроме своих чувств? Ну, вот за что его можно уважать? – пытался понять ее отец.

«Ну да, вот сейчас еще скажет о гордости, о достоинстве! – думала она. – Да, достоинство, да, уважение – без этого нельзя. Но ведь это *мой* выбор! Разве я не имею права выбрать того, кого я люблю! В этом же и состоит свобода. Ну, правда, лучше бы гордиться своей любовью, а он не всегда дает ей такую возможность... Но разве нельзя любить человека просто так: лишь за то, что он *есть на этом свете*, и любить его таким, какой он есть, а не за особые заслуги и достижения? Тогда что же – любовь непременно надо заслужить? Но об этом она никому не говорила».

Может быть, в своей любви к ней Олежка подсознательно стремился проявить лучшие качества: искренность, деликатность, правдолюбие. Ей льстило его романтическое обожание, его меланхолия. И вот уж кто был начисто лишен цинизма, лицемерия, за версту чувствовал фальшь, не переносил приспособленчества, карьеристов, окольных путей! Он был прямой, искренний – он был *настоящий*... Но любовь слепа, а часто и глуха. Она не видела и не понимала, что он не хватает звезд с неба, элементарно невоспитан, груб, у него странные представления о кодексе рыцарской чести, почерпнутые из плохих романов, а среда, в которой он жил, наложила отпечаток на его представления и привычки.

...Молнией сверкнуло воспоминание... Вот она сдала последний экзамен... Выскочила из университета радостная, счастливая, возбужденная... Олежка ждал ее у самого входа, в руках небольшой скромный букет:

– Ну, студентка третьего курса, поздравляю тебя! – И в голосе его звучала гордость за нее. ... Она молчала, ничего сейчас не ответила отцу – все равно убедить его невозможно.

Отец пытался скрыть свое беспокойство, но видно было – встревожен. Потом сделал над собой усилие, потушил тревогу в глазах и с тонким юмором произнес:

– Ладно, Майк, не вешай носа, слышишь? И порадуйся: ведь, слава богу, живешь ты не в Шотландии в XIX веке, и старый суровый отец твой – я, а не мистер Броуди!

Ну, просто в точку! В те дни она как раз зачитывалась «Замком Броуди» Кронина и проливала слезы над судьбой несчастной Мэри, попавшей в такую же беду, как и она, и изгнанной из дома на произвол судьбы своим жестоким отцом.

В те тяжелые дни она металась, не находила себе места.

– Что же мне теперь делать, а, Майк? – спрашивала она любимую университетскую подругу, ее тезку Майю.

Они сидели в университетской столовой – прогуливали какую-то скучную лекцию, ну и надо же было пообедать! А в профессорском зале столовой в этот час было почти пусто, не то, что в их студенческом отсеке.

Она в полном отчаянии снова и снова задавала этот вопрос, и не столько подруге, сколько себе. Все-таки она так долго молчала, носила этот груз в себе, что теперь совсем запуталась. Никогда прежде ей еще не приходилось сталкиваться со столь неразрешимой проблемой.

Любимая подруга размышляла вслух:

– Нет... Зря все-таки так твои родители... А твоя мама очень уж на тебя давит... А то, знаешь, может, все-таки вам и правда пожениться, попробовать, тем более, раз уж так все получилось? Ну, не избавляться же теперь от ребенка!.. Конечно, лучше бы тебе с ним вообще не связываться, с самого начала, но теперь-то уж что говорить... И он от тебя, похоже, не отстанет... Очень уж он привязчивый – точно не отстанет, особенно, когда про ребенка узнает. Конечно, он из другой семьи, не такой, как у тебя, очень простой, ясно, что он не подарок и тебе бы лучше кто-нибудь другой подошел, ну, хоть тот же Игорь из нашей группы – он, кстати, на тебя давно глаз положил, по-моему... И потом, у него, у Олежки, то есть, бывают такие *закидоны*! Но, опять же, с другой стороны, знаешь ли, а у кого их не бывает, правда? А так-то он вроде бы нормальный, хороший мальчик... Искренний такой, его сразу видно... Конечно, он пьет совершенно неумеренно... Это плохо, да... Но, может, все-таки как-то и сложится все у вас? Вы распишетесь, родится ребенок... И тогда... Кто знает, как ты думаешь?.. А иначе – сама жалеть потом будешь. А?

– Знаешь ли... Вроде бы все так. Но... – возразила она, – ... опять-таки, вот мы, допустим, мы принимаем такое решение – и это будет наш, только наш выбор. Ну ладно, вот, предположим, мы с ним расписываемся, ну, и что дальше-то? На что мы будем жить, ребенка воспитывать?

– Ну, может, родители твои потом все-таки смягчатся, помогут... Хотя бы отец. Ну, а нет, ну так... ведь живут же как-то молодые семьи, еще и труднее им. Ты же сама знаешь, вот, например, Володька Баев с нашего курса. Женился еще на первом курсе – и чего? Нормально: жену и ребенка содержит, учится и работает – и ничего! Цветет и пахнет. А Олежка тоже ведь работает – проживете как-нибудь. Я вокруг себя вижу – иногда, знаешь, такое! А он работает все-таки. Или вот, смотри, а как у меня родители жили? Трех детей вырастили, а мать не работала – и ничего, все живы и более или менее здоровы! Правда, это другие времена были... после войны, да и потом... Но и сейчас, ты же знаешь, мы не очень-то богато живем. Ну, правда, ты к этому не привыкла в своей семье, но знаешь ли... Ну, посмотрите там сами, как, обсудите с ним...

Любимая подруга была на несколько лет старше, хотя они учились в одной группе, и относилась к Олежке снисходительно и даже как-то покровительственно, а ее вообще долгое время воспринимала скорее как свою младшую сестренку.

...Они сидели в маленькой полутемной комнате в квартире Серого. Серый куда-то ненадолго ушел. По делам, сказал. Но ей показалось – почувствовал их настроение, просто оставил вдвоем, не хотел быть лишним, мешать.

– Да... ты не думай... Я ведь что-то такое сразу почувствовал... Цветочек мой... маленькая моя, моя хорошая... Знала бы ты, сколько раз я давал себе клятву не трогать тебя!

– И что теперь делать?

Голос пересох – он ее не слушался.

Олежка обнял ее, поцеловал в губы – осторожно, бережно. И еле слышно, в самое ухо, выдохнул очень нежно:

– Лапонька... Значит, это там, в *ту ночь* в «Московском»... Да?

Она только молча кивнула.

Долго сидели обнявшись. Молчали. Она уткнулась в его джемпер. Стало тихо, уютно и немного легче, но тревога не уходила. Она прочно поселилась в ней.

*Нет больше Страха!  
Мы летим, и Змей  
Не сломил нас —  
мы сильнее,  
мудрей?  
Мудрей?*

– Ну что ж ты так-то?.. Ты подожди, не волнуйся уж... так-то. Ну, сходишь к врачу – и все будет в порядке. А хочешь, я с тобой пойду?

– В каком порядке?

– Ну, тебе врач ведь сказала прийти? Когда – в среду?.. Или, хочешь, лучше давай я хорошего врача найду? У меня, у друга, – у Алика, помнишь, ты его видела, – тетка как раз врач-гинеколог. По-моему, в Первой Градской, в поликлинике работает... Он как-то тут на днях о ней рассказывал... Вот можно будет к ней сходить... на консультацию... посоветоваться...

Она слушала его и не слышала. Молчала. Только росла тревога. Потом явился страх, как незванный гость, ну, вот тот самый, который хуже татарина, вошел в комнату, даже не постучавшись, и плюхнулся – третий лишний – нахально развалившись, между ними на диване. Как бы хорошо выгнать его, вышвырнуть вон из комнаты, из дома, из своей жизни!

Ох, как хотелось закричать: «Я боюсь!»

Как это пела Веслава Дроецка:

*Мой малышка засыпает, но еще не спит...*

Ну, так что же ей все-таки делать с ребенком?

– Господи, что я такое говорю... Совсем не то что-то, – словно услышав ее мысль, сказал он тревожно, дрогнувшим голосом. – Уехать бы нам сейчас отсюда, из Москвы, чтобы быть вместе. Куда угодно, где нас никто не знает... Мы не можем друг без друга... И даже если бы что-то случилось... мы не сможем забыть все это... Правда ведь, ну, скажи?

Она молчала. Не знала, что сказать.

В голове пронеслась мысль: хорошо ему говорить насчет того, что он не сможет ее забыть, но разве сейчас в этом дело? Продолжаться так дальше их отношения уже не могут. Хотя... может быть, ему просто удобнее ни за что не отвечать, да и легче так?

«Конечно. Никаких решений принимать ему не надо», – с отстраненностью и неприязнью подумала она.

– Уехать... Только вот как? И пожениться... Ну, давай поженемся? Хочешь? А давай прямо завтра сходим и подадим заявления, давай?.. Ну, иди ко мне, лапонька моя, Цветочек мой!

Его глаза, голос, руки, объятия... Они стали вкрадчивыми, они обволакивали, затягивали ее в сладострастный водоворот. Но разве она ожидала чего другого? Разочаровал он ее? Нет, конечно... Ведь каким-то внутренним чутьем она уже знала заранее то, что теперь поняла отчетливо: Олежка не сможет принять такое серьезное решение, потому что просто не умеет это делать, да он и не знает, что же нужно, что же можно предпринять. Поддержать, успокоить, согреть – да! Может. А вот решить...

Она начинала осознавать: важнейшее решение в ее жизни – о судьбе их ребенка – придется принимать ей. Или не ей, а ее родителям... И, наверное, если они все-таки будут вместе, то все важные решения в дальнейшем будет принимать не он, а она – она, которая тоже не умела это делать, потому что до сих пор все решали за нее родители.

Что же он мог? Только одно.

Это он и сделал.

Она больше не стеснялась его, не стыдилась ни своей, ни его наготы, как в их первые дни. Прижимаясь к нему всем телом, она чувствовала его каждой клеточкой, наслаждалась его близостью, видела, как он любит ее, как смотрит, лаская, как зарывается лицом в ее волосы, как нежно гладит, дотрагиваясь до ее тела взглядом, руками, губами. От этого взгляда, от этих рук, от этих губ стало жарко. Да... Как это было у Гете? Как молила Маргарита Фауста: ... *нельзя ли без боязни побыть часочек мне с тобой грудь с грудью и душа с душой?*

Жар вдруг полыхнул по щекам, обжег глаза – и их глаза стали еще ярче от любви, от нахлынувшей нежности, от страсти, от подступившего вдруг острого желания принадлежать друг другу, стать единым целым.

Она сбросила одеяло и, глядя ему прямо в глаза, прошептала:

– Иди ко мне...

Он не мог оторвать от нее глаз.

*И смеялась любовь, и пела, и улыбками расцветала,  
И цветы вам дарила, и в венки поцелуи влетала...*

И вдруг, вспомнив что-то, она спохватилась:

– А... Серый не вернется, нет? – только и успела она прошептать еле слышно ему в самое ухо.

– Точно не вернется, не бойся... – ответил он тоже тихо, но очень уверенно.

«Ах, вот как! Все понятно...»

... Они открывали друг друга – заново, снова и снова. И страх отступил, он не стоял между ними. Она больше ничего не боялась.

«Разве так бывает?» – подумалось ей.

– Моя хорошая... Майечка... Моя любимая... Лапа... Маленькая моя... – прерывисто шептал он, не отрывая от нее взгляда, а глаза его вдруг потемнели – такими огромными стали зрачки.

Как-то незаметно, вдруг, сразу он погрузился в ее плоть и, очутившись в ней, то резко, почти грубо поднимаясь и сразу опускаясь, то нежно сливаясь с ней, то быстро, то очень-очень медленно, трепеща от напряжения страсти, нежности, любви задвигался *там* в такт словам. Он то почти выходил из нее, то входил снова и снова, глубоко-глубоко. Потеряв всякое представление о времени, забыв о прошлом, настоящем и об угрожающем бедой будущим, не помня

себя, в каком-то сумасшедшем, отчаянном и одновременно невыразимо нежном экстазе они раскачивались на теплых, почти горячих волнах неистового, исступленного, испепеляющего счастья!.. И снова, и снова, и снова впадали они друг в друга, и снова, и снова растворялись друг в друге... А затем, слившись в единое целое, уплыли опять через темную страстную Воронку в бесконечность.

Багровым пожаром осветилась комната – пожаром страсти на закате, молча смотревшем в окно. А по комнате летали в танце, живя своей отдельной жизнью, надрывные стоны скрипки, страстные вздохи виолончели, фривольное позвякивание колокольчиков, утробный рев трубы. Взрывалась, гремела, громыхла бубном и барабаном Вальпургиева ночь страсти.

– Мы же с тобой оба хотим этого... Ты же знаешь, да? Мы же ведь уже не сможем друг без друга... Я так люблю тебя... Хочу тебя... всегда, постоянно... все время! И ты тоже хочешь этого, я точно знаю. Как же ты хороша! Ты и сама даже не знаешь... – А в ушах ее пела песнь торжествующей любви:

*О, отдайся мне, будь моей вполне<sup>25</sup>...*

Темп их движения друг в друге то убыстрялся, то почти замирал, как в нежном, но страстном танце.

– Это так хорошо... как никогда... Все будет хорошо, конечно... лапонька ты моя, конечно... ведь я так тебя люблю! Люблю тебя по-страшному. И я знаю – ты меня тоже... Не могу без тебя, не оставлю тебя... ни за что!.. Ты моя жена... Хочу теперь *так*... моя хорошая... вот *так*, хорошо тебе?.. да?.. – страстно шептал он. – Атак?.. Еще... еще... еще... Так, милая, вот так... А еще вот так... Пожалуйста, да... да! А теперь давай немножко побыстрее... быстрее!.. быстрее! Да-а, вот... Во-от так... О-о-о! Тебе хорошо, моя лапонька? Ну, скажи, я же знаю, я же чувствую... Да? Как же я чувствую тебя, Цветочек мой... Люблю тебя – всю-всю, каждую клеточку, до последней капельки, до самого доньшка... А ты?.. А теперь давай уже вместе... Ты уже хочешь... да? Сейчас? Да, дааа... ммм... ааа!!!

Весь мир понесся вскачь, потом страстно изогнулся луком, пронзая стрелами наслаждения, полетел ввысь. Весь мир сладостно задрожал. Весь мир счастливо застонал... закричал. Весь мир содрогался, захлебывался, пропадал в нахлынувших бесконечных волнах уносящих в беспомыслие конвульсий.

А звуки музыки нарастали тем сильнее, чем сильнее полыхала страсть, и отливали багрово-красным сиянием. И алые брызги этой музыки летели во все стороны и хохотали от счастья.

Голова кружилась, плыла, а они летели, они падали, падали, туда, в глубину задыхающейся от страсти полыхающей Воронки, а дна все не было – бездонной была Воронка.

---

<sup>25</sup> Гете. Коринфская невеста.

## Без времени. Девочка...

В сложные, решающие моменты жизни девочка смотрела исподлобья на родителей, учителей, даже на подруг – и молчала. Она не умела сказать решительное «Нет!», а потому часто попадала в сложные, а то и двусмысленные ситуации. Ведь ее молчание принимали за согласие.

Особенно трудно было отказать тому, кто проявлял к ней интерес, заботу, искренне пытался понять.

Раскрываться перед посторонними и даже не очень посторонними людьми девочка не умела и не любила. Трудно было представить, какие особые мотивы и силы могли бы ее к этому побудить. Она была замкнута, недоверчива, необщительна. Может быть, поэтому в большой компании ее редко замечали, и она знала, что не умеет быть заводилой, душой общества, лидером.

...Вместо того чтобы готовиться к выпускным экзаменам, девочка достала из ящика стола *потайную* тетрадку, положила ее так, чтобы сразу же прикрыть учебником на случай, если вдруг войдут отец или мама. В тетрадь записывались умные мысли, цитаты из полюбившихся книг, собственные небольшие переводы с английского – рассказы, стихи.

А еще она сочиняла сама – стихи, короткие рассказы и даже маленькие новеллы. Девочка любила создавать что-то свое, о чем, может быть, еще никто не писал – ей казалось, у нее получится. Не очень уверенная в себе, в этом она временами не сомневалась. Правда, потом сомнения все же появлялись...

Наверное, девочка просто еще не научилась, а потому не очень умела и хотела защищать свою идентичность – главное в себе даже от самых близких людей. Как хорошо было бы понять, в чем это главное. И может быть, осознать это *главное* — это и значит счастье?

Воля, умение принять решение и следовать ему, уверенность в своей правоте – все это было совсем не свойственно ей. Уж скорее она могла бы отдаться порыву, но тогда уж и следовать ему, не очень понимая, зачем, с упорством, достойным лучшего применения.

Сегодня девочка продолжила писать то, что начала накануне:

«...Молочно-серого цвета, добрая, чуткая тишина укрыла сказочно удивительный мир мягким ворсистым одеялом, со всех сторон заботливо подоткнула, чтоб не дуло. Под одеялом задвигались смутные тени – послушные спутники душевной летней ночи...

Завтра ночью все повторится сначала.

\* \* \*

Длинная, хорошо знакомая улица стала неузнаваемой. Такая широкая, она оказалась удивительно узкой. Вдвоем не пройти. Коснуться *ЕГО* или отстать?

Лучше отстать.

А вот каверзное слово – взаимоотношения – произнести просто невозможно. Застряло в горле, проклятое. Какое оно колючее, опасное!

Лучше молчать.

На пути небольшая лужа – огромное озеро.

Там, где сухо, пройти нельзя – там *ОН* идет.

Хочется шагнуть прямо в лужу. Но *ОН* мягко берет ее под руку – и лужа, сердитая, большая – огромная! – похожая на Каспий, отступила.

А глаза человеческие, видно, для того и созданы, чтобы выдавать нас.

Лучше не смотреть.

*Все знали: она его ненавидит,  
Не смотрит на него, не хочет видеть  
И считает, что он задавала  
И несостоящий человек.  
Так зачем же бежать от взгляда...*

\* \* \*

А весна в тот год явилась неожиданно быстро – яркая, бесшабашная, – звонко рассмеялась и пощекотала тонкими прохладными пальчиками каждую клеточку человеческого существа. Весна – настоящий подарок после долгой тоскливой зимы, заморозившей человеческие чувства и практически доказавшей, что любовь – вода и при известном охлаждении по неумолимому закону физики переходит в твердое состояние – лед.

В мае, как в картах, ей выпала только длинная дорога – к счастью, а еще большие – огромные! – надежды.

Их первая дорога вдвоем и Любовь вместо Солнца высоко над горизонтом.

Но ведь и холодной зимой, подо льдом, в глубинных водах быстрых горных рек живет веселая рыба.

\* \* \*

Была музыка.

И оглушительно синее васильковое небо. Словно разлили на нежно голубой небесной скатерти чернила – целое ведро ярко-синих чернил.

И бешено плясал фонтан. И пел, и струился, и шипел, и гремел, и отчаянно плевался прозрачными струями ледяной воды.

И они стояли в этих свежих брызгах, в этой изумрудами вытканной завеси.

\* \* \*

Идут люди. Шагают.

А может быть, не люди – эльфы?

Да, такие эфемерные неземные существа родом из сказки.

Какая ерунда, что в жизни нет места для сказок! Вот же она, сказка – вот!

Прямо перед глазами.

И солнце – сказка, и дорога, и эти нагруженные сумками призрачные люди – эльфы из сказки. И они – двое в целом мире – это тоже сказка.

А впереди, насколько хватает взгляда, простирается дивный, чарующий мир сказки.

Как же так – никто не видит ее?

\* \* \*

Она шла, неловко балансируя, по самому краю длинной широкой улицы. Если бы железобетонное сердце ЕГО дома умело чувствовать, оно заплакало бы. Горько, безнадежно.

– Что это?!

– Разве вы не знаете? По вечерам в уединенных уголках парка тоскливо кричат бесстыдно обнаженные, взывающие о помощи искренние человеческие чувства.

Жизнь – сказка красивая?

\* \* \*

...На небе уже высыпали звезды, яркие кораблики, летящие в невообразимой высоте. Эти звезды старые, они летели сквозь Вселенную и раньше, когда ее не было еще на свете, и будут так же стремиться в бесконечность и тогда, когда ее уже не будет.

Кто выдумал их?

Вот эта крупная, яркая звезда, летящая, как игрушечный серебряный самолетик, низко, над самым горизонтом – ну, зачем она такая красивая?

Теперь ее не к кому ревновать.

А вот Луна. Она живет миллиард лет. Она старая.

И все же страшно, невообразимо молодая. Как она сама».

Тут девочка отложила ручку, внимательно перечитала написанное, задумалась...

И вдруг перед глазами снова стали быстро разворачиваться сюжеты, отчетливо пропустили образы. Как на переводной картинке!

Она снова схватила ручку и принялась писать.

«Вечер. Белая комната. Белые стены.

*ЕГО* белая рубашка.

Две узкие темные щелочки – *ЕГО* глаза.

А напротив два больших – огромных! – сине-серых лабиринта.

Ее глаза.

– Послушай, а что ты увидела там, в углу? И почему на меня совсем не смотришь? Чего ты боишься?

«*А море, а море целуется с Луною...*» — пела ее душа словами популярной песни.

\* \* \*

...В прозрачном осеннем воздухе невесело кружила хоровод компания желтых, оранжевых, красных, коричневых, рыжих листьев. Один за другим, они мягко шлепались на землю, промокшую от горьких слез дождя.

Вот небольшой рыжеватый Листок нежно обнял выгнутую пушистую спинку вышедшего на прогулку серого Котенка.

– Здравствуйте! – приветствовал Котенок своего нечаянного товарища. Ведь одному на промозглой дождливой улице так скучно и неуютно! И вообще, он был вежлив и очень хорошо воспитан.

– Привет! – весело ответил ему Листок. У него сразу исправилось настроение: от такого соседства обоим стало гораздо теплее.

– А знаешь, я промочил себе лапы, – пожаловался Котенок.

– Сейчас попробую тебя согреть, – тут же решил Листок, который по своей натуре всегда был готов поддержать ближнего.

Но налетел зловредный ледяной Ветер-мерзавец, злобно захохотал, загремел, взмахнул широкими черно-серыми крыльями, дунул, подхватил Листок и унес куда-то далеко-далеко, изо всех сил швыряя и подбрасывая его, такого маленького, сморщенного и слишком доброго.

Листка больше не было.

Безутешный серенький Дождь, напуганный безнадежным завыванием Ветра, заплакал еще сильнее. Дождь, конечно, стыдился своих слез – он же взрослый! – и все же тихо плакал, украдкой оглядываясь по сторонам и незаметно промокая их широким темно-серым рукавом.

Серый Котенок постоял еще немного под постепенно затихавшим дождем, оглянулся, отряхнулся, потянулся и, поджимая по очереди промокшие лапы, поеживаясь от пронизывающего холода, побрел к своей норе.

Напрасно сизый от холода, простуженный Дождь стеснялся своей слабости: на улице никого не было.

– Что-то похолодало! Ну не-ет, я не люблю осень! – возмущенно мяукнул серый Котенок обращаясь к самому себе. – Потому что я промочил лапы и промок до нитки!

Он и не вспомнил о своем рыжем защитнике – только идти теперь стало намного холоднее. Но, может быть, просто приближается зима?»

В этом месте девочка горестно вздохнула, отложила исписанную страницу, нервно покусала кончик ручки. Немного подумала – и снова принялась писать – быстро-быстро.

\* \* \*

«Долго, мучительно умирало мудрое старое Дерево, раненное ударом молнии. Крупные слезы-капли черной смолы медленно скатывались из темных измученных глаз-дупел.

Обыкновенные жители нашей родной Земли, мы нечасто путешествуем по ее аквамариновым, серым, иногда зеленым с желтыми солнышками лабиринтам. А смерть наших глубинных рыб и вовсе не замечаем.

\* \* \*

Это было бы так.

По невообразимо синим волнам Любви ее прибило к большому – огромному! – острову Счастья. Теплыми, золотистыми, не слишком жаркими днями ее ласкало оранжевое Солнце Победы, синими вечерами оглушительно серебряная Луна Покоя убаюкивала в тихой теплой колыбели Семьи, а ребячливый лепет ласкового голубого моря Забвения отгонял дурные обнаженные сны суровой Жизни.

Это – было бы так.

\* \* \*

...Длинная, хорошо знакомая улица стала вдруг неузнаваемой. Такая узкая, она оказалась удивительно широкой. А впереди, насколько хватало взгляда, простирался дивный, чарующий мир.

Кто это выдумал сказки?

Зачем они? Да их и нет.

Где эльфы? Посмотри хорошенько – и эльфов нет!

По улице снуют нагруженные сумками усталые люди. Утром люди спешат на работу, вечером – домой. Извечный круговорот жизни.

И будь уверена: им ты не кажешься эльфом.

\* \* \*

Это было так.

Они стояли на шумном перекрестке. Он размахивал руками, едва не задев проходивших мимо людей, и что-то доказывал ей. Кажется, он говорил: ему трудно... он ненавидит весь мир...

Ей было безумно трудно, она была готова ненавидеть 33 мира...

Одно она знала: не сможет простить того, что вот стоят они на шумном перекрестке и никак не могут разойтись.

*Это – было так...»*

## Много лет назад. Она...

*Это – было так...*

Старая городская больница... Огромная палата, высоченные потолки, лысые стены, много-много больничных кроватей. Наступил поздний вечер. Потом пришла непроглядная черная ночь конца октября. Бездонная пропасть, крошечная черная тьма египетская – или, может, не египетская? А, в общем-то, черт ее знает, какая она там бывает из себя, эта тьма египетская! Тьма-тьмущая, без проблеска, без звука.

Бессонная ночь. Мрак. Беспросветная мертвая ночь без конца и без начала. Обручальное кольцо мрака.

Оглушительно гулкий коридор... Темно. Только в конце его горит на столике у задремавшей дежурной медсестры неяркая лампочка. Тихо. Только пронзительно кричит ночная тишина. Тихо. Только крадучись, бесшумно, в больничных мягких тапочках, подбирается тревога, садится рядом, беззастенчиво обнимает за плечи, нахально заглядывает в глаза, заводит с ней тягостный бессмысленный разговор, грозит своим длинным тощим указательным пальцем. Тихо шурша по больничному линолеуму и предостерегающе шипя, как переполненная ядом змея, готовая сделать внезапный бросок и ужалить, подползает страх. Со всех сторон неясными, расплывчатыми тенями окружают сомнения, толкаются, жарко дышат прямо в лицо, что-то горячо шепчут, отпихивая, перебивая друг друга... Шаркая больничными тапочками, изматывает, протягивает к ней тощие трясущиеся от страха руки, точно прося о чем-то, неизвестность...

Мысли толкались, носились наперегонки, гонялись друг за другом, затеяли безумный хоровод.

Нет. Так надо. Надо через это пройти, надо просто это пережить, и так будет лучше для всех. Иначе невозможно жить дальше.

Да, все правильно. Так и будет. Да. Она так решила. Это *ее* решение. Ее решение? Ну да... Да! А чье же еще?

Да, потому что они сейчас не могут... Ну, никак не может она сейчас выйти за него замуж. И в ближайшие несколько лет тоже, наверное, не сможет. Но тогда и ребенок не может, не должен появиться на свет... Значит, надо от *него* избавиться.

Да! Это самое логичное, *рациональное* решение.

Нет... Все-таки страшно то, что будет. Неизвестность страшит. Впрочем, она, конечно же, не первая и не последняя, кому пришлось прийти в больницу, чтобы избавиться от ребенка. Вон их сколько – больше десяти женщин – в одной только ее палате! Правда, у нее первая беременность, а это – она читала – большой риск. Но что ж теперь делать?

Нет! Очень страшно... Операция, боль, последствия. И обидно – ну почему это произошло именно с ней, именно на нее свалилось?! А еще стыдно и тяжело... и унижительно. Это ведь так унижительно для женщины!

Ее достоинство было ранено и болело. Словно засевшая глубоко в душе заноза загноилась, стала нарывать – и никак не добрать до нее, не вытащить!

Да! Нет! Она должна быть мужественной! Десять-пятнадцать минут страха, стыда, унижения – и все! А зато она избавится от этого кошмара! И не может она пока... И даже неизвестно вообще, хочет ли?..

И потом, Олечка же все равно, в любом случае, останется с ней. Олечка! Нет, от Олечки она ни за что не откажется! Она тоже умеет за себя постоять! Пусть они все даже и не надеются – она будет всеми силами защищать их любовь, как только сможет!

Нет! Конечно же, все будет хорошо. Просто не может быть иначе. Он изменится, будет держать себя в руках, перестанет пить, ведь он же ей обещал! Они обязательно будут вместе,

потому что так любят друг друга, и все тогда наладится, все *образуется*, а как же может быть иначе? Они обязательно будут вместе, пусть не сейчас, пусть через год, два, три – мысль, которую она всегда приберегала как последнее средство защиты и повторяла эти слова как заклинание.

Да, все так... Вот только зачем же тогда... Зачем тогда она здесь?

Нет, но это же ясно! Они же сейчас пока еще просто не готовы... Она не может... Они не могут... Если вдруг появится *он*... Она пока не готова стать матерью. Может ли она взять на себя такую огромную ответственность, как ребенок? Ведь ей никогда не приходилось это делать! А еще все крутился в голове разговор с Аленкой: «...Вот Люська Гордеева... Пошла она получать пособие на свою Машку, а ей из очереди как заорут: иди подальше и молчи в тряпочку со своей пятирублевой... Ты что, тоже так хочешь?»

Нет! Так она не хочет.

Да. Надо это сделать. И вообще, слишком уж она чувствительна! Зачем делать из мухи слона? Многие поступили бы на ее месте точно так же! Нельзя быть размазней – надо действовать *рационально*!

И вдруг в ночной больничной тишине ей послышалось... Что это? «*Мама, а бывают черные дожди?*..» А, это же «Колыбельная». Так пела Веслава Дроецка в песне о ее малышке-сыне на голубой гибкой пластинке. Или просто в ушах звенит?

*Черный дождь для ее ребенка?*

Нет! Нет! Это же ее первый ребенок. Ребенок от любимого человека! И, в конце концов, *он* тоже уже живой... Наверное...

Неужели она сделает *это*? Как же можно? Это ужасно, этого нельзя, и она этого не делает! Это же противоестественно... запредельно! Она не будет *этого* делать! Как хорошо, что период плохого самочувствия уже прошел – она снова себя отлично чувствует и выглядит даже лучше, чем раньше. Похоже, ей это все на пользу идет... И Олежка ей в последние дни об этом несколько раз уже сказал.

Нет! Нет!! Что она здесь делает? Надо собраться и уйти – немедленно! Нет, конечно, нет, немедленно нельзя, нужно дождаться утра – и все! И она уйдет! Все равно она рано утром уйдет отсюда, и это будет целиком ее решение – только *ее*! Она докажет всем им, что тоже умеет принимать решения! Она как-нибудь справится с *ним*, с малышом, когда он родится, да и Олежка будет рядом: они распишутся и будут всегда вместе, вот и все.

Она убеждала себя в том, что надо так поступить, но в глубине души знала: этого она не сделает.

Стоило ей только подумать о том, что ее ждет утром, как резко перехватывало дыхание, и становилось трудно дышать.

Больно, горько, стыдно. Боль пронизывает. Страх обжигает. Стыд рвет на части. А из темноты только беспощадный черно-серый ветер рвется в окно, заходится весь в стариковском хриплом кашле курильщика, стучит огромным черным кулаком в стекло, да пляшет, дрожит перед затуманенными глазами тонкая призрачная сетка *черного* дождя.

Она закрыла глаза, но легче от этого не стало. Наоборот. Появились и начали беспорядочно сменять друг друга картины упоительной антрацитовый ночи, стонавшей, всхлипывавшей от беспробудного наслаждения. А потом эти картины оттесняли, выталкивали, надвигаясь, сцены из любимого балета «Вальпургиева ночь».

«Как странно», – отрешенно подумала она. Раньше ей казалось, что звонкие колокольчики звенят радостно, нежно – ведь они ласковые, добрые. А оказывается, они коварные, злые, звучат ехидно, насмешливо... Да они просто издеваются!

Отчаяние. Досада. Сожаление. Горечь. Страх, не отпускаявший ни на минуту.

Била наотмашь, пронзала мысль: жизнь обманула. Жизнь подвела.

Да, но...

Нет. Так – надо. Другого выхода нет. И вообще – она не будет делать из мухи слона, нет. Все-таки она чересчур уж чувствительна! Так нельзя. *Дело-то ведь житейское.*

«Да» и «нет» сначала посидели на трубе, потом вволю покатались на огромном чертовом колесе, после чего оба шалуна одновременно спрыгнули, покувыркались и тут же затеяли игру в салочки.

Отчаяние. Досада. Сожаление. Горечь. Страх, не отпускавший ни на минуту.

Вот беда! Ну, как же избавиться от этого проклятого, липкого, унижительного, пронизывающего все ее существо страха? Одолел страх!.. Ну почему она такая трусиха? А еще неотступно преследовало чувство вины – перед родителями, Олежкой, перед собой, перед *ним*.

Темная зимняя ночь. Снежная буря – вон как *завихрило*, небо черно. Но как же так – ведь сегодня же был еще октябрь, дождь, осень?

Время споткнулось и со всего размаху шлепнулось лицом прямо в грязь. Время перестало отсчитывать минуты и секунды – оно сделалось неподвижным, оно остановилось. Воронка страха и неуверенности затягивала ее все глубже.

...Еще оставалась безумная, очень слабая надежда: а вдруг все-таки в последний момент произойдет что-нибудь... ну неизвестно что – и можно будет изменить ужасное решение?

И, конечно, точно в свой срок явилось хмурое бессердечное утро. И опять длинный гулкий коридор. Дверь. От страха ее снова сильно затошнило. В тягостном, полном вязкого первобытного страха, ожидания она присела на самый краешек одного из трех сдвинутых, так что получилась скамейка, стульев, поставленных в коридоре перед этим ужасным местом. Еще немного ожидания на этой шаткой скамейке. Сердце выскакивает из груди, в горле пересохло, руки ледяные, дрожат, ее тошнит, знобит, кружится голова, и кажется, что болит все тело. Безжалостная и унижительная, бьющая по чувству самоуважения и достоинства реальность у порога. Небольшая операционная. Оттуда не доносится ни звука. Тихо. Мертвая тишина. Идет операция.

Все. Конец. Дверь открывается. Медсестра помогает выйти, сопровождает по коридору до палаты, крепко поддерживает под руку предыдущую жертву:

– *Вы дойдете сами или давайте подкатим кресло?*

– *Да, дойду...*

Ой, какой слабый у женщины голос... А лицо у нее бледное, и возраст определить невозможно.

– *Следующая!* Проходите!

А, ну, вот и конец. Решение было принято – захлопнулась клетка! Никуда не денешься. Нож гильотины... Бесповоротно. Все! Это просто жестокий и циничный человеческий конвейер. Врач, хирургическая медсестра. Еще немного страха... но уже другого страха.

Короткий осмотр. Голос врача – густой, полный сил, спокойно-безразличный:

– Так, это будет десять, нет, уже скорее одиннадцать недель... ладно. Да, сейчас, начинаем. Маша, все готово? Давай ей маску...

Потом высокий белый потолок вдруг как-то опасно приблизился, закружился, завертелся, завернулся в большую страшную светящуюся воронку с полыхающими внутри огнями – и жжж-ж... – втянул ее в себя всю...

Вот и все. Вздох облегчения – и пустота.

А под дверью поджидает своей очереди на экзекуцию следующая страдальца. Потом еще, и еще, и еще...

Все, кажется, пронесло! Она лежит в огромной палате. Кроме нее здесь еще более десятка таких же, как она, женщин. Разных, совсем молодых и уже не очень, и без возраста, и совсем, как ей показалось, *поношенных*. Они еще отлеживаются после операции или уже совсем привычно ходят туда-сюда в принесенных из дома халатах, спуют, сидят, полулежат, лежат, спят, болтают, ходят к телефону, звонят каждый час, проверяют, дома ли мужья и чем они там зани-

маются, без жен, и не ускользают ли они от их недремлющего ока, и смотрят ли за детьми, и накормлены ли дети, и сделаны ли уроки у детей. А еще сплетничают, перечисляют признаки, по которым можно узнать совершенно *точно*, не изменяет ли муж и есть ли у него любовница – по тому, как он на тебя смотрит, или не смотрит, и не слишком ли он оживлен и весел, или, наоборот, задумчив, или утомлен... И обсуждают, как лучше его удержать в семье, и как женить на себе любовника или хотя бы подольше удержать его рядом, и спорят насчет наиболее надежных методов предохранения... Ну, чтоб хоть не каждые три месяца залетать, потому что ведь уже надоело сюда попадать – мучение одно и переживание! И потому что:

– Ты поняла, Барышева, ну, сколько уже можно? Ведь ты просто как на работу сюда приходишь. Чтоб больше я тебя здесь не видел, по крайней мере, ближайшние полгода! Не возьму больше – рожай уже, наконец, или иди куда хочешь! – вот как ей врач-то сказал, а куда ты от этого денешься?!

– Ну да, точно! Слушайте, девочки, и ведь знаете, главное, ничего не помогает, – перебила ее другая женщина, лежавшая на кровати в самом углу палаты и листавшая какой-то журнал в яркой обложке. – Вот я, к примеру, два месяца уже по одной немецкой книжке дни считала, считала, и по всему выходило – безопасные несколько дней! Все вроде бы как в книжке сделала. Ведь у нас уже двое детей, и муж-то мой ни фига об этом не думает – ему бы только вперед... А иначе – так он ведь на сторону пойдет. По-моему, у него кто-то уже и есть: нам все звонят по вечерам, и когда я трубку беру, молчат... Дышит она, понимаете?.. Вот гадина!

– Вот, и у меня точно так же, – вступает в разговор еще одна женщина. – Все они одинаковы! Гады... Им бы только свое дело сделать... Мужу-то что, ему лишь бы удовольствие лишний раз получить, он же особо и не думает ни о чем, и ему, конечно, лучше без *резинки-то*, и не ему потом, если что, в больницу на аборт идти... Так ведь, девчонки?

– Ладно, девочки, сейчас еще ничего – хоть с наркозом делают, не то, что еще совсем недавно, по живому ведь раньше драли! – откликается совсем молодая девчонка, сидящая на кровати у самой двери палаты. – Так ничего хотя бы не чувствуешь...

– И ничего ты не знаешь, Аньк, молодая еще! – вставляет реплику ее соседка, не очень уже молодая женщина с унылым и каким-то помятым лицом. – Это только в этой больнице, ну, и еще в нескольких так, а в остальных-то – кошмар, по-прежнему без наркоза делают. Вот поэтому все сюда и стремятся попасть, – назидательно заканчивает она.

– И чего, газа этого им, что ли, жалко, как его там? Не помню... Да ладно, чего там говорить! Так вот, а я... Что я говорила-то, а?.. А, ну, в общем, результат моих экспериментов – вот он, налицо! Опять я сюда попала, уже второй раз в этом году, и значит, врут все в этой книжке. У моего-то, знаете, какая любимая присказка: «*Он пошутил – она надулась*», во как! Ему бы хоть раз сюда попасть! – тяжело вздохнув, заканчивает женщина, читающая иллюстрированный журнал, тяжело поднимается с кровати и идет в коридор звонить мужу.

И еще, и еще шепчутся, рассказывают о своих и чужих мужьях и любовниках, вяжут шапочки и кофточки, вяжут фразы и рассказы...

Хорошо, что уже вечер. Завтра утром, наверное, можно будет уйти домой. Скорее бы! Сейчас она не чувствовала больше ни горечи, ни вины – одно только огромное облегчение. Все! Кончено! И страх тоже как будто ушел, беззвучно затворив за собой дверь и не попрощавшись. Ну и слава Богу! Только вот ее многомерный цветной мир что-то поблек, потерял объем и краски, стал плоским, черно-белым, как старое кино. Ладно еще, хоть не немое. Но это совсем не страшно, только странно, непривычно.

... А за окном снова стояла черная ночь. Шел сильный дождь, стучал по крыше больницы, по жестяному карнизу палаты. Пришла медсестра, погасила в палате свет. Она улетела в сон молниеносно – и так же молниеносно проснулась, словно закрыла и сразу же снова открыла глаза. Это медсестра зажгла свет. Оказывается, уже наступило утро, хотя за окнами черно – просто в конце октября светает поздно. А ночь прошла моментально, будто ее и не было! Боже,

ведь она словно провалилась в какую-то черную дыру, без чувств, без сновидений. Никогда, ни до, ни после того она не засыпала так глубоко, так крепко – вообще перестала ощущать себя.

В палату пришел врач, осмотрел всех и отпустил домой.

Больше нет *ничего*. *Ее* больше нет. Или его? Она так и не узнала. Ребенка, который приехал с ними из совхоза «Московский», уже не было.

«Может быть, так лучше, – утешала она себя. – Очень несуразными были бы у него мать и отец. И вообще... Зачем было делать из мухи слона? Подумаешь, тоже! Дело-то, как говорят, *жизтейское*...»

## Наше время. Я и Она...

Дело житейское.

– А, ты все еще здесь? Ну что ты все заладила: помнишь, помнишь?.. Что тебе еще от меня надо? – я посмотрела на нее с плохо скрываемой неприязнью. Какая же она зануда! От досады я не очень владела собой. Мне было совсем не до вежливости.

– Ты никогда не умела принимать решения! За тебя всегда и все решали родители. И о том, сохранить ребенка или нет, – тоже.

– Но ведь и он тоже не остановил, промолчал. Конечно, так проще, и не надо принимать решения... И ты молчи лучше, а то еще опять будешь упрекать меня в предательстве!

– Скорее слабость... А он... И что, стал бы его кто-нибудь слушать! Даже ты... Ты уже все за всех решила.

– Ну, знаешь! Не тебе меня судить. И потом, а ты что, не помнишь, какое было время? Во-первых, можно было достать в аптеке – или я уже не знаю где! – хоть какие-то надежные контрацептивы? А резиновое изделие номер 4 или 2, или их еще *галошами* называли, ты помнишь? А? Или тебя больше устраивает кружка Эсмарха? Отличная, надежная вещь! Блеск! Только для этого нужно было как можно быстрее оказаться в ванной. Или вот еще эти противозачаточные суппозитории... ну, как же их там... желтые такие, ты не помнишь, как они назывались, нет?

– Скажи спасибо, хоть не цианид ртути! – моментально съязвила она.

– Да ладно, это теперь уже неважно! Зато какие тоже были надежные, просто суперские! – уже открыто издевалась я. – Прямо умереть – не встать! Ну что, перечислять тебе дальше изыски советской фармацевтической промышленности? А, да ладно! Но вообще-то... ну ведь как-то несправедливо же все это! Ведь очень многие мужики вообще никогда ни о чем не думали, считали, что такова уж бабья доля, и пусть женщина об этом думает – вот тетки и попадали туда каждый год, а то еще и по несколько раз в год! Ну, просто уже живого места не оставалось, и опять туда надо – а куда денешься? Бесчеловечная человеческая живодерня. А если в больницу уже не брали – ну, срок там зашкаливает или слишком часто получался внеочередной залет – тогда к шарлатанам шли или в домашних условиях что-то с собой делали, ведь голь на выдумку хитра... И что потом? Ведь статистику смертности от советских людей скрывали!

– Да, я помню, – сухо отреагировала она.

– А как же иначе! Ведь советской Империи нужно было увеличивать рождаемость. А что страдали женщины... Лицемерие и ложь – топкая, засасывающая политика государства, общества, одно слово – трясина, гать! Вот замечательная политика! Все для советского человека! – я вконец обозлилась. – А потом советской власти ведь нужны были налогоплательщики, рабочие, а еще солдаты, чтобы было чем осуществлять интернациональный долг... Ладно, а такое ты представляешь себе: вот приходит незамужняя девчонка к врачу и просит выписать ей, ну скажем, оральные контрацептивы? Ну, вот только вообрази себе на минутку, что бы она тебе на это сказала, врач, а?! У нее же строгие предписания! Это безнравственно – до брака! Нет, только если замужем. Вот если сто лет замужем да еще куча детишек за подол держится – тогда еще куда ни шло! – Тут я снова завелась. – Нет, она тебе объяснит, что беременность необходима и даже полезна для женского организма, а пилюли очень вредны, и от них могут развиваться самые тяжелые заболевания вплоть до онкологических... Так что, дорогие советские женщины, лучше рожайте как можно чаще и не умничайте! И научно-популярные книжонки издавали на эту же тему: в них тоже женщин поучали. Ханжеская мораль, ты что, забыла?

– Да, все так... В этом ты права, – стусевалась она. – Ну что ж, такова была советская мораль...

– А что, сейчас она какая-то другая?! – не сдержавшись, рявкнула я. – Конечно, проявления другие, но все равно... Но и до большевиков в России тоже, похоже, никто особо не заботился о морали ни в обществе, ни в церкви. Вот мне бабушка рассказывала, как вел себя батюшка в их церкви – священник, представляешь? Пил горькую, сквернословил, женщинами, своими прихожанками, увлекался. Его поведение совершенно не вписывалось ни в какие каноны морали. Бабушка еще и песенку тогда спела, которую накануне революции слышала, а бабушка тогда была еще совсем девочка, лет 10–11. Так вот, слова у этой частушки были вроде бы такие: «Поп сидит на алтаре – самогонку гонит!» Там еще что-то было в этом же роде, только я сейчас уже не помню...

– Да уж, это, конечно, не случайно, – через силу улыбнулась она. – И все-таки, послушай... Ну, ведь можно было и замуж за него выйти – он же предлагал? – и родить ребенка или расстаться с ним и все-таки сохранить малыша?

– Ага! *С милым рай и в шалаше, и в советской коммуналке да при муже-алкаше.* Вот! Оценила, какая частушка получилась? Правда, хорошая песня? – ерничала я. – Или – да уж, вообще блестящая перспектива – жизнь себе испортить, а? Ну и, конечно же, страшно! В неполных девятнадцать лет связать себя по рукам и ногам и погрязнуть в грязных пеленках и распашонках – памперсы, как ты помнишь, в Советском Союзе не *водились*, – и в детском крике днем и ночью, и никуда не отойти от ребенка... Учебу пришлось бы бросить, а вот он пить точно бы не бросил! И тогда что? Остаться одной с маленьким ребенком на руках... И все кругом будут это знать и тыкать в тебя пальцем! Вот, девочка из хорошей интеллигентной семьи, и родители вон какие ученые, образованные *интеллигенты*, а она, поглядите-ка, ребеночка нагуляла да и замуж поскорее выскочила, чтобы только *грех прикрыть*, – издевательским тоном произнесла я. – А то ведь ужас-то какой! Незаконнорожденный ребенок! *Байстрюк*, как говорили в простых семьях. Это позор! Это ненормально, это же вопиющее отклонение от нормы! Лучше какая угодно семья, пусть вранье, пускай пьянство и мордобой! На это все закрывали глаза. Ложь, лицемерие кругом, ты что, разве не помнишь?!

– Фи! И не стыдно так говорить? – не выдержала она.

Но я уже закусила удила.

– Вот! И ты, подруга, тоже ханжа, святоша! – интересно, почему вдруг вырвалось это слово, ведь мы с ней никогда не были подругами. – А ты помнишь, какая страна занимала одно из первых, а может, и первое место в мире – не по производству материальных благ и не по рождаемости – по числу абортотворений? Только об этом никто не говорил, ведь тема считалась неприличной, ты ведь это помнишь, да? Эпоха-то какая была – высокоморальная! Ханжеская пуританская мораль во всем, что касается проявлений любви. Что вы, что вы? Об этом говорить неприлично! Не о том думаешь – займись-ка лучше делом! Нормальный советский человек о таких вещах не думает – в первую очередь его должны занимать мысли о Родине, о работе, об учебе и о чем там еще! Вообще, все, связанное с интимной стороной отношений, было табу – а иначе где же наша *нравственность*? Стыдно об этом даже упоминать! Назвать вещи своими именами – ох, это же *не-при-ли-чи-но*! Уж лучше промолчать, сделать вид, что проблемы не существует. Закрывать глаза! В лучшем случае – что? Эвфемизмы. Чтоб никто не догадался. А вот соблудности декорум – это как раз то, что нужно! Вот и выросло, по крайней мере, два лицемерных поколения с ханжеской моралью.

– Ну, в общем-то, да... конечно, – как медленно, как неохотно выдавила она из себя это согласие. – Но только... ведь то, что ты тогда сделала, – это же грех!

– Ах, вот как ты теперь заговорила?! А ты помнишь, что о Боге вообще никто тогда не знал и не думал?! Ни врачи, никто. И представления о том, что человеческий эмбрион с определенного момента – уже живой человек, были не очень-то распространены и на Западе, даже в США, например, а уж у нас-то... Это сегодня я сказала бы: «*Прости...*» А в Советском Союзе – и вдруг христианская мораль? Какая ерунда! За годы советской власти Бога потеряли.

Какой там Бог, когда критическая масса злобы, ненависти в обществе превысила все допустимые пределы! Это сегодня о Боге вдруг резко вспомнили!..

– Ты что это имеешь в виду?

– Сама знаешь, что! Не маленькая! Разве непонятно: все возвращается на круги своя, и вот опять... Ханжество, лицемерие, отчетливый конформизм – только уже на другом уровне. Ладно, все! Я сказала – все! Хватит, надоело! – рявкнула я на нее. – Давай уже закончим этот разговор, устала я объяснять очевидные вещи!

– Очень образно! – съехидничала она, когда пауза уже слегка затянулась. – Но все-таки, ты же ведь могла...

Не дослушав, я перебила ее:

– Ну вот! Сразу и видно, что ты выросла в стране Советов!

– А ты разве нет?

– Но я же ведь тебе не даю никаких советов?!

## Много лет назад. Она...

Они не слушали ничьих советов.

...В ту позднюю осень, почти не имея возможности уединиться, они часто забредали в какое-нибудь кафе, просто чтобы немного побыть в тепле... Иногда ходили в театр, если удавалось достать билеты на интересный спектакль, особенно в «Сатиру» или «Современник», но чаще в кино – «Рекорд», «Алмаз», «Зарядье», «Спорт» – куда-нибудь, лишь бы подальше от дома, чтобы случайно не встретить знакомых. Вместе пересмотрели почти весь тогдашний репертуар: «Начало», «Белорусский вокзал», «Городской романс», «Всего один месяц», французские комедии, две-три слезливых латиноамериканских мелодрамы. Много гуляли в любую погоду – промозглыми темными вечерами, а часто и днем, если она прогуливала лекции в университете, а он работал в вечернюю смену.

Осень – это всегда обреченность. По крайней мере, ей так казалось. Без крыши над головой, бездомные, неприкаянные, они бродили, обнявшись, по набережной, по улицам, по безлюдным тропинкам Нескучного Сада, по мокрым от дождя, тонувшим в желто-красно-коричневом разноцветье опавших листьев дорожкам опустевшего в межсезонье парка Горького. А черные силуэты заснувших на зиму аттракционов, на которых она так любила кататься в детстве, когда родители приводили ее сюда, наблюдали за ними мрачно и высокомерно.

Было уже холодно, вечерами подмораживало. Из рта шел пар – но вместе они не чувствовали холода. Низко, опасно надвигалось, опускалось, давило, а потом улетало ввысь, бежало и снова расплывалось над ними мрачное осеннее небо – сизое, рваное, измазанное, все в грязных, почти черных пятнах туч, словно перепачканная в пыли ребячьей драки шинель гимназиста-второгодника. Они досматривали прямо из первого ряда партера последний акт драмы листопада. Поднимался ветер, и редкие, продрогшие под дождем листья то соединялись в пары и исполняли медленное страстное танго, то собирались в круг и заводили печальный бесконечный хоровод под дождем. А потом листья, еще полуживые, трепещущие на холодном ветру, пытаясь сохранить хоть какие-то остатки достоинства, шлепались на поседевшую от осени и инея траву, на схваченные первым, еще совсем тонким, льдом аллеи парка. Опавшие листья шелестели еле слышно, умоляюще шептали о чем-то, наверное, просили, чтобы на них не наступали, не причиняли им боль. И, наконец, оледеневшие, они намертво прилипали к земле, застывали в лужах, на глазах затягивавшихся мутноватой, как глаза засыпающей рыбы, белесой пленкой льда – и больше уже не издавали ни звука, ни шороха. А голые черные в ноябрьской ночи деревья напоминали мачты и остовы разрушенных кораблей на старых, давно заброшенных скандинавских верфях.

...Они сидели на спинках холодных мокрых скамеек опустевшей набережной Москвы-реки, поставив ноги на ледяные сиденья, и говорили о фильмах, пересказывали друг другу содержание книг, повествовавших, в основном, о верной дружбе и вечной всепобеждающей любви.

А внизу серебрилась, дыша седым паром, река. Она читала ему наизусть свои любимые «Пять страниц» или «Первую любовь» Симонова, он подробно пересказывал содержание какой-нибудь романтической книги, поразившей его, а потом, когда рассказывала она, смотрел на нее, и в глазах его светилось романтическое обожание. А еще – понимание. По крайней мере, ей так казалось.

Иногда они обсуждали события, происходившие в Москве, в стране. Ее, поглощенную своей сумасшедшей любовью, но выросшую в интеллектуальной семье, среди людей, говоривших честно о прошлом и настоящем страны и остального мира, о сути общественных явлений, ее, учившуюся на идеологически *заостренном* факультете, не могли не возмущать фальшь,

лицемерие официальной пропаганды эпохи уважения к карьеристу и приспособленцу. Вызывали протест двойные, тройные стандарты, потемкинские деревни, комсомольская, партийная, комитетская мораль.

... В тот вечер они сидели на скамейке в опустевшем Нескучном Саду.

– Ну вот почему все так ужасно у нас в стране? Почему нас окружают одно лишь хамство и мракобесие, как ты считаешь? Вот, например, сегодня днем, когда мы с тобой зашли в то кафе перекусить... И вчера, когда я в магазин за молоком зашла – лучше бы не заходила! Опять обхамили, все настроение испортили, – уже не в первый раз задавала она Олежке один и тот же вопрос. – А представляешь, вчера у нас было комсомольское собрание курса – и опять!

– А что – опять? – заинтересовался Олежка, придвинувшись к ней.

Он уже привык к тому, что она рассказывала ему последние новости своей студенческой жизни, и даже настаивал на этом.

– Ну, что, что? Снова один наш студент – Сережка Пономарев, толковый, кстати, очень парень и учится почти только на отлично... Да я тебе, по-моему, рассказывала... – со злобой в голосе добавила она.

– Ну, да, я помню, и что с ним такое? – произнес Олежка, еще теснее придвигаясь к ней и нежно прижимая ее к себе. – Ой, слушай, а ты не замерзла, кстати?

Она нетерпеливо помотала головой.

– Ну так и что с ним?.. Нет, постой, так он тебе что, кстати, нравится, что ли? – с неловкой усмешкой спросил он, пытливо заглядывая ей в глаза.

«Странно! Разве я когда-нибудь давала ему повод для ревности, – подумалось ей вдруг. – Тон у него шуточный, но в каждой шутке...»

Он притянул ее к себе, его губы потянулись к ее губам.

– Да подожди ты! – отодвинулась она. Сейчас ей было не до нежностей. – Ну, да, нравится, конечно... Ой, да ладно тебе! – засмеялась она, прочитав ревность в его взгляде. – Я ведь не в том смысле совсем, а просто... Он хороший парень, умный, и ты даже не представляешь себе, какой начитанный. Он, кажется, вообще все на свете знает и обо всем... Так вот, представь себе, так и вlepили ему строгий выговор на собрании! За то, что он в своем докладе на семинаре по истории СССР пытался доказать, что норманнская теория происхождения нашего государства имеет такое же право на существование, как и другие! Ну, ты ведь помнишь, я тебе эту норманнскую теорию излагала на прошлой неделе?

– Ну да, так, что-то в общих чертах... Да, помню. Вот черт! А почему к нему, к этому вашему... ну, к Пономареву-то этому самому вообще привязались, а? Ну, норманны, ну, Рюрик, ну, и что с того? И какая разница вообще-то?

– Да, в общем-то и вправду, разница-то и не очень велика, если так уж посмотреть... Но понимаешь, у нас ведь история – это наука совсем не свободная, а, наоборот, полностью зависит от власти, от политики партии и правительства, и надо изучать историю строго по версии, утвержденной партией, вот так!

– Да... Это... тогда все ясно...

– Ну вот, так и вlepили Сережке нашему строгий выговор с занесением в личное дело. Я-то, конечно, против голосовала, и еще несколько человек – тоже, но большинство... А как же! Ведь демократический централизм и подчинение меньшинства большинству, и комсомольская дисциплина, и вся эта фигня...

– Да... хорошо, что у нас на предприятиях комсомольские собрания бывают редко и как-то такой ерундой не занимаются... Нет, ну, правда же, это, ну, таких вопросов не обсуждают. А все больше производственные проблемы и, там, кто в передовиках, а кто... это самое... отстающий. Вот так больше... Слушай, Майк, ладно тебе расстраиваться-то! И вообще, пойдем уже, что ли, а то до «Рекорда» еще добираться через мост надо, и никак туда не доехать, –

тут он посмотрел на часы. – Слушай, пора! Полчаса как минимум, не меньше, иди-то, если, конечно, не бежать. Пошли, а то мы так и на сеанс опоздаем.

Когда они уже сидели в фойе кинотеатра, ожидая, пока суровая и неприступная контролерша пустит зрителей в зал, – благодаря Олежке, который, в отличие от нее, приходил всегда вовремя, они вошли в кинотеатр задолго до начала фильма и даже еще успели зайти в буфет, – она вдруг сказала задумчиво:

– Да, а Сережке нашему даже еще повезло!

– Ну ничего себе повезло! В чем это?

– Да ничего ты не понимаешь! Вот если бы другой преподаватель попался, чуть менее либеральный, его и из университета попереть легко могли бы!

– Да ты что?! А разве так может быть – за доклад? – изумился Олежка.

– А вот представь себе! Очень даже запросто может быть – и бывало! Если бы он оказался в семинаре у ... ладно, я не буду называть имен, тебе они все равно ничего не скажут, а я знаю: отец мне рассказывал и мама... И в 60-е годы, знаешь, одного или двоих студентов выгнали прямо с последнего курса университета только за то, что они осмелились написать что-то подобное, и потом они уже доучиться нигде не могли – их просто никуда не брали.

– Я не знал... Ну, ладно, Майк, будет тебе, хорош уже расстраиваться! – сочувственным тоном произнес Олежка, заметив ее печальное лицо и унылый, какой-то потухший взгляд. Потом посмотрел на нее и добавил: – Какая ты сейчас красивая! Ты даже сама не знаешь, какая ты красивая! Всегда, конечно, но сейчас ты вообще какая-то... особенная!

Она смутилась, опустила глаза, пожала плечами:

– Странно... Знаешь, а отец сегодня утром мне как раз сказал, что все мы на любителя... Так что ты, наверное, необъективен в отношении ко мне.

– Твой отец неправ! И потом, вообще, зачем он так говорит? Это же... это самое... ну как бы лучше сказать? Он же занижает самооценку человека – твою самооценку, а это неправильно, по-моему! – Он обнял ее, нежно поцеловал в щеку и, понизив голос, тихо сказал: – Слушай, лапа... А знаешь что? У меня сегодня мать с Толиком уехали в гости к знакомым, и дома только одна бабушка осталась, а она очень рано спать ложится в дальней комнате... Давай после кино заедем ко мне, а? Ну, хоть ненадолго, давай? Побыли бы с тобой совсем-совсем одни, совсем наедине... У нас это так редко бывает. Так хочется почувствовать тебя совсем рядом, близко-близко... Вот бы здорово, правда? А то, знаешь, я так соскучился по тебе... Просто хочется почувствовать тебя рядом. Мы ведь совсем не бываем вдвоем. ...А тебе хотелось бы? А может, ты могла бы и остаться у меня сегодня?

– Нет. И знаешь что... Будет уже поздно... Нет, не смогу я сегодня.

– Ну, хоть только на один часик заедем, ладно?

– Нет... Не могу. Я обещала отцу, что вернусь не очень поздно... Подожди еще немного, ладно? – и она посмотрела на него нежным взглядом, который говорил больше, чем любые слова.

Олежка подавленно замолчал, надулся, смотрел куда-то в сторону.

– Ах, да! – вспомнила вдруг она. – Слушай, я тут принесла тебе кое-что прочитать. Это я переписала из... ну в общем, из одного издания... Так, небольшое сочинение.

– Что ты принесла? – его голос прозвучал глухо: он пытался не показать своей обиды.

– Да так ... Тут, кое-что... Ну, кусочек статьи... это все о нашем комсомольском задоре, о лозунгах, о лицемерии... Перепев лозунгов и нашей песенной классики – ну, в общем, что-то в этом роде. Пародия на нашу действительность. Это не очень большой текст... На вот, прочти, ты успеешь, этот опус небольшой, и все равно еще пока время до сеанса есть, а мне интересно твое мнение.

– Так о чем это? – заинтересовался он.

– Понимаешь, мне это понравилось, – тихо сказала она. – Ну ты же и сам помнишь все эти поучения, и как в школе нам говорили: «Я, я! Нечего тут якать, я – это последняя буква в алфавите!» Нет, ты помнишь?

– Да я как-то... на это все особого внимания не обращал...

Она дала ему несколько плотно исписанных ее крупным четким почерком листочков.

### *Орлята учатся летать*<sup>26</sup>

*Орлята учатся летать!* Но крылья в неволе только мешают. Дети рабочих жили, учились, закалялись, как сталь, и, главное, боролись в точности так, как и завещал им великий Ленин, как учила их Коммунистическая партия. Уже третье поколение борцов за святую свободу чистило себя *под* Вождем. *Всегда будь готов!* Убежденные в том, что, если надо, значит – надо, и недобрым метелям недолго осталось кружиться, вечно молодые ребята *семидесятой широты*<sup>27</sup> следовали за партией и энергично шагали по дорогам, которые в детстве прошли, и по тем, по которым пройти предстоит. Они славили Родину делами, строили города одной смелостью, проходили сквозь шторм и дым, и сквозь метели, бушевавшие рядом, давали отпор душителям всех пламенных идей. Дни и ночи взвивались жаркими кострами, достигавшими небес. Дети Галактики будили утро голосами, пели, как дети, и не было для них преград ни на море, ни на суше, и не были им страшны льды и облака, и переделали они за годы дела столетий, и проносили повсюду пламя души своей.

Ура! Бурные, продолжительные аплодисменты.

Мечтатели и герои видели небо голубым, растапливали льды и выращивали сады – раз так надо! День за днем шли года, и возникали зори новых поколений. Прекрасною речью о правде своей заявляя, юность мира поднимала красное знамя борьбы за рабочее дело, шла радостным шагом, с песней весёлой и не расставалась с нею до победного края. Комсомольцы-добровольцы торжественно обещали и выступали всегда «за», смело шагали вперед и вперед и неуклонно приближались к эре светлых годов. Кипучее, могучее, крикливое и никем непобедимое будущее человечества возводило все новые и новые коммунистические рубежи и кумачовую социалистическую мораль строителей коммунизма, пело торжествующую песнь о вечном социалистическом *рае*, где каждый может стать моложе, потому что там его тело и душа вечно молоды, потому что, как сталь, закаляются. Главное, ребята, сердцем не стареть! Но поскольку вместо сердца был у них пламенный мотор, то именно сердце быстро старело и черствело.

Шагая вперед, попевая всюду вовремя, взбираясь по дорогам крутым и не разбирая дороги, – вероятно, потому, что молодым везде у нас дорога, – наше комсомольское племя *целеустремилось* к сияющим вершинам коммунистического рая. Они были всегда на правильном пути, и хороша была их дорога.

...А вы и правда так думаете или так положено думать?

Нет! Так *позволено* думать.

Кумачовый энтузиазм миллионов! Кумачовая мораль комсомольских вожakov-конформистов, нормой для которых стали цинизм и насмешки над чувствами. Семейная мораль – когда лучше за кого попало выйти замуж, чем стать матерью-одиночкой, или вступить в брак ради прописки в Москве и теплого местечка в рядах комсомольской, затем партийной элиты.

Лицемерие семьи – образцово-показательной ячейки социалистического общества – стало зеркальным отражением советского режима. Что?! Ах, ты не хочешь жить, как положено, в семье? Хочешь разводиться? Ну, что ж, голубчик, тогда не взыщи! Милости просим в армию

---

<sup>26</sup> Николай Добронравов. «Орлята учатся летать».

<sup>27</sup> Ребята семидесятой широты. Стихи: Леонид Лучкин. Музыка: Станислав Пожлаков.

– послужи-ка Родине, а после того о возвращении на свое теплое местечко даже и не мечтай! Будешь теперь жить как все! А нечего было высовываться!

Мысли, одежда, любовь, карьера по стереотипу – жизнь по стереотипу... Стереотип и статус, то есть принадлежность к касте избранных.

*Эй, товарищи, большие жизни! Ведь песню дружбы запевают молодежь<sup>28</sup>, а песню, что задумали, нужно до конца допеть. В соответствии с доброй традицией комсомольской семьи, прежде думая о себе, а потом уж о Родине, патриотически настроенные брежневские соколы устремлялись все выше и выше, и выше. С песней веселой они с легкостью взлетали выше небес – на покорение Пика Коммунизма, на ослепительные вершины коммунистического Завтра, побеждая города и веси одной лишь отвагой и смелостью. Солнце обжигало их золотыми лучами, зато утро встречало прохладой, а ветер освежал голову и грудь, так что ничего! Повторяя очерствевшими сердцами заученной клятвы слова, шаркуны и поддакивающие попевали повсюду, не задерживались, шагали, одетые в белую или, в крайнем случае, нежно-голубую рубашку, пиджак, галстук – все это итальянского или французского производства, – а также непременно в супермодные американские джинсы раскрученной марки из США.*

Униформа комсомольского вожака – острый дефицит советского рая изобилия – джинсы-фирма, ни в коем случае не ниже *Lee, Levis, Wrangler*, а еще пыжиковая шапка, дубленка – все это из «сотки» или из командировки в дальние вожделенные страны. Упаковку комсомольского вожака завершал обязательный комсомольский значок с изображением всегда живого, вечно молодого и вечно находившегося на груди, у самого сердца, вождя, потому что на всем пути большим и в каждом деле никто и никогда не забывал имя такого молодого».

– Да... – медленно произнес Олежка, внимательно почтав текст, – здорово написано! Очень образно, и слова из песен узнаешь сразу., ну, или почти сразу.

– Да? Ну, я рада, что тебе было интересно... Ладно, тогда вот, посмотри еще один кусочек. Вот это я написала сама – совсем маленький отрывок. Еще даже не знаю, что с ним делать. Знаешь, ведь я раньше много писала, а в последний год-полтора бросила... Зря, наверное. Мне и отец говорил – напрасно ничего не пишешь. А теперь – вероятно, слишком долго молчала...

Олежка взял листок и погрузился в чтение.

«Молодая кровь проливалась зарю на востоке, и, как один, комсомольская рать равняла строй, выпятив евразийскую грудь и вознамерившись много стран (они не знали, сколько) еще покорять. Готовые обойти полсвета, вождей повторяя имена, поднимая знамя за священные свои права и зная, что *эту песню не задушишь, не убьешь*, потомки хана Мамаю отправлялись в престижные капиталистические *загранки*. Комсомольцы-добровольцы уезжали не на гражданскую войну и даже не в какую-нибудь непрестижную шестнадцатую союзную республику Болгарию – *курица не птица, Болгария не заграница*). – а как минимум, в Югославию, но чаще всего стремились попасть во Францию, Италию – в общем, туда, где царит вечная весна. Молодые хозяева земли выковывали в себе и в других бойцовский характер и воспитывали комсомольские качества, шли напролом и торжественно обещали: «Не расстанусь с комсомолом!»

Трижды ура! Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают.

Это было существование в вязком режиме всеобщей серости, в полусонном мире грез, где главное было – не высовываться. А как же иначе? Инициатива наказуема.

«Ты что, самый *умный* тут выискался?»

Их поколение было – или казалось? – вялым, безынициативным (не считая, конечно, комсомольских вожаков), особенно в сравнении с Шестидесятниками... Может быть, потому, что после воцарения Зубров на заоблачной верхотуре власти молодое поколение, особенно, молодые гуманитарии с высшим образованием, могли проявить себя, сделать карьеру только

<sup>28</sup> Гимн демократической молодежи. Музыка: А. Новиков. Слова: Л. Ошанин.

через битье челом в комсомоле, затем в партии и далее – вперед, в Коммуне остановка. Через воинствующий фальшивый пиджачно-галстучный ура-патриотизм. Через стремление влиться в *Систему*, когда шли по головам, и, чтобы стать умом, честью и совестью нашей эпохи, забывали о достоинстве и цинично засовывали, как галстук в карман после посещения высокого кабинета, куда-нибудь подальше собственную совесть. Через навязываемый человеку *родной коллектив*. Личность восставала против этого марша в ногу в строю, равнения *на-пра-во!* Через конформизм, притворство, двоемыслие; через карьеру в комсомоле, партии, в органах госбезопасности.

Но возможно ли было подняться вверх по комсомольской и партийной лестнице – и не потерять уважения к себе, достоинство, не раскрошить, не расплескать себя, сохранить свое «Я»?

Чтобы жить спокойно, надо было постоянно идти на компромиссы. Но инакомыслие не могло молчать и всеми силами утверждало уважение к человеческой Личности, потому что нельзя было так жить, и оно не могло и не хотело так жить».

– Молодец! А ты, оказывается, здорово пишешь – и как все узнаваемо! – похвалил ее Олежка, складывая листок. – Просто наше время – как живое, – тут он сделал паузу. – Только вот, знаешь что, этого ни за что не напечатают, хоть умри! А еще и неприятности себе на голову схлопочешь: уж если вашего Сергея за норманнскую так...

– Знаешь, мне всегда нравилось писать, сочинять, и мне кажется – у меня получается. Но я очень долго ничего не писала, и вот теперь... Ведь правда же, надоели эти рамки, в которые нас запихивают, когда главное – это быть, как все, не высовываться! А об этом писать и интересно, и нужно, по-моему, и нечего бояться, ну, сколько можно бояться? Как я устала от этого страха!.. Хотя, конечно, я все понимаю – насчет того, чтобы напечатать...

– Ну, не напечатают тебя – и все дела, – с некоторым раздражением в голосе сказал Олежка. – И в университете, наверное, тоже лучше все это не показывать. Чего ты добьешься?.. Да нет, я не к тому, что боюсь, но ведь без толку же это все! Да, а кстати, чего ты боишься, что за страх?

– Но как же... – начала она, но в этот момент оглушительно прозвенел звонок, и билетерша открыла дверь в зрительный зал.

Конечно, события в стране задевали, затрагивали и их, растворившихся друг в друге. Но все-таки брежневская эпоха была для нее эпохой Олежки. Такие вот страсти в эпоху застоя. А иногда ей казалось, что Воронка бесконечности была еще и неосознанной безнадежной попыткой уйти, избавиться от окружающей их реальности. Что это было – дар? Проклятие? Кто знает.

Это был ее настоящий – наивный иллюзорный мир, в котором оставались только они двое, одни на белом свете, только они с Олежкой. Как там уютно, спокойно, и жизнь не достает. Нестандартная, больная, отчаянная любовь-Воронка была их цитаделью. Их убежищем. Бунтом против конформизма и декорума общества, страны, семьи. Чтобы уйти от страха, отчаяния, всего-то и надо было оказаться внутри этой сумасшедшей от счастья Воронки – вместе.

## Много лет назад. Я...

...Редкие, урывками, короткие – всего на какой-нибудь час, полтора – встречи с Олежкой наедине, у Серого или у него дома. Большая тоска по нему в те беспросветные дни и пронзительные вечера, с переливающимся через края одиночеством, когда его не было рядом. *«Раскаленный ветер одиночества»* — прочла я в одном эмигрантском стихотворении. Что поделаешь, если сплелась с ним... Только бы почувствовать его близко, услышать его голос!

Если бы тогда были уже придуманы мобильники!

В любую погоду, а уже наступили серые непроглядные дни поздней осени или начала зимы – разве разберешь! – продувал насквозь, до костей, ледяной пронзительный ветер, сыпалась с неба колючая снежная крупа, – я почти каждый вечер бегала звонить на улицу к телефону-автомату. Большинство телефонов в квартале не работало, стекла были выбиты, двери будок проржавели и вообще не открывались или не закрывались, а около кабины непременно образовывалась непролазная грязь... Потом подмораживало, и трудно было подобраться к телефону и не поскользнуться, не упасть. Дверь телефонной будки невыносимо скрежетала, упорно не желая закрываться, когда кто-нибудь пытался прикрыть ее, чтобы спокойно поговорить в тишине. В кабине мерзко воняло – опять кто-то нагадил, только бы не вляпаться в темноте! Хорошо еще, если ничего не было сломано, искорежено и в будке или около нее имелось хоть какое-то освещение, – тогда был шанс набрать номер не вслепую и дозвониться до нужного абонента. Часто диск прокручивался вхолостую или, наоборот, заржавленный, намертво прилипал к аппарату и не желал крутиться, а трубка была оторвана с «мясом».

*Девушка, телефон не работает.*

Если автомат казался исправным, перед ним возникала очередь – небольшая, два-три человека, но как трудно было переждать ее! И все-таки даже исправный аппарат постоянно глотал монеты.

*Девушка, девушки лишней, случайно, не найдется!*

Иногда телефон вовсе не подавал признаков жизни, и приходилось изо всех сил колотить по нему кулаками, стучать, трясти и в ярости, заливаясь слезами, орать на этого изверга, чтобы оживить. А железный десятиглазый истукан только молча смотрел всеми своими глазами, и казалось, – смотрел с издевкой.

Многие желающие позвонить уходили, не добившись результата.

*Девушка, телефон не работает.*

Ах, так?! Как бы не так! Так не будет! Сколько раз удавалось заставить заговорить его голосом неработающий телефон! Непонятно как – но получалось.

Слава телефону-автомату! Какое счастье, что есть на свете телефоны-автоматы!

Во время редких и недолгих встреч приходил страх: больше нельзя было, теряя голову от счастья, без оглядки уплывать в Воронку бесконечности. А его мучили тоска и отчаяние. И его страх: «Ты не бросишь меня? Не бросай меня...» – такие разговоры повторялись все чаще.

Наверное, у каждого человека есть способности, которые проявляются рано или поздно, а иногда рождается талант. Талант изобретателя, художника, сочинителя... А бывает, что человек обладает даром любви, заботы и понимания?

Он был вкрадчивым, деликатным, осторожным и очень нежным, старался лишней раз не говорить о наших отношениях, ничего не выяснять, боялся настаивать даже на более частых свиданиях – он выжидал. Как тонко чувствовал он оттенки моего настроения, какие деликатные слова, выражения ласки, любви находил, чтобы задержать, пусть на четверть часа, на десять минут, – а может быть, удержать. Два-три раза мы принимали решение остаться вместе...

– Майечка, лапа моя, я тебя не отпущу сегодня... Нет. Все. Правда. Я больше тебя никуда не отпущу. – Олечка говорил мягко, тон просительный, обволакивающий, но в голосе проступала решимость. Может быть, не железная, но решимость.

– Но мне же надо... Отец меня ждет. Я не могу остаться.

– Хорошо, давай тогда жить вместе, хочешь? Давай уже так решим, а?

– Но как мы это можем?

– Давай тогда поженимся!

– Но я сначала должна хотя бы поговорить с отцом... с родителями. И потом, вообще... Нельзя же так, сразу..

– Почему?!

Я не могла ответить. Не умела решить. И боялась – неизвестности, его среды, пристрастия к спиртному, его неистовства...

Эту темную глухую промозглую ноябрьскую ночь мы провели вместе, не смыкая глаз, у него дома. Сидели на кухне, пили бесконечный чай с вареньем, потом устроились на диване в проходной комнате. Лежали рядом, остро ощущали близость друг друга, и уже не счастье, а что-то большее переполняло нас... Разговаривали о чем-то отвлеченном. Вспоминались «Пять страниц», где возлюбленные могли часами говорить по ночам о чем-то совсем не постельном... Иногда вдруг от такой невообразимой близости начинала кружиться голова, и слова таяли и исчезали, оставляя после себя только крошечные лужицы.

...И накатывала внезапно, непонятно откуда возникнув, легкая, прозрачная аквамариновая волна прибоев нежности, и качала, и облизывала, ласково дотрагиваясь до нас своим шершавым, но мягким, теплым, уютным языком... Узорчатая, с крошечными пузырьками, шуршала она и кипела вся-вся этими пузырьками... И лопались они, и щекотали. И подхватывала, обволакивала, увлекала ласковая эта прозрачная волна за собой, и несла их неспешно, неведомо, неслышно, незримо, неосязаемо. И журчала она, тащила за собой гальку, тихо-тихо что-то вкрадчиво шептала и дышала то нежно, то страстно... А затем вдруг вслед за ней где-то там внутри, – в душе, сердце, теле – постепенно зарождалась, формировалась, нарастала, набирала силу, грозно надвигалась, высилась, вскипала огромная мутная волна страсти...

И вдруг со всего размаха обрушивалась волна, бурлила, шипела, кипела, пенилась, пузырилась, заливая, сбивала с ног, накрывала с головой, топила... Но сейчас волны страсти были кобальтовыми, как темно-синее майское небо поздним вечером, и разливались, и плескались вокруг них под увлекающие в неведомую даль волшебные звуки *Va Pensiero*<sup>29</sup>. И переполняло одно лишь желание – раствориться друг в друге.

Так, значит, страсть бывает не только багрово-алой?

Была той ночью огромная нежность. Он не позволял страсти утопить нас.

Он берег меня, помнил – пока нельзя.

Что же это такое – счастье? Наверное, это минута. Минута счастья, когда любишь, когда соединяешься с любимым вся-вся, духовно, физически, всем сердцем, когда любимый тебя любит и понимает. Это Воронка, куда бросаешься очертя голову и повторяешь вслед за Генрихом<sup>30</sup>:

*Мгновенье! О, как прекрасно ты, повремени!..*

Хорошо, если эта минута пройдет жизненный круг и вернется, чтобы повториться несколько раз за долгую жизнь. Так камень, пущенный ловкой рукой умельца, прыгает, скачет по воде, оставляя за собой концентрические круги...

---

<sup>29</sup> *Va', pensiero* – *Лети, мысль*. Хор из оперы «Набукко» (1842) Джузеппе Верди.

<sup>30</sup> Доктор Фауст.

Что такое Страх? Часто это путь длиною в жизнь. Страх возникает, когда человек теряет уверенность, уважение к самому себе, когда растоптано его достоинство, когда он одинок, чувствует пустоту, воздушную яму вокруг себя – и падает в Воронку.

Любовь несовместима со страхом. И любовь может победить страх. Иногда одна только минута счастья вырывает с корнем годы страха. Тогда козырная шестерка бьет туза, а одна крошечная, не различимая в траве былинка побеждает матчовый лес.

Лишь под утро мы, совершенно обессиленные, задремали. Но, кажется, не проспали и нескольких минут, как вдруг кто-то заорал истошным, дурным голосом в самое ухо:

*Союз нерушимый республик свободных...*

– Ах, ты, чер-рт! Я же забыл выключить радио! Разбудило теперь тебя, конечно, вот проклятое! – Олежка подпрыгнул, как ужаленный, выскочил из постели и бросился на кухню.

И, правда, мы с вечера забыли выключить приемник, ведь в полночь первая программа, как всегда, прекратила вещать до шести утра, а теперь пришло утро – исполнением Гимна Советского Союза народ страны победившего социализма извещали о встрече с новым днем и готовили к новым великим свершениям. Здравствуй, страна героев, мечтателей, ученых!

А где-то спустя час после исполнения Гимна позвонил отец. Олежка ответил на звонок – и тут же передал мне трубку. Было и страшно, и стыдно услышать голос отца: в первый раз в жизни я не предупредила его даже не о том, что задерживаюсь – о том, что совсем не приду.

– Ну и как прикажешь это понимать? – это все, что он сказал. Без «Здравствуй», «Доброе утро». Голос отца был – нет, не суров, скорее растерян. В голосе бился, виделся, отзывался эхом страх.

– Отец, я не приду... – Мой голос был полон железной решимости. Так говорят, когда еще ничего не решено. Он молчал – слушал. – Я... мы решили остаться... В общем, я пока здесь останусь. Со мной все в порядке. Ты только не волнуйся, пожалуйста...

Отец помолчал. Он знал: одно неверное слово – и... Потом сказал очень жестко, совсем на него не похоже – в голосе звучали металлические нотки:

– Пожалуйста, приходи домой. В любом случае, надо поговорить. И поскорее – я жду. – И положил трубку.

Наверно, это инстинкт подсказал ему верные слова. Теперь я не могла остаться. Это было бы за гранью, *запредельно*, как любил говорить отец. Это было бы предательством. Я не могла так поступить.

Я не могла решиться уйти из дома, ведь сразу прилетал страх, окутывал свинцово-черными крыльями, лишал сил, сковывал по рукам и ногам.

Меня преследовало ощущение, будто две любви – к Олежке и к родителям – сражались на дуэли на пистолетах, с близкого расстояния.

С каждой встречей Олежка все реже шутил, почти не подтрунивал надо мной, как раньше, и все более настойчиво повторял:

– Так нельзя. Мы не можем так, ты пойми... Не уходи, не надо. Не уходи от меня... Не бросай... Ну, пожалуйста. Не уходи сегодня хотя бы... Ну, побудь еще чуточку. Останься... Давай жить вместе, давай поженимся.

Так прошли два месяца. А потом вдруг...

В конце декабря, перед самым Новым годом, собрав все силы, на огромный город двинулась приступом зима. Неприятель-мороз подступил, осадил Москву, как укрепленную цитадель, – и превосходящие силы врага без труда взяли ее бастионы измором, поразили более слабого противника, сковали его леденящей блокадой стужи.

И тогда грохнул, как гром с небес, и упал студеный декабрьский вечер.

А начинался он замечательно. Еще днем, зашло солнце приехал брат отца, дядя Ваня, хороший, веселый простой человек, большой оптимист – мы все нежно любили его и относились к нему с уважением. За обедом он подшучивал над нами, рассказывал забавные, смешные истории о своем прошлом и настоящем. Отец и дядя Ваня редко виделись в последнее время, оба много работали, были очень заняты, а дядя Ваня жил далеко, за городом, и не мог часто приезжать к нам. Мы много смеялись, шутили... Как-то незаметно стемнело. Тихо, на цыпочках, подошел и уселся, как член семьи, уютно подперев голову рукой, рядом с нами за стол – вечер. На улице трещал мороз, а дома – тепло, радостно. Большая уютная комната, полутемно, в углу расплывалось теплое оранжевое пятно торшера... Было хорошо, спокойно. Потом заехала мама...

И ничто не предвещало снежной бури.

## Много лет назад. Она...

Да, вечер грохнул, как гром с небес, – и упал, и придавил, и уничтожил.

Бури не предвещало ничто. Просто декабрьский вечер подожгли по краям. Поднесли зажженную спичку – края тут же побурели, заискрились, задымились, обуглились, стали быстро расплзаться. Изголодавшийся огонь жадно жевал вечер, как исписанный листок рукописи – он ярко вспыхнул, загорелся страшным жарким пламенем... И исчез, оставив после себя горстку пепла.

Длинный, оглушительный звонок в дверь прозвенел неожиданно, и комната вся до краев наполнилась страхом. Ведь час-то уже поздний, а звонок был такой длинный, требовательный, нахальный. В этот момент она подумала: «Что это? Кошмарный сон?»

От дурного сна ведь просыпаются – нет, начинался кошмар наяву. И не в ее силах остановить, прекратить этот кошмар.

По ее застывшему от ужаса лицу, словно она вдруг увидела наливающуюся ядом, раскачивающую надутый страшным капюшоном головой очковую змею (они с Олежкой не так давно долго стояли у террариума в зоопарке, наблюдая за такой змеей), отец моментально понял все, обреченно вздохнул и, молча покачав головой, пошел открывать дверь. Она бросилась следом за ним.

В квартиру, влетел, шумно хлопая огромными черными крыльями, больно задевая ими людей и вмиг накрыв всю квартиру... нет, уже не страх. Ужас. Как в непрекращающемся кошмарном сне – не задуть, не потушить – в приоткрытую дверь, стоя за спиной отца, она увидела Олежку... Он был сильно пьян, шатался, еле на ногах стоял, глаза склеились, к губам намертво прилепилась нелепая бессмысленная улыбка, совсем не похожая на улыбку и до неузнаваемости искажившая черты его лица.

...Она смотрела на него широко открытыми глазами и ощущала, что видит совершенно постороннего человека. А он вдруг, как ей показалось, из последних сил расклеил глаза, сфокусировал взгляд, словно только что очнулся и увидел ее. Хотя, может быть, и нет, не увидел – она не могла понять. На его губах зазмеилась почему-то злобная усмешка. Он глупо ухмылялся, потом засмеялся, но это был странный смех, как будто забулькала, захрюкала и поперхнулась вода в кране перед тем, как она вдруг перестанет идти... Лицо его медленно расплывалось, как жирное масляное пятно на белой скатерти, полустерлось, словно подтаяло по щекам, лбу, подбородку и стало похоже на брикет тающего на тарелке мороженого. Лицо растаяло и потекло со щек, с носа, со лба – стало никаким, а глаза плыли, вернее, лицо казалось вообще безглазым...

Он сильно пошатнулся. «Сейчас упадет, вот так, навзничь или вперед, вниз лицом, прямо через порог в прихожую их квартиры», – подумалось ей. И тут же перед глазами отчетливо, со всеми подробностями, возникла картинка, как это произойдет...

Он сделал попытку что-то сказать, но ничего понять было невозможно; глаза плыли, остекленевшие, вид – неменяемый. Взгляд тупой, бессмысленный – он явно ничего не соображал. Как он вообще дошел сюда? При других обстоятельствах человек, явившийся в таком виде, не мог бы вызвать ничего, кроме омерзения. Но сейчас он внушал ей только ужас.

Потом он сделал видимое усилие и с огромным трудом заставил не слушавшийся язык произнести почти членораздельно какие-то слова – она едва поняла их:

– А ш-што т-тут т-таков-во, а?.. Я приш-шел к люб-би-мой дев-вушке... Имею п-право! Не к в-вам вов-все, а к люб-бимой дев-вушке, п-панятно, а ч-чево, эт-то, нельзя?

Наверно, *это* было обращено к отцу. Однако вряд ли он вообще понимал, что говорил отец, а тот сначала спокойно попросил – она слышала сквозь какой-то непонятный, все нарас-

тающий гул в ушах: «*Пожалуйста, немедленно прекратите пьяный дебош и уходите!*» — а затем жестко, с металлом в голосе потребовал, чтобы он немедленно уходил.

Как медленно вдруг пошло время – оно почти остановилось, стало вязким, тягучим... Она смотрела этот бесконечный ужасный фильм, в котором отсутствовал звук и почти не было действия, словно кто-то прокручивал киноленту в замедленном режиме...

Ну, а потом началось *это*. Кинолента полетела, как в быстрой перемотке – замелькали кадры... Крики, мат, брань, грязные ругательства... Конечно, она уже видела его в нетрезвом состоянии, и даже не раз, и всегда ее это шокировало. Но сегодня она его просто не узнавала. Он вел себя как разъяренное животное, орал что-то невразумительное, непотребное, выкрикивал бессмысленные угрозы, невнятные ругательства непонятно в чей адрес, потому что нельзя было даже разобрать слов... К кому он их обращал? К ее матери? Или к ней? А что, если он начнет распускать руки? Ведь она его не удержит!

Такого она и вообразить не могла и, конечно, не ожидала от него ничего подобного. Словно это был грубый пьяный хам, с которым она никогда в этой жизни не могла бы пересячься даже теоретически, а если бы встретилась, то уж, конечно, обошла бы далеко стороной.

Кошмарный тошнотворный сон без начала и конца... Нет-нет, это больше похоже на... Наверно, так чувствуешь себя в аду.

«Ад, он, наверно, все-таки есть – только не где-то *там*, внизу, а на земле», – вдруг подумалось ей.

В невменяемом состоянии он рвался в квартиру, бился, ломился в дверь, рискуя выломать ее, сорвать с петель, не отпускал палец от дверного звонка... Она вжалась в стену прихожей, да так там и застыла... Стояла неподвижно, тупо глядя прямо перед собой. Если бы это было возможно, она, как гвоздь, совсем ушла бы в стену. Время остановилось.

Мертвым взглядом она смотрела на застывавшее время.

О боже, что же будет? Ведь он сейчас выломает дверь! Так он может поднять руку на кого-нибудь из них! На маму, на отца! Закричать бы! Но голос изменил ей – она не могла произнести ни слова.

– Господи, господи, – молила она, не вслух, конечно, а про себя, хотя никогда до этого не обращалась к Богу. – *Господи, господи, ну, пожалуйста, пожалуйста, ну, пусть только сейчас произойдет чудо...* Пожалуйста, сделай так, чтобы он, наконец, ушел, и пусть это хоть как-нибудь поскорее закончится! Тогда ей уже вообще больше ничего в этой жизни не надо!

Отец крепко держал за руку маму и загораживал собою дверь, стараясь остановить ее, а мама уже была у самой двери, готовая выскочить из квартиры и убить его к *чертовой матери!* Кричала, чтобы этот бандит и алкоголик немедленно убирался вон отсюда и близко сюда больше никогда не подходил, и что сию минуту здесь будет милиция и засадят его в тюрьму, где ему самое место!..

Но едва услышав голос ее матери, он разбушевался еще сильнее. Он выкрикивал ругательства – она и слов таких никогда не слышала.

А она, она словно заледенела... оцепенела... окаменела... застыла на месте от ужаса. Только подумала: «Боже, как стыдно, какой позор! И все соседи, наверно, уже из своих квартир повыскакивали – ведь как интересно, что здесь происходит! Она просто опозорила своих родителей – вот и все. И что теперь делать?»

Но потом и эта мысль куда-то ушла. Она больше ничего не видела вокруг себя. Все пропало, она пропала.

Весь мир погас. Наверное, пришел кто-то огромный, в длинном, до пят, черном пальто и черной шляпе с широкими полями, и потушил свет во всем доме, а, может быть, и во всем свете.

Старый мир закончился и рухнул – вернуться назад было уже невозможно. А время... Что-то случилось со временем. Несомненно, этот вот огромный черный тип в пальто и шляпе

сотворил что-то с часами: испортился часовой механизм в огромном будильнике, тикавшем – она вдруг отчетливо услышала это – с переборами и неправдоподобно громко откуда-то с высоты времени. Часы упали с огромной высоты и разбились вдребезги. А время пошло вспять. Убежало назад или вбок, или в неведомом направлении. Время остановилось. Или, наоборот, полетело? Устремилось к пропасти?.. Она не понимала, но со временем точно что-то случилось...

Нет! Нет!! Этого не может быть! Так в жизни не бывает! Это дурной, кошмарный сон, и этот сон сейчас прекратится. Но кошмар продолжался бесконечно, и произнести она не могла ни слова. Онемела, голос пропал совсем, словно нажал кто-то на выключатель – и отключил звук.

Потом наступила тишина... Ненадолго. Молнией вспыхнула надежда. Ушел?.. Совсем?.. Все на сегодня?.. И вдруг странный звук почему-то из ее комнаты – будто звон, хруст. Да, звук разбитого в ее комнате стекла.

...Участковый милиционер, с очень подходящей ему фамилией Большов – огромный, широкоплечий, объемный, как громоздкий шкаф на даче с постоянно раскрывающимися створками, – немного потоптался у двери. Потом расстегнул пуговицы своей теплой форменной куртки, тяжело топая, подошел, присел напротив. Достал из кармана скомканный, необъятного размера носовой платок, вытер со лба обильный пот, сунул насквозь мокрый платок назад в карман – и сразу занял собою все пространство.

Она пристально, но как-то отстраненно наблюдала за движениями участкового и видела все чересчур отчетливо. Картинки задвигались, сменяя друг друга, в замедленном режиме и были – с чего бы? – маленькими-маленькими, излишне неприятно четкими, а еще отчего-то перевернутыми, словно она смотрела через перевернутое увеличительное стекло...

Участковый говорил терпеливо, спокойно, монотонно – все на одной ноте. Он видел: девушку било в лихорадке.

«М-да, надо же, какая... интеллигентная очень, деликатного обращения требует. С такими нечасто приходится встречаться по фактам хулиганства. И как же это ее только угораздило-то с такой шпаной связаться, прости господи! А сама-то хрупкая, тоненькая, гляди, вот-вот шея переломится, не выдержит этакую густую гриву длинных волос... Волосы-то какие красивые, рыжие, что ли? Нет, не рыжие – золотые! И хорошо, что не рыжие. Рыжие, они все вредные, и лично ему никогда рыжие не нравились, вот! Красивая девушка, да. Оно и понятно – немудрено, что у парня все мозги-то начисто и снесло! А смотрит исподлобья, и все равно видно, какие огромные глаза, синие, и на пол-лица. Губу вон как закусила, почти до крови, а глаза-то не на мокром месте – сухие. Ух, упрямая!»

Участковый открыл папку с документами, которую держал в руках, достал какой-то бланк и стал молча его заполнять. Потом начал говорить – медленно, обстоятельно, *закругленно*:

– Так что вы поймите, от вас ведь тоже зависит... Ну, так вот, я сейчас, это самое, пойду, схожу к нему домой, с ним как следует, как надо, конечно, поговорю, это, так сказать, предупреждение сделаю, и с матерью его тоже поговорю, это конечно, это само собой. Понятное дело, и документик по всей форме составим – привод в милицию. И подпишем, оно конечно. Да, все подпишут, и соседи, там, и, так сказать, кто еще там был свидетелем... Ну вот. Так что и за стекло разбитое они заплатят, это уж конечно. А то ведь мороз-то какой на улице! Как же это так?.. Как он тут набезобразничал, так мы тут с вами, выходит, значит, чего? Мы с вами должны чего-то решить... А то ведь нехорошо выходит. Да, так. Но и вы, конечно, тоже должны и сами понимать... Так что вам, это самое, надо ему твердо сказать: «Ты не приходи сюда больше, не буду я с тобой встречаться». А то, что же это такое получается? Вот вы его ведь сами, так сказать, наверно, провоцируете, сами ему звоните, авансы тут раздаете, так что вот,

конечно, он так и будет приходить, хулиганить здесь... окна бить, а мне вот потом как – разбирайся тут с вами. Ну разве ж это хорошо? Конечно, нехорошо... Ну, так что, скажете ему так?

Она плохо понимала, что он говорил, плохо помнила, что ему отвечала, какие обещания давала.

...Потом спряталась от всех в отцовском кабинете, сидела в полной темноте, пытаюсь унять лихорадочную нервную дрожь – думать не могла ни о чем. Только бил, сотрясал озноб, зубы стучали, зуб на зуб не попадал... А комната перед глазами плыла, качалась, раскачивалась все сильнее, а в голове гремел колокол... Звонил, отбивал слова: «Конец... конец... Такое предательство прощать нельзя! Конец! Это все! Все! Да! Все! Конец!».

Зажженная страстью, она вся полыхала огнем, пока вдруг страшный ветер не раздул пожар до критической точки, – она вспыхнула и сгорела дотла. А после осталась одна. И вошло тогда в комнату, и утвердилось понимание: сегодня вечером она приоткрыла дверь, заглянула в свое будущее... в их общее будущее – и увидела пепелище.

Она раскрошила, расплескала, разлила всю себя – теперь не собрать.

Вот что значит жить в летаргии, с закрытыми глазами!

Это его неистовство, и эта его прямота, и *отчаянность*, и эта ярость!!! И ведь как же ей все это нравилось! А теперь? Да в таком неменяемом состоянии он же мог бы ее избить, покалечить, вообще убить, если бы они поженились и жили бы вместе, в одной квартире! Что она могла бы сделать? Да ничего! У кого она стала бы искать помощи, защиты? Никто не стал бы вмешиваться, как редко кто вмешивается в скандалы между мужем и женой. Да он ведь просто опасен – ну, как же она могла этого не понимать?! А что, если бы она оставила ребенка? Страшно даже представить!.. Да, но ведь зато у нее остался бы *его* ребенок!

А теперь – нет ничего. Только черная пустота.

Страх – перед лицом прошлого, настоящего и будущего – явился снова и встал, как часовой на страже, за приоткрытой дверью. Только любовь – только его любовь, только их любовь – могла бы победить страх.

Но где она – его любовь?

И где она – ее любовь?

И, главное, – где их любовь?

Любить его невозможно, но и не любить не получается – и тоже невозможно.

Любить. Нельзя. Не любить. *Невозможно*.

Это настоящее предательство с его стороны. Он ее предал, как никто никогда не предавал. Она много раз прощала – прощала его неистовство, нерешительность, неумение принять решение. Она прощала ему даже то, чего нельзя было прощать ни за что на свете! Но сегодня... нет! Сегодня вечером он потерял человеческий облик – что уж говорить о достоинстве! И простить такое издевательство – значит тоже потерять достоинство.

Такое прощать нельзя. Он, наверное, думает, она и это стерпит? Ну уж нет! Это запрительно – не может быть ему прощения!

Да, вот уж на этот раз он перешел какую-то черту... Может быть, это и есть та самая точка невозврата, о которой она так много думала? Их любовь порвалась на части – она уже больше никогда не будет прежней.

Что-то сломалось в ней, наконец.

О чем он думал? Теперь он ее потерял!

Потому что любовь к нему – предательство по отношению к отцу и маме.

Да, но... Но как же предать любовь к нему? И если любишь, всегда ли вспоминаешь о достоинстве?.. Как жить дальше – без него?

И не выдержав больше, она заорала – как ей показалось, очень громко, во весь голос, но на самом деле, в себе, про себя, потому что из горла не вырвалось ни звука:

«А *они* все, там, они подумали хоть на минутку обо мне, о том, как мне-то жить дальше – без него?!»

Кто – *они*? Да разве и так непонятно – кто!

И вдруг молнией мелькнуло воспоминание, перед глазами вспыхнула, возникла картинка, ожила, заиграла яркими красками, зажглась разноцветными огоньками, ослепила, развернулась и пошла, побежала прямо ей навстречу, все время увеличиваясь в размере. В темной комнате стало светло, как днем...

... Вот весна, май, на деревьях уже всюду распустилась листва, пышно цветет сирень, на улице жарко, как летом. Ранний вечер. Они с Олешкой спешат, торопятся, оба такие нарядные, оживленные. У Олешки в руке большой тяжелый пакет, и в нем объемный подарок (чайный сервиз, кажется), а она несет огромный свадебный букет. Они приехали на свадьбу к его приятелю, с которым она еще не была знакома. Вот они входят в тесную – не протиснуться – квартиру. Как сюда поместилось столько гостей – ведь большую часть маленькой двухкомнатной квартиры занял длинный праздничный стол. Они поздравляют жениха – белая рубашка, галстук бабочкой, как у эстрадного певца, строгий черный костюм. Рядом стоит невеста в длинном, до пола, белом платье со шлейфом – масса капроновых рюшек, бантиков! – и пышной капроновой фате, нацепленной поверх замысловатой прически, уложенной какими-то колечками, тоже чуть ли не до пола. Торжественно вручают подарок, цветы. Олешка здоровается с женихом за руку и представляет *ее* молодоженам как свою *невесту*. А вот все гости уселись, еле-еле, тесно-тесно, просто не повернуться, за стол – и как только поместились! Да, не хотелось бы ей праздновать свое бракосочетание в *таких* условиях. (И, кстати, в таком платье и фате, как у невесты – ведь это просто пошло и безвкусно!)

Все гости сразу навалились на угощения и спиртное, будто из голодного края приехали. Ели свадебные деликатесы, которых просто так в магазине не достанешь, а можно получить лишь по отрывным талонам из специальной книжечки, которую выдают жениху и невесте в загсе при подаче заявления. Все пили, в основном, водку или портвейн, благо, весь свадебный стол просто уставлен бутылками.

Она с опаской посматривает на сидящего рядом Олешку – но все пока в порядке, он только пригубил рюмку водки и отставил ее в сторону. Ведет себя идеально, *контролирует* себя...

«Интересно, заметил ли он ее косые взгляды? Ага, вот как, значит, может, если захочет», – с досадой думает она.

А теперь все снова и снова кричат: «Горько! Горько!», и они с Олешкой кричат тоже вместе со всеми, и новобрачные встают, целуются... Ой, как нестерпимо сверкают новенькие обручальные кольца!

И в этот момент Олешка обнимает ее прямо за столом, склоняется к ней, шепчет в самое ухо:

– А мы с тобой когда?.. Давай заявления подадим...

«Да... А родители? А где жить будем? А ты пить не будешь?..» – пронеслись у нее в голове мысли. Но она промолчала.

«...Если бы можно было вернуть прошлое, повернуть время назад, остановить... Но нет. Нет! Не хочу! Ничего не хочу! Хочу сейчас только одного – все забыть!»

Но упрямая непослушная память снова и снова отматывала время назад, и на глаза, помимо воли, как слезы, навораживались все новые и новые картинки...

... Вот они сидят, обнявшись, на последнем ряду в их любимом зале «Рекорда», смотрят «Подсолнухи». Их души и тела переплелись, руки сомкнуты, губы уже болят от поцелуев... А на экране колыхается, шумит на ветру луг... – нет! Переливается через край бесконечное желтое море подсолнухов, их тяжелые желтоглазые головы медленно раскачиваются при порыве

вах ветра, и это море подсолнухов волнуется, и играет, и вскипает желтыми волнами... А с экрана льется чарующая, пронзительная, до боли ласкающая... аж мурашки по коже запрыгали... музыка...

Джованна и Анто', Антонио – молодожены, и это их первая брачная ночь, продлившаяся семь дней и семь ночей. От страсти позабыли они все на свете, не выходят из комнаты и не знают, и не хотят знать, что на свете делается, а питаются – если вспоминают о еде! – одной только бесконечной яичницей... Ах, какая разница!

Вот счастливые!

А память все не унимается – подбрасывает еще и еще...

...Олежка провожает ее домой... Весна, черемуха пахнет одуряюще, поздний вечер. Как разгорелась луна, как горят в высоком небе звезды! Она никогда не видела, чтобы звезды были такие! Они же просто не бывают такими яркими, живыми! Они не могут так гореть! И луна... Вот они идут по лунной дорожке, ноги наступают на лунный свет, и лунный этот свет поднимается до пояса, потом до самых плеч... А потом они тонут в нем, а лунный свет становится молочно-белым, плотным, мягким, как пушистый ковер... Они, захлебываясь, пьют вкусный серебристый лунный свет, и какое-то давнее, забытое, но очень счастливое воспоминание охватывает ее...

«Не надо больше! Не хочу!»

Она крепко-крепко, до боли, зажмурила глаза... Если б только это могло помочь! Но упрямая картинка бежит, наступает помимо ее воли, навязчиво...

...Вот они веселятся на дне рождения у Майки, любимой подруги, в старой квартире ее родителей на Малой Пироговке, неподалеку от Новодевичьего монастыря и Первого Меда. Все уже встали из-за стола, танцуют под «Восточную песню» и «Облади облада!» А она с радостью и удивлением наблюдает за тем, как увлеченно играет Олежка с Витусей, двухлетней Майкиной племянницей... Девчушка повисла на нем, обвешала его, как, елку, своими игрушками... А он подхватил ее на руки, как-то неловко обнял, танцует с ней на руках, и это так трогательно... и тихонько что-то говорит ей: «Витик, Витик...». Играет музыка – это подруга-именинница завела пластинку их обожаемого Джанни Моранди «*Star insieme a te non mi basta mai*!»<sup>31</sup>.

А всего час спустя она за что-то сильно обиделась, обозлилась на него, кажется, за лишнюю выпитую им рюмку вина – ведь он же ей сто раз обещал держаться в рамках! И вот они стоят друг против друга в большой, бывшей коммунальной, кухне, она орет на него, топает ногами, лупит его по щекам, а он только зажмуривается, отворачивается... Прибегает подруга Майка, что-то кричит, отталкивает ее, хватая ее за руки, отталкивает... загораживает его, урезонивает ее. Потом на шум и крики приходит в кухню Майкина мама, невысокая полная темноволосая женщина. Майка быстро уводит Олежку в комнату, а Майкина мама, женщина положительная, несовременная, с несколько старомодными представлениями о любви, семье и браке, принимается успокаивать ее, вразумлять... Но она неумолима. Нет! Он не должен, не может, он не будет так поступать, а она не станет все это терпеть!

А из комнаты орет, гремит: «Синий, синий иней...»

И еще, и еще... Не надо! Хватит уже! Она больше не выдержит!

...Вот они идут по улице подмосковного «Московского»... Раннее-раннее утро, оно только что проснулось, зевает, широко раскрыв рот, потягивается в своей кровати, отдохнувшее, свежее, умытое, краснощекое – и чувство невесомости, оглушительного счастья переполняет их.

---

<sup>31</sup> Быть с тобою мне не надоест никогда – песня Дж. Моранди «Игрушка».

... Вот они в гостях у Серого, и Олежка нахмурился, злобно, волком глядит на своего друга: ему показалось, что тот как-то не так, *по-особенному*, посмотрел на нее, а Серый горячо оправдывается – вовсе он и не думал ничего такого!

Ревнивый мавр!

... Ранняя весна. Вечер. Подморозило. Они выходят из театра «Сатиры». «Обыкновенное чудо» — какая замечательная постановка! Они идут по улице Горького в сторону центра и горячо спорят: может ли мужчина сразиться со зверем в себе, победить рычащего медведя, если он любит по-настоящему?..

Как-то неестественно спокойно, отрешенно думала она сейчас о том, что же заставляет человека терять человеческий облик и становиться медведем.

... Вот жаркий день в начале июня, и они вдвоем в Лужниках, на берегу Москвы-реки, загорают, купаются, а вокруг музыка, смех... Вот они стоят в ее подъезде, прощаются – и все никак не могут оторваться друг от друга... Он целует ее. Его руки, губы, глаза... Вот Олежкино лицо склонилось над ней, дышит страстью и любовью, а зрачки огромные, и глаза потемнели от страсти...

Не надо больше! Пожалуйста... Не хочу! Не хочу, не могу больше!!!

Она крепко-крепко зажмурилась, пытаясь остановить этот убийственный поток воспоминаний... Но против ее воли горячие слезы текли, текли по щекам и моментально остывали, высыхая, и от них делалось то жарко, то холодно – и очень больно.

Любовь не желала умирать, но не хотела и жить. Она стала непроглядно черной, и невозможно было смотреть ей в глаза.

Горько. Больно. Больно. Горько.

Как больно – словно ударили прямо в солнечное сплетение!

Время содрогалось, оно стонало от мучительной боли. А потом разорвалось на части. Разбилось вдребезги. Расколосось и рассыпалось. На мелкие кусочки. Не склеить.

Прошлое взорвалось.

Все. Нет выхода. Безнадежно. Приехали.

Конечная станция. Поезд дальше не пойдет. Поезд следует в депо.

Конец пути.

Жизненный тупик.

Все ее силы вылились на него, на защиту их любви – сил больше не было.

Но все ли она сделала, чтобы решить за них двоих? Чтобы защитить их любовь?

Как больно: сухие-сухие – пересохшие глаза, а душа – она вся горит от боли.

За закрытой дверью было слышно, как отец останавливает маму:

– Нет! Сейчас ты не ходи к ней! Вообще, не трогай ее сейчас, не надо... Нет! Ты, что, разве не видишь – у нее же истерика.

... Потом лихорадка оставила ее, и пришло, завладело, обволокло ее всю странное спокойствие, сковало оцепенение. Наверное, так действовало то вонючее лекарство, которое дали ей выпить... Она сидела неподвижно – и почему-то видела себя съжившейся на отцовском диване, будто со стороны. Сбоку или сверху, непонятно. Очень неприятное ощущение. Но страха больше не было: самое страшное, что могло случиться – уже случилось. Вот так: даже ее верный спутник – страх – куда-то ушел, оставил ее в одиночестве. Лишь два мудрых мраморных человека, два президента на столе у отца – Линкольн и Рузвельт – смотрели на нее с укором и сожалением. В темноте она не видела их, но их присутствие ощущала все время, видела в темноте, как они осуждающе качают головами, чувствовала суровое выражение на их точеных мраморных лицах.

За два года не было ни одной минуты, ни единого мгновения, когда бы она не думала об Олежке. Она сидела в темноте, и ей слышалось, как отец говорит ей:

– Ох, Майка, во что ты превратила свою жизнь! Как далеко можешь ты зайти в своем мазохизме? Какое еще художество должен он сотворить, чтобы ты, наконец, покончила с этой историей?!

Штора в кабинете была задернута не очень плотно, но от этого не становилось светлее. Безлунная, беспробудная – бесповоротная – зимняя ночь. Черным-черно – и это уже навсегда? И в этой черной тьме опасно сверкала боль. Блестящая боль и свинцовое горе сжимали горло, не отпускали, затягивали в беспросветный омут, не давали вздохнуть, душили стальными руками с отталкивающим металлическим отливом, как сверкающие инструменты в хирургическом кабинете. А потом... она не знала, сколько прошло времени... какая-то отстраненность от самой себя завладела ею. Всем своим существом она ощущала неприятную, очень опасную раздвоенность, словно два разных человека уживались в ней и все время пристально и враждебно следили друг за другом.

За окном шумно, настороженно дышала, наблюдала за ней безлунная мертвая ночь. Ночь долго, оценивающе смотрела на нее, молча уставившись бездонными, равнодушными пустыми глазами, потом решительно распахнула окно и шагнула в комнату. Спрыгнула с подоконника, ехидно хмыкнула, равнодушно пожала плечами, обдала ледяным дыханием, уселась рядом с ней на диван – да так там и осталась.

*И одна пришла она в тот дивный сад  
Вечной, верной, всепрощающей любви.  
Там когда-то создал Он и Рай и Ад,  
А потом еще и нас – из праха и земли.*

## Много лет назад. Я...

*Дивный сад всепрощающей любви?*

Ну уж нет!

Сегодня вечером начнется новая жизнь. Нельзя все время чего-то ждать. Ведь понятно: ждать больше нечего. Его звонка? Но лучше пусть не звонит – после того, что случилось. Может быть, потом... когда-нибудь... через год, два – не знаю, когда. Но должно пройти время, много времени. А сейчас надо как-то жить – и быть сильной, и *переболеть*, наконец, это наваждение.

Жить дальше... Легко сказать! Если б только знать, как?

И нельзя без конца слушать песню Новеллы Матвеевой про след, оставшийся от гвоздя, на котором висел плащ любимого, когда тот *умчался новой судьбы ища*, а потом и сам гвоздь пропал под *кистью старого маляра*...

И нельзя без конца перечитывать новеллы Цвейга «Амок» и «Письмо незнакомки». Так, значит, любовь бывает и такой? Болезнь, умопомрачение, лихорадка, граничащая с безумием... Как у Цвейга – страсть гонимого *амоком* — недугом, наступающим внезапно, без видимой причины. А как же тогда – слияние, растворение в другом человеке, самопожертвование?.. Что же такое все это? Снова Воронка? Любовь это или сумасшествие, мазохизм, тяжелое заболевание?

В минуты просветления я пыталась найти ответы на эти вопросы – и не могла.

Родная подруга навевалась почти каждый день.

– Ну как дела?

– Как сяжа бела! – пытаюсь шутить, передразнивала я ее бабушкиным волжским говором и улыбалась через силу.

Подруга успокаивала:

– Подожди. Сейчас зима, январь. А ты настройся на весну. В конце концов, все самое страшное уже произошло. И даже не сомневайся: он от тебя ни за что не отступится. Ты же его знаешь – какой он упрямый! И постоянный. Так что если бы ты даже и захотела, он не отстанет. А сейчас – отвлекись ты, наконец, а то сидишь здесь, в четырех стенах. Так нельзя, так с ума сойдешь, пошли лучше сходим куда-нибудь, хоть в кино или, хочешь, в кафешку?

Аленка всеми силами пыталась вытащить меня из дома. Но и приходы подруги тоже не радовали. Совершенно не хотелось никого ни видеть, ни слышать, даже Аленку. Только бы остаться одной, закрыться в своей комнате от отца и бабушки, задвинуть плотнее шторы и сидеть неподвижно, уставившись в любимый эстамп с гротескным изображением танцующего мима Марселя Марсо на стене напротив, и вообще не думать ни о чем, и чтобы никто не трогал, не доставал. Лучше всего выключить верхний свет – пусть горит только неяркий бело-розовый торшер в углу, освещающий комнату мутным приглушенным светом: полная темнота пугала.

*Поздно! Мне любить тебя поздно!*<sup>32</sup>

Эту песню хотелось слушать бесконечно, и даже когда пластинка замолкала, мелодия все равно продолжала звучать в ее ушах. Странно, почему в ее, – да нет, то есть, в моих, конечно! Почему я все время думаю о себе в третьем лице?

*Он уходит, как поезд, поезд...*

<sup>32</sup> Ты уходишь, как поезд. Муз. М. Таривердиева. Сл. Е. Евтушенко.

\* \* \*

Время от времени Олечка звонил, некоторое время дышал в трубку и вешал ее, если к телефону подходил отец. Если же на звонок отвечала я, пытался начать разговор, но я всегда вешала трубку, лишь только услышав его голос. Только один раз я сказала несколько слов. Это когда он позвонил, кажется, дня через два после того пьяного скандала. Гневная отповедь: *не звони, не приходи большие никогда – все кончено.*

Но ничего не было кончено. Казалось, что жизнь оборвалась. Но она продолжалась, трогала, доставала.

Один раз я пошла с Аленкой в ее институт, на лекцию по теореме, чтобы отвлечься хоть немного, побыть среди людей. Аленка эти лекции не прогуливала никогда: предмет, говорила она, безумно трудный, его не сдать без лекций, без практических, так что лучше уж ничего не пропускать. А по дороге в МАДИ и в перерыве между парами можно поговорить. Однако пообщаться в институте не очень-то получилось – шумно, вокруг крутился народ, всякие Аленкины знакомые, со многими из них я тоже была знакома. Сидя рядом с подругой, я прослушала всю лекцию от начала до конца. Мало что поняла, особенно длинные цепочки формул, которыми, как длинными толстыми змеями с большими головами и тонкими хвостами, преподаватель исчертил всю доску, а Аленка старательно переписала их в свою толстую тетрадь. Зато я даже записала в блокнотик понравившееся мне стихотворение, декламируя которое, дядька-лектор проиллюстрировал проявление теории относительности в читаемой им дисциплине.

*Сколь вероятность велика,  
Что был один умней другого  
И что шаров он вынул К?<sup>33</sup>*

Странно, но профессору даже удалось вывести меня из летаргии, отвлечь от горестных, мрачных безнадежных мыслей.

Подходя в тот вечер к своему подъезду, я увидела Серого. Он явно поджидал меня.

– Майя, подожди, послушай только! Нет, ты вот что... Ты только... ну, ты только сразу-то не уходи! Послушай меня, что я хотел... Да подожди же ты!

– Сереж, я против тебя ничего не имею, но ты и сам должен бы все понимать... Зачем ты пришел?

– Послушай, ну, как... ну вот если уж хочешь знать, он меня к тебе не посылал, это я сам... Но знаешь, сил просто нет на него смотреть. Ну, все ж понятно, он сам, дурак, во всем виноват, но ведь он же сам не свой, места себе не...

Я резко оборвала его.

– Мне это неинтересно, понятно? И я больше ничего не хочу об этом слышать! А он должен был бы раньше думать, ну, а теперь... он доигрался. Чего уж... Назад не повернешь. Все, приехали!

Я взялась за ручку входной двери. Серый схватил меня за рукав шубки.

– Но, Майк... Подожди еще минутку, ладно? Послушай, я, это, человек простой, и я тебе так скажу: ну, наделал он, конечно, *делов*, это ясно, но что ж теперь-то... Ну, ты просто пойми, он же любит тебя, правда, и, ты, это самое, вроде бы тоже, но вместе с ним быть почему-то не хочешь, замуж за него не выходишь, я так понимаю. Ну, я не знаю, что там у вас... Вот он и...

Я не дала Серому договорить. Его последние слова привели меня в ярость.

---

<sup>33</sup> Ляпунов А.А., Бусленко Н.П. Метод статистических испытаний. М. 1961. Это стихотворение часто приводилось в лекционных курсах по теоретической механике, теории вероятности, философии и пр.

– Ах, так?! – рывкнула я, потеряв самообладание. – Значит, вот поэтому он и пьет, и стекла мне колотит! Почти как в русской поговорке: бьет – значит, любит! Ну да, вот он и пьет, и хулиганит, и дебоширит, да? Совершенно в лучших русских традициях! И все теперь можно, да? Это ты хотел сказать? Нет! Пьет он потому, что он алкоголик, *ал-ко-го-лик*, понятно тебе? Все, Сереж, против тебя лично я ничего не имею, но только не влезай ты в эти дела и уходи уже теперь, и мне домой надо, а Олегу так и передай: все – кончено! Понял? Ясно это вам? И не надо мне никаких эмиссаров от него, понял? Сегодня ты, завтра его приятель Андрей опять заявится: один раз уже приходил – как ты, за него просить! Самому мозги надо иметь в голове!

И я вошла в подъезд, хлопнув дверью перед самым носом Серого.

И он еще смеет посылать к ней своих друзей! Слабак, наделал бед, а теперь!

Однако стало немного легче почему-то. Оказывается, она, то есть, я, тоже умею принимать решения. Я, наконец, свободна! Свободна, потому что научилась решать. И еще потому, что освободилась от него!

Но почти сразу же в памяти побежали строчки:

*В час разлуки к нам постучался призрак...<sup>34</sup>*

Черт бы их побрал – эти *первые дни*. И *призрака* заодно с ними.

«А сколь вероятность велика, что мы с Олежкой все-таки сможем еще быть вместе? – думала я в тот вечер. – Ну, пусть не сейчас, пусть *хоть когда-нибудь*».

«Если он полюбил, то ни за что не отстанет, уж он такой... Но ты и без меня все это знаешь», – так, кажется, говорила Аленка. Все это так, я понимала. Но... время ведь разлучает, слишком много чужих людей и разных событий пройдет между нами; время разделяет, как пароход, который отчалил от пристани и лег на курс в открытое море, а полоска воды между ним и берегом становится все шире, все непреодолимее... Сможем ли мы еще быть когда-нибудь вместе?

Все чаще приходила в голову мысль: бороться с его привычками, средой – такое же донкихотство, как объявить войну советскому лицемерному раю, с его привычными неподвижными – как неживыми – вождями-зубрами на трибуне Мавзолея...

Да, конечно, наша Воронка была неизлечимо больна. Но каким же счастьем было проливаться в нее и падать, падать в бесконечность, не доставая дна!

Раньше я надеялась, что он вдруг изменится, бросит пить, станет хорошим, достойным, положительным, перестанет быть... самим собой. Так хотелось, чтобы все наладилось. Верила – все образуется. Непонятно как, но – *образуется*. Теперь я вдруг отчетливо осознала: он – это ошибка. Он – моя ошибка и любовь-Воронка – тоже моя ошибка, фатальная ошибка! – *отрывисто* думала я. А ошибки надо исправлять. Так будет правильно, а поступать надо правильно. Только как это – поступать правильно? Да, сохранить свое лицо. Но это только слова, а как же поступить?

Отец смотрел на меня встревоженно, как на тяжелобольную. Он не заговаривал о том, что произошло, только изо всех сил старался как-то отвлечь, чем-то помочь, каким-то образом защитить. Отец понимал меня – и принимал, наконец. И жалел – это чувствовалось без слов даже на расстоянии. Словно ощущал, как сгущаются тучами, как сталкиваются черно-серые мысли у меня в голове. Вот-вот – и прольются дождем. И лучше бы так.

В те безнадежные, давящие своей тяжестью вечера мы много разговаривали с отцом.

---

<sup>34</sup> *Анна Ахматова: «И, как всегда бывает в дни разрыва, / К нам постучался призрак первых дней, / И ворвалась серебряная ива / Седым великолепием ветвей».*

...Тот день был чуть-чуть радостнее, чем его товарищи по несчастью. Под вечер я вернулась из кино, куда ходила одна. В кинотеатре «Ракета» я уже в третий раз посмотрела фильм «Городской романс». Какой милый, трогательный фильм – от него заряжаешься оптимизмом. Именно – романс! Нет, может быть, в этой социалистической реальности все-таки есть что-то доброе – это старые, да, пожалуй, и многие новые советские фильмы. Только их и хочется смотреть в кино и по телевизору. Они добрые, если, конечно, *безыдейные* и там нет производственной темы, социалистического соревнования, героики труда или рабочей династии... В первый раз мы смотрели этот фильм с Олежкой прошлой осенью – теперь это время казалось нереальным счастьем... И даже простое прикосновение к этому навсегда ушедшему счастью уже было облегчением.

В общем, настроение в тот вечер хотя и было, скажем так, среднепаршивое, конечно, но все же уже не на двойку, как любила выражаться родная подруга, а так, наверное, где-то на *троечку с минусом*.

Скоро вернулся из университета отец, и вечером мы устроились с ним в большой комнате. На улице стыла стужа, свистел, завывал ополчившийся на весь мир ветер, а в комнате было уютно, тепло, от торшера в углу разливался приглушенный золотисто-оранжевый свет.

Может быть, по телевизору покажут какой-нибудь старый фильм? Нет, ничего интересного не было. Показывали «Карнавальную ночь». Хороший, конечно, фильм, она его любила, но знала-то уже почти наизусть. Неинтересно смотреть... Но как хорошо, что, по крайней мере, у отца неплохое настроение!

– Ты что это такой довольный сегодня?

– А знаешь, лекция у меня сегодня очень хорошо получилась – даже самому понравилось! Вот и хорошее настроение поэтому! Значит, старался не зря. Я это почувствовал даже не столько по вопросам, сколько по глазам студентов и, главное, теплой стала аудитория...

– А что это значит – *теплой*?

– Ну, я не знаю... Как же тебе лучше объяснить... Вот, знаешь, вдруг появляется такое ощущение: приятно, комфортно находиться на лекции в окружении студентов, видеть их устремленные на тебя глаза. Ты же знаешь, я не люблю высокопарных слов, и все же... Конечно, я могу ошибаться, но в такие минуты начинаешь ощущать, что они – это наше будущее. Впрочем, я не любитель произносить такие возвышенные слова, и мне очень не хотелось бы ошибиться... но возникает такое ощущение, что сейчас они единомышленники и что это все не зря...

– Да что – *это*?

– Ну как же? Работа моя, в которую всю душу вкладываю, десятилетия подготовки, мастерство – вот все это не напрасно.

Я поняла, наконец. Работа отца была *его* Воронкой бесконечности.

Некоторое время мы молчали.

– Да, отец, я знаю: ты любишь свое дело, ты делаешь все, что можешь, – сказала я, наконец. – Но вот смотри: ты лектор, ученый, профессор... Или мама – тоже ученый, книги пишет. и что, многое ли вы можете? Понимаешь, не хочу я так! В нашей стране писатель, ученый – вообще творческий человек *не может* быть свободным! И с этим ты спорить не будешь – точно! Я имею в виду – реально свободным. Помнишь, мы же с тобой говорили: свободный человек принимает какое-то решение, и в этом решении он свободен, и у него есть выбор, то есть он может выбирать из нескольких вариантов.

– Ну, да, все правильно. Только подожди-ка ты рубить сплеча. Если ты помнишь, этот выбор не должен задевать чьи-то еще интересы, мешать кому-то. И потом – человек-то обязан думать и о том, чтобы отвечать за свои действия... Нет-нет! – тут же спохватился отец, увидев, как я опустила голову. – В данном случае я вовсе не тебя имею в виду и не эти твои проблемы.

Что уж теперь об этом говорить-то... Не будем. Да нет, проблема гораздо серьезнее, и мало кто у нас это понимает.

– Это все я знаю. Ну, что ж. Каждый делает то, что может – на своем месте... Ладно.

Тогда – вот, возьми.

– Что это?

– Да так, в общем... текст одной статьи... ну, в общем, оттуда...

– Ну а все-таки?

– Не знаю даже, что это: может, журналистская статья или начало статьи о нашей действительности – да это и неважно, в конце-то концов! На вот, возьми и прочти, если тебе интересно, и скажи свое мнение.

И я дала отцу небольшую пачку исписанных мелким почерком листков.

## Пластилиновая эпоха

### *Песенная классика и советские лозунги*

...Новая эпоха уже вступила в свои права. Эпоха, которая войдет в историю под мягким, *пластилиновым* названием – застой.

Хрущевскую оттепель давно сменили брежневские заморозки. Война привилегий снова завершилась победой кристальных коммунистов. Уже ощущалось легкое гниlostное дыхание, исходящее от режима, как от зуба, доедаемого болезнью. Чтобы ярче заблестали наши лозунги побед, новая, но уже побитая молью эпоха Зубров с кумачовым пионерско-комсомольским, бессмысленным задором из последних сил трубила в начищенные до блеска медные трубы-горны, пела жизнеутверждающие песни о главном, то есть о светлом пути к заоблачной вершине коммунизма и его неизбежной победе в нашей стране, а затем, с нашей легкой руки, и во всем мире. Посылая привет нам и всему миру, приводя в исполнение угрозу разрушить до основания весь мир насилья, а затем построить свой, новый мир, наши рулевые с завидной, превышающей все пределы скоростью устремились ввысь, в заоблачные дали и, естественно, стали всем. Руководствуясь руководством к действию, руководящая сила самоотверженно трудилась, направляя народ страны победившего социализма прямо в потустороннюю заоблачную реальность очередного зыбкого Зазеркалья – к сияющей недостижимой вершине коммунистического Завтра, в новую эру в истории человечества, то есть к этой их самой справедливой в мире власти, к этому их самому прогрессивному общественному строю.

Новый – *советский* — человек, путь которому озарил один Великий Вождь, а вырастил – на верность народу – другой Великий, был воспитан со всей строгостью советских законов в духе пролетарского интернационализма, то есть ксенофобии, шовинизма, антисемитизма, – одним словом, в духе классовой ненависти к врагу. Мирный советский человек был всегда готов к бою, отбивался от окружающих его неприятелей, подстрекателей, наймитов и паразитов, представлял себя часовым, охраняющим пограничную полосу прямо за собою, был всегда готов от всех границ врагов отбивать в смертельном бою, шеренги смыкать и на битву шагать, когда вдруг настанет час бить врагов и враги возжелают отнять у него нашу радость живую. Взяв в руки долото и молоток, вооружившись киркой и ломом, топором и лопатой, а также жизнеутверждающей советской песней, наш строитель коммунизма валял денно и ночью, создавая самый прогрессивный строй в истории человечества и осуществляя электрификацию всей огромной страны. Крепко зажав в мускулистой руке гигантский серп и молот, а также знамя борьбы за рабочее дело, лучший мир и святую свободу, советский новатор торжественно нес их через века и миры.

Новый человек имел общественные интересы, классовое сознание и тонкое классовое чутье, а жил он только ради общества, всю свою жизнь подчинял интересам своей страны и особенно гордился тем, что государственные интересы ставит гораздо выше личных.

Потрясая необъятным тяжеловесным кулаком, повергая мир в изумление и шок своими революционными свершениями, строитель коммунизма хранил верность революционному порыву, шествовал к означенной заоблачной вершине и твердо рассчитывал если не завтра, то уж непременно послезавтра жить при коммунизме, потому что рулевые ему это обещали в самое ближайшее время, но отчего-то нисколько не приближался к Пикку Коммунизма, как ни старались его в том убедить старые партийцы. В буднях великих строек он, новый советский человек, склонялся к станку, дерзал, врубался в скалу за честь и славу. Героический борец за свободу человечества из кожи вон лез в борьбе за рабочее дело, и вперед звала его мечта не очень ясная, но прекрасная, осуществленная.

Вольно дыша и проходя повсюду как хозяйка, партия – наш рулевой – декларировала свободу всех и каждого от Москвы до самых до окраин широкой и необъятной нашей Родины. Почти не скрывая своих волчьих аппетитов и отнюдь не стыдливо прикрываясь партийными и комсомольскими билетами – ведь без бумажки ты букашка! – сильные мира сего устремились в сверкающий заоблачный мир коммунистических привилегий, делая свою сказку своей былью. Славословие и пение дифирамбов вождю, кем бы он ни был, стало таким же проявлением патриотизма, как любовь несгибаемых рулевых к своим привилегиям, в защиту которых они выравнивали шаг с боевой песней и солидарно вставали грудью, как за Родину свою. А их острый взгляд пронзал все и вся, охраняя спокойствие их границ.

Хорошо поставленные голоса утвержденных там, в заоблачных кабинетах, телевизионных дикторов трижды радостно рапортовали о новых мировых достижениях и победах лично Генерального Секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, о потрясших мир рекордах передового отряда советских трудящихся, об ошеломляющих успехах страны победившего социализма. С тошнотворной жизнерадостностью советские дикторы докладывали о долгоиграющих успехах, с которыми они от имени советских вождей ежедневно и ежевечерне поздравляли советских людей. Объявляли о великих стройках века, о перевыполнении сразу всех пятилетних планов на всю оставшуюся жизнь. О Международном Совещании коммунистических и рабочих партий, о полной и окончательной победе коммунизма на одной, отдельно взятой магистрали БАМа. В школах, училищах, университетах, на курсах повышения квалификации в обязательном порядке конспектировали эпохальный труд «Ленинским курсом» и материалы XXIV съезда КПСС – народ и партия едины. Молодые и не очень строители коммунизма не сдавались нигде и никогда, потому что такими уродились на свете, снова и снова смело поднимали знамя борьбы за рабочее дело, держали свой бронепоезд на запасном пути, выполняли завещание вождя мирового пролетариата, тезисы к столетию со дня рождения которого выучили наизусть и знали назубок. Потрясая все прогрессивное человечество своей феноменальной памятью и неслыханной работоспособностью, советские люди заучивали наизусть миролюбивые внешнеполитические задачи СССР и Программу мира, которую могли бы повторить без запинки даже во сне. Чтобы никогда и нигде не пропасть на пути к победе коммунизма, они твердой поступью шагали с боевой песней по жизни вперед к новым победам в упорной борьбе, труде и учебе».

На этом месте отец почему-то тяжело вздохнул, отложил прочитанную страницу, ни слова не говоря, сурово посмотрел на меня. Я молча ждала, что он скажет: он явно хотел что-то сказать. Но он снова углубился в чтение.

«В веселом грохоте, в огнях и звонах, взявшись за руки, рабочий и колхозница шли напролом семимильными шагами, преодолевали пространство и простор, а заодно и время,

ежемесячно рапортовали партии о миллионах тонн чугуна и стали, выплавленных на заводах нашей необъятной Родины, а также о миллионах тонн зерна и хлеба, выращенных на бескрайних полях нашей родной страны и до краев переполнивших – некуда уже складывать! – ее закрома. А советская интеллигенция – писатели, мыслители, аналитики, ученые – ежегодно подбирала этот баснословный, этот неслыханный урожай на полях и еженедельно спасала его на овощных базах.

Советские иллюзионисты, с их особой, евразийской, двойственностью, как двуликие янусы, не всегда отличались последовательностью, соединяя пролетариев всех стран и всех прочих тоже, заодно, угождая этим самым пролетариям – и не только им одним. Убедительно демонстрируя гигантский размах, пафос великих строек и глубину революционных свершений советского народа, наши героические партийцы неуклонно шли ленинским курсом, достойно выполняли роль политического вождя рабочего класса, трудящихся, всего народа, всего прогрессивного человечества. Все крепче становилось идейно-политическое единство советского общества, братская дружба народов необъятной Родины, их сплоченность вокруг Коммунистической партии, советского правительства и лично ее Генерального Секретаря.

Бурные, продолжительные аплодисменты.

И еще, и еще. Бурные, продолжительные аплодисменты.

Овации. Все встают».

Отец читал внимательно, время от времени возвращаясь назад или отрываясь от текста, словно обдумывал каждое слово.

Дочитав, он отложил исписанные страницы и некоторое время молчал.

Интересно, почему? Не решался что-то сказать?

– Ну, давай же уже, говори! – не выдержала я. – Что, не понравилось тебе это все, да?

– Да нет... Почему же? Понравилось. Очень. Написано очень хорошо, живым языком, и картина схвачена вся и сразу видна, и главная мысль, и детали, настроение понятно, причем в целом, и четко, и образы ясны, – медленно сказал отец. Потом, помолчав, как бы нехотя, через силу, произнес:

– Ну что ж. Надо, пожалуй, нам потолковать с тобой... Вот к чему ты это все? Что ты собираешься с этим делать?

– Ну, отец, так ведь надо же кому-то об этом говорить, писать!

– Ну, во-первых, нечто подобное уже писали, хотя, надо признать, и не в таком стиле. Такого я и правда что-то не припомню. М-да, песенная классика... Однако...

– Ну что, что «однако»?

– Ведь ты сама понимаешь: такое ты даже и показать никому не сможешь. И в университете ты уж тоже лучше ни с кем это не обсуждай. Помнишь, сама ведь про этого вашего студента рассказывала месяца три назад... Про... ну как же его? А, Пономарев. И ты помнишь, как с ним вышло? А у тебя тут нечто почище!

– Да все я понимаю! Но все же, отец, а с текстом-то как? Ну что, совсем ничего-ничего не выйдет, даже если смягчить как-то, почистить?

– А вот это как раз к нашему с тобой разговору о свободе и ответственности за выбор. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что именно произойдет с тобой, как только этот текст станет достоянием хотя бы одной только твоей студенческой группы? Я уж не говорю о том, что будет со мной, с твоей матерью?

– Да все я понимаю! Но все же, отец, а с текстом-то как? Ну что, совсем ничего-ничего не выйдет, даже если смягчить как-то, подшлифовать?

– Ну, ты же и сама понимаешь... понимаешь ведь? Я же по глазам твоим вижу – все тебе ясно... Ну, в общем, так. Не стоит тебе такое никому показывать, тем более, боже упаси, в университете. А честно говоря, и писать такие вещи не надо бы – ведь это может быть просто

опасно. Так что лучше убери-ка ты это сочинение куда-нибудь подальше. Ну, дала мне прочитать – и ладно, а больше уж лучше никому не показывай.

Я опустила голову. Ну, почему, как только я начинаю заниматься тем, что действительно интересно, так сразу же на пути возникают непреодолимые препятствия?

Потом я все же не выдержала:

– Ну, как же так, отец? За что ни возьмешься у нас – так всюду клин? Сразу же возникают непреодолимые препятствия? Ну, почему все так?

Горько усмехнулся тогда отец и, помолчав немного, спросил:

– Что ж... Во-первых, разве ты за многое уже бралась?

Я негодуяще посмотрела на отца, но промолчала.

– Ладно-ладно, шучу! А то ты сейчас, пожалуй, еще испепелишь меня взглядом, – засмеялся отец. И немного помолчав, мягко сказал, словно прочитав мои мысли: – Ты же сама все видишь и понимаешь. Ну что ж поделаешь. В нашей жизни приходится постоянно идти на компромиссы, иногда даже на компромиссы с совестью... Тут уж, знаешь ли, ничего не попи...

Я перебила его прямо на полуслове:

– Ага, вот оно опять! Ничего не попишешь! Снова этот твой декорум! Надоело! А если я не хочу идти на компромиссы?! И никогда я не вступлю в эту вашу – то есть *ихнюю* — КПСС!

– Так-то оно так... – с сомнением покачал отец головой. – Только знаешь, в наших общественных науках – куда без нее? Да будь ты хоть семи пядей во лбу, но диссертацию без нее не защитишь, а если и защитишь, то в нормальный институт на работу по специальности беспартийный человек не попадет, преподавать в университете не сможет... И в таком случае, что же остается? Ведь это – дело моей жизни, оно держит меня на плаву, это единственная прочная реальность... И потом, я все же думаю, что, может быть, высшая цель в жизни – это познание. А еще – сохранение культуры и людей, которые оберегают эту культуру... Как же иначе-то? – И после паузы отец добавил, словно через силу: – А в нашей стране, как ты знаешь, этим занимаются работники *идеологического фронта*, – с какой горькой иронией произнес он последние слова.

– И что же теперь делать, по-твоему, этим самым работникам идеологического фронта в нашей стране? А что, если я не хочу писать статьи – и врать, только чтобы меня опубликовали? А что, если я не желаю говорить неправду – то есть попросту врать! – ни письменно, ни с кафедры, если придется читать лекции!

– Ну, ты же знаешь, я отнюдь не сторонник возвышенных сентенций...

– Так что, тогда прибегать к языку Лафонтена-Крылова или Ивана Хемницера, который – помнишь? – *«истину с улыбкой говорил»!*.. А, я все поняла! Ты просто хочешь сказать, что в нашей стране можно быть только конформистом?

Несколько месяцев назад наша университетская группа ходила на закрытый показ недавно вышедшего в Италии фильма «Конформист» для практики по итальянскому переводу. И как-то сразу пришло в голову, зацепило: итальянский конформизм эпохи фашизма и его советский вариант брежневской чеканки – братья, почти близнецы.

## Много лет назад. Я...

...В тот морозный январский вечер отец рассказал, как он недавно ходил навестить наших старых друзей – семью Лепелей, подавшую документы на выезд в Израиль. Конечно, я понимала: отец, работавший в университете, со студентами, то есть на ответственной *идеологической* работе, сильно рисковал. Естественно, дядю Алика, довольно известного врача-психиатра, немедленно выгнали из больницы, где он проработал много лет, с волчьим билетом, заставили положить на стол партбилет, сделали бессрочным отказником по статье секретности, и его семья осталась без средств к существованию... А в подъезде дома, где жили наши друзья, теперь всегда по очереди дежурили *топтуны-кагэбешники*: отслеживали неблагонадежных, поддерживавших дружеские связи с диссидентами. Ведь *шуды-отщепенцы* в нашей стране не могут рассчитывать на безнаказанность.

– Слушай, ну и как они там? Что у них нового?

– Да, знаешь, откровенно говоря, хорошего маловато... Сидят, ждут у моря погоды. Дядя Алик, как ты знаешь, потерял работу, так что трудно им сейчас приходится. А когда еще будет решение, неизвестно... И этот человек в штатском в их подъезде...

– Ужас! Отец, слушай, а тебе, что, совсем не было страшно? А то ведь как потом на кафедре? И еще они, ну, *эти*, тебе точно ничего не могут сделать? Ведь это организация такая... всесильная.

– Ну что ж... волков бояться – в лес не ходить.

– Какой же ты умница! Только вот почему ты меня-то с собой не взял, я не понимаю?

– Да я же вижу – ты вся в своих проблемах...

– Да нет же! И в следующий раз я обязательно с тобой пойду. Так соскучилась по ним, а они ведь теперь точно сами к нам никогда не придут. Побоятся нам повредить...

...Вспыхнуло воспоминание, и, как на белом кафеле, в памяти четко проявилась переводная картинка.

Мы с отцом в гостях у Лепелей, сидим в их старой, но очень аккуратной, даже какой-то вылизанной квартире в Замоскворечье, почти в центре Москвы. Мы только что пообедали, пьем отлично приготовленный хозяйкой дома кофе, поданный в крошечных изящных чашечках. За окном радуется, гремит задорная мартовская капель. Закат озарил большую уютную комнату с высоченными потолками – нежно-золотистое сияние окутывает нас легким прозрачным покрывалом. Пожилой день доверчиво склонил усталую тяжелую голову на плечо полному сил, молодому вечеру.

– ...Да, конечно... Слушай, но ведь мы, разумеется, уже давно об этом подумываем, – отвечает тетя Оля на вопрос отца. – Но только знаешь ли... Вот что... дорогой Георгий, ведь что ты, что Альбертик – вы же ведь ни дня прожить без своей работы не можете, ведь так? Ну вот, а теперь представь себе: мы подаем документы на выезд. Что же тогда будет? И это не говоря уже о том, на что мы станем жить. Есть-то ведь каждый день надо...

Отец молча кивает головой в знак согласия.

– Ну, ты и сам все прекрасно понимаешь: Альберта, понятное дело, первым делом попрут из больницы. А он ведь сейчас проводит серьезные исследования, работает со своими больными, анализирует полученные результаты, сравнивает со старыми, проверяет... Хотя, конечно, сильно тормозят его исследования, оттесняют его, сами понимаете, друзья, по графе национальности, никто ведь этого не отменял, только, по-моему, хуже и хуже все становится...

Дядя Алик не перебивает жену, он пока молчит. Но его большие добрые, какие-то теплые карие глаза наполняются печалью, как наши чайные чашки, в которые тетя Оля наливает теперь коричневый ароматный чай.

Я слушаю очень внимательно, а попутно вспоминаю, как интересно, увлекательно, а главное, понятно рассказывал нам однажды дядя Алик о пограничных состояниях у душевнобольных, о малоизученных проблемах органических поражений мозга. Вот что значит профессионал: он даже о совершенно непонятных несведущему человеку вещах умеет рассказать простыми и ясными словами!

– Ну, а кроме того, – вступает в разговор дядя Алик, – Лена наша в этом году школу заканчивает, равно как и вы, уважаемая Майя Георгиевна, – обращается он ко мне с иронией, почтительно наклоняя голову и в шутку называя на Вы и по имени и отчеству. – Так вот, друзья мои, Ленке-то этим летом в вуз поступать, она в медицинский очень хочет... Ну, так как, дочь, не передумала ты еще на врача учиться? – шутя, спрашивает дядя Алик.

Леночка, худенькая темноволосая симпатичная девочка с двумя аккуратными косичками и больших круглых очках в тонкой изящной оправе – она с детства сильно близорука, – молчит, только застенчиво улыбается, но головой мотает очень решительно: нет, не передумала. Я знаю ее, можно сказать, всю жизнь – наши родители часто проводили вместе свободное время, праздники, и в нашем детстве мы вместе ездили отдыхать в Анапу, Мисхор... Веселая, добрая девочка, скромная такая, невысокая, изящная – и какая стала хорошенькая!

– Она, конечно, сейчас усиленно готовится к экзаменам, к поступлению – ну, вам-то это все тоже хорошо знакомо! Ну, так вот, а сможет ли Леночка поступить, с такой фамилией, с нашим-то *пятым пунктом*<sup>35</sup>, как вы думаете, друзья?

Вопрос, конечно, риторический, и мы с отцом, переглянувшись, оба молчим. Мне в такие минуты всегда становится очень стыдно и обидно за страну, в которой позволяют так обращаться с лучшими людьми. Да что это я! Просто с людьми – за то, что они евреи. А власть даже поощряет антисемитские настроения народа, презрительное отношение к... нет, я не буду употреблять это мерзкое слово! В нашей семье его никогда не произносили, мы вообще никогда даже и не задумывались о том, какой национальности человек, русский он, еврей или, к примеру, украинец... Все это неважно, если он порядочный человек. Ну, а если мерзавец, то не все ли равно, русский он или еврей, или таджик? Какой позор для власти – раздувать и поощрять эту антисемитскую вакханалию! И хотя я здесь совершенно ни при чем, но мне кажется, что я тоже каким-то образом виновата и несу ответственность за этот позор. А еще, по-моему, отцу тоже так кажется...

– Ну и, конечно же, прокатят ее, мы и не сомневаемся ничуть. Да мы и сейчас, в школе у Леночки, замечаем, какое там к ней отношение – она и сама нам рассказывала... К ней и еще к нескольким ее одноклассникам – таким же, как она... – с горечью замечает дядя Алик. – И знаете, друзья, ведь самые какие-то мерзкие слова выбирают, откуда только? Прямо как из тех стародавних, еще царских, *погромных*, с хоругвями, времен, что ли, достают? Прямо из какого-то старорежимного ящика? Тяжело это, понимаете? И даже как-то страшновато становится. За Ленку особенно... Да и вообще, надоело, надоело!

– Да понимаю я все... Все так, все я вижу, – глубоко вздохнув, вступает в разговор отец, с сочувствием посмотрев на сидящую напротив Леночку. – Вы ведь знаете, ребята, какие у нас иной раз попадаются экземпляры на улицах, и не только. Черносотенцы настоящие, как те, из «Союза русского народа», которые в Пятом году погромы устраивали. И эти тоже – почти как те, погромщики, союзники с хоругвями и песнопениями. Будто снова наступил 1905 год. Не случайно все это, знаете... Но, понимаете, друзья, там же, в Израиле, сейчас ой, как неспокойно, недавно ведь совсем Шестидневная война<sup>36</sup> закончилась, и постреливают там... И не исключено, что снова скоро что-то начнется... А вам ведь там жить придется, хотя бы некоторое время, не так ли?

<sup>35</sup> Пятый пункт – графа «национальность» в советских анкетах.

<sup>36</sup> Шестидневная война на Ближнем Востоке, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 г.

– Ну конечно, Георгий, все так и есть, – снова вступает в разговор тетя Оля. – Да к тому же тебе и карты в руки, ты, конечно, в этом лучше нас разбираешься, в своем университете. Но, впрочем, мы тоже все понимаем. И дипломатические отношения с Израилем уже больше года как разорваны, и эта наша проарабская политика... Я вот каждый день Алику об этом твержу, и за событиями мы следим, и все-таки нет сил больше это терпеть...

– А сейчас ситуация там, наверное, будет меняться. Вот у них правительство возглавила хорошо всем известная Голда Меир, – перебивает жену дядя Алик. – Как ты думаешь, Георгий, изменится теперь для нас что-нибудь?

Отец задумывается, некоторое время молчит, потом медленно произносит:

– Вряд ли. Ведь хуже, чем сейчас, отношения с Израилем быть у нас, наверное, уже не могут. – Потом, словно спохватившись, продолжает: – А вообще, пожалуй, что и так. Хуже-то всегда может быть, а Голда Меир – это сильный и очень уважаемый в мире политик. Главная, как у нас считают, *сионистка*, а международный сионизм – это ведь *наш классовый враг!* – в последних словах отца слышится подчеркнутый сарказм.

– Вот именно! – подхватывает дядя Алик. – И партию свою Голда очень укрепила, можно сказать, чуть ли не заново создала из целых трех движений, эту самую Израильскую Партию Труда. Наверное, и на выборах она теперь победит... Но, в общем-то, нас скорее знаешь, что беспокоит? Будут ли в принципе *здесь* разрешать выезды...

– Ну, подождите, ребята, что же заранее-то беспокоиться! И вообще, как-нибудь точно все будет, потому что не может быть, чтобы было никак! – Отец старается говорить веселым голосом, пытаясь поднять всем настроение.

«Он повторяет любимую мамину присказку, – тут же отметила я про себя. – Это мама часто любит повторять: как-нибудь обязательно будет – не может быть, чтобы было *никак*».

Дядя Алик пытается разрядить шуткой тревогу, все более ощутимо сгущавшуюся в квартире:

– А знаете, ребята, я вот все время вспоминаю один старый не то анекдот, не то притчу, уже с бородой анекдот, только не помню, где это я прочитал. Да, так вот, один пожилой еврей говорит другому: «Вот заладили они все: бей жидов, спасай скорее Русь святую, православную!» А другой ему на это: «Да уж, всех жидов побили, а Русь святую так и не спасли!»

...Пройдет год, два, три... Леночка в институт поступить не сможет, хотя попытается сделать это несколько раз, имея на руках аттестат зрелости со сплошными пятерками: на ней клеймо пятого пункта...

Спустя несколько лет Лепели уедут из страны. Уже после окончания войны *Иом Кипур*<sup>37</sup>. Навсегда. Какое-то время они проживут в Израиле, а затем переедут в США. Бедствовать или чувствовать свою неполноценность они там точно не будут: дядя Альберт – первоклассный врач, отличный специалист. И эта страна не отвергает людей лишь потому, что они евреи или еще кто-то. Но мы с ними больше никогда не увидимся.

– ...Да, отец, теперь Лепели точно сами к нам никогда не придут, чтобы нам неприятностей не доставлять.

– Особенно после «Самолетного дела»<sup>38</sup> – полтора года назад, помнишь? – заметил отец.

– Конечно, помню! Ты только скажи, когда снова к ним соберешься. Но, послушай, я все время думаю... А вот как ты считаешь, можно ли как-то бороться с этими самыми *Зубрами!* Ведь у них же и танки, и армия, и психушки?

<sup>37</sup> Арабо-израильская война *Иом Кипур* – Война Судного Дня – произошла в октябре 1973 г.

<sup>38</sup> Ленинградское самолетное дело – попытка захвата пассажирского самолета группой советских граждан (июнь 1970 г.), чтобы выехать из СССР. Стало важной вехой в движении советских отказников.

– А ты помнишь, как в восьмом месяце шестьдесят восьмого года восемь человек вышли на Красную площадь протестовать против танков на улицах Праги? А ведь у одной из них был даже грудной ребенок... Вот так... за нашу и вашу свободу. Правда, наверное, не все это могут...

– Да! Но это ведь чистое донкихотство? Что же теперь, бороться с ветряными мельницами? И где теперь они все?

– Да, пожалуй, что и так... Не исключено.

– Ну и что же, неужели вообще нет никакого выхода?

– Знаешь, и капля камень точит. А потом, смотри, самиздатовская литература как выходила, так и выходит, ну хоть та же «Хроника текущих событий»... или вот тот отрывок, что ты мне сейчас показывала.

– Да, я знаю! Я же помню, как мама еще давно приносила домой и читала «Самиздат» и «Тамиздат», и ты тоже, да? Только я тогда маленькая еще была, ничего почти не понимала, – перебила я отца.

– Ну да, а потом, безусловно, «Память», «Поиски»...

– Верно! А еще «Белая Книга», конечно. Но только слушай, отец, а мы-то что же?.. Ну, вот как на это все реагировать? Вот ты посмотри: только что прошли незаконные обыски, того и гляди, будут и аресты, и идеологические показательные процессы как уже были несколько лет назад, таки будут...

– Судя по всему, да. Но это ты кого, Якира сейчас имеешь в виду?

– Ну да, его и Виктора Красина, а кого же еще! И Комитет по правам человека, конечно. Я и не говорю о процессе Гинзбурга и Галанскова, раз уж речь зашла о Белой Книге и о Хронике... Хотя уже четыре года прошло, а что изменилось? Наверное, хуже быть не может... А Андрей Амальрик? Это, похоже, вообще бесконечная травля... Как ты думаешь, что же теперь будет?

– Да уж, воистину прав был знаменитый поэт! Конечно, «бывали хуже времена, но не было подлей...»<sup>39</sup>

«А ведь в молодости отец был правоверным, – вдруг подумала я. – Считал, что всему виной – культ личности Сталина, что злоупотребления или искажения советской власти – это трагическая случайность, что *лес рубят – щепки летят*. Хотя в результате этих *искажений* он лишился отца в неполных четырнадцать лет: мой дед был арестован в 1937-м, сгинул в лагерях, и о его судьбе родным ничего не удалось узнать. Да и потом приходилось быть осторожным: ведь отец был, как он выражался, «меченый».

– И ты же знаешь – это все не вчера началось. Помнишь?..

Услужливая память тут же раскрыла книгу прошлого, перелистала страницы, ткнула пальцем в нужное место... А, вот же оно!

Перед глазами быстро-быстро побежали проблесковые огни взлетно-посадочной полосы – и я увидела, услышала, ощутила...

...Мне лет десять-одиннадцать, наверное... Жаркий летний день, мы с мамой приехали в подмосковную Купавну, идем по дорожке от станции к поселку. У мамы в руках тяжелая сумка.

– Ты только не забудь и сразу же отдай ребятам подарки, которые мы купили, и поиграй с ними, они же твои ровесники, и ты их хорошо знаешь. Ладно? Ну, вот и расскажи им что-нибудь интересное, например, что ты читала в последнее время, а я тем временем помогу тете Ларе, ей ведь очень нелегко приходится одной с детьми. Да и с деньгами трудно у них. Видишь, мы и продукты кое-какие, и фрукты им везем...

– А где же дядя Толя, мам? Ведь его уже сколько лет нет...

---

<sup>39</sup> Из поэмы «Современники» Н. А. Некрасова.

– Ну, я же тебе говорила ... Арестовали его, – неосторожно замечает мама.

– Да, я помню, мам, ну а за что, все-таки, скажи? Так же не бывает! Он же ведь ничего плохого не мог сделать! И тетя Лара такая хорошая, добрая!

– Мне сейчас трудно тебе это все объяснить, да ты и не поймешь пока, – твердо говорит мама. – И ты, конечно, понимаешь, что с ребятами об этом говорить не надо, да?

– Ну что же я, не понимаю, что ли?

Я даже обижаюсь на маму.

Как хорошо, как весело провели мы тот жаркий летний день на даче в Купавне! Я играла с детьми – моими погодками, мальчиком и девочкой, – мы купались, потом пили очень горячий, остро пахнущий сосновыми шишками чай из старого дачного самовара – какой вкусный. Яркий, веселый, интересный день. День, который слишком быстро стемнел, растаял, ушел.

Потом тетя Лара с ребятами приезжали к нам еще несколько раз на зимние каникулы. Мы катались с горы на санках, устраивали в моей комнате кавардак... Румяные, разгоревшиеся на морозе щеки, горячие от снежков, несмотря на студёный день, руки, звонкая детская радость...

Счастливые, веселые воспоминания! И лишь много лет спустя я узнала, что друг нашей семьи был арестован летом 1957 г., сразу после Московского фестиваля молодежи и студентов, как участник «нелегальной *антисоветской* группы» Льва Краснопевцева. Молодые преподаватели, аспиранты, студенты старших курсов гуманитарных факультетов университета распространяли тогда листовки, призывали к возрождению истинного, не искаженного Сталиным учения Маркса, проводили разъяснительную работу на одном из московских заводов, хотели организовать забастовку, пытались установить связи с иностранными корреспондентами. За *антисоветскую агитацию и пропаганду, за клевету и распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй* участники антисоветской группы были осуждены на долгие годы заключения...

– Да, я все помню, отец, и то, как мама поддерживала эту семью и помогала тете Ларе и детишкам, да и ты тоже, деньги ей, да и другим семьям арестованных собирал...

– Видишь, они же не испугались. А теперь вот и Солженицын не испугался, и Сахаров тоже, ты же знаешь, хотя против них целую кампанию в печати раздули, а то ли еще будет! И вот еще Твардовского устранили из «Нового мира», вытеснили-таки, наконец. Он, может быть, поэтому и умер почти сразу... Но сколько всего он успел сделать за десять лет, каким стал замечательным, честным его журнал! Наверно, самый читаемый, самый любимый... Или вот еще Инициативная группа<sup>40</sup> действует. А как же иначе? Ведь ты же помнишь: «Бойтесь равнодушных – лишь с их молчаливого согласия...»<sup>41</sup>

– Ну да, все я помню, все, а ты что, сомневался? Заладил одно: помнишь, помнишь?! Но, отец, а мы-то, мыто как же?.. Ведь жить и молчать просто нечестно... и даже безнравственно!

– А ты ведь помнишь стихи:

*...Звать чёрным чёрное, а белое звать белым,  
Чрезмерно громких од тиранам не слагать,  
Лгать только по нужде, а без нужды не лгать.*

---

<sup>40</sup> Инициативная группа по защите прав человека в СССР – гражданская ассоциация, созданная в мае 1969 г. в Москве по инициативе П.И.Якира и В. А. Красина, куда входили Н. Горбаневская, С. Ковалёв и другие, и предоставлявшая сведения о политических преследованиях в СССР. Практически все участники подверглись репрессиям, 11 из 15 членов осуждены, семеро вынуждены покинуть СССР

<sup>41</sup> Эпиграф, который предпослал к своему незавершенному произведению «Заговор равнодушных» Бруно Ясенский; авторство принадлежит и Юлиусу Фучику

– Вот так, я думаю, мы и должны поступать. А еще, по-моему, надо просто сохранять собственное достоинство, уважать чужое мнение и быть к нему терпимым, даже если оно нам и не очень нравится...

– Да уж, что еще остается... Свободы у нас как не было, так и нет... Только... отец, знаешь, как это ужасно, когда приходится кого-нибудь ненавидеть! Помнишь, как в книге «Убить пересмешника»<sup>42</sup> Аттикус говорит дочери как раз об этом... Слушай-ка, а я что-то не помню, кто написал эти стихи?

– Так это... Сейчас, подожди минуточку... я вспомню фамилию, как же это его?.. А, это Фридрих фон Логау, немецкий поэт-памфлетист XVII века.

Отец удивлял не только меня, но и всех окружающих и своих коллег на кафедре университета, где он работал: по-видимому, он знал все на свете!

– Ладно, Майк, слушай, сейчас уже девять часов, и я хочу посмотреть, что там, в мире, происходит, а потом, насколько я помню, последний день чемпионата Европы по фигурному катанию. Танцы на льду будут передавать. Хочешь, посмотрим? Наверное, Пахомова и Горшков свою «Кумпарситу» исполнят – мне, знаешь, очень нравится, как они это делают. Может, и в этом году первое место займут, а? Как ты думаешь?

Отец, слегка прихрамывая, подошел к телевизору, включил, хотел посмотреть программу «Время».

*«Все демократические и миролюбивые силы мира единодушно и решительно осуждают...»* — угрожающе оптимистично полилось с голубого экрана...

Ура! Да здравствуют приказы страны Советов!

---

<sup>42</sup> «Убить пересмешника» – роман Харпер Ли, получивший, в 1961 г. Пулитцеровскую премию.

## Часть III

### Призрачные лики воронки

#### Наше время. Я...

В машине, по дороге из Звенигородского пансионата в Москву, я сначала старалась поддерживать общий разговор, но беседа почему-то не очень клеилась. Зять, как всегда, в основном молчал, только изредка вставлял какие-то реплики, но, по своему обыкновению, говорил совершенно не слышно, так что шум мотора заглушал его голос. Видимо, уловив что-то необычное в моем настроении, дочь, Анюшка, сначала такая оживленная, радостная, начала, как ей казалось, незаметно искоса поглядывать на меня с недоумением, даже с некоторой тревогой. Словно чувствуя неловкость от затянувшейся паузы, дочка стала рассказывать о своей последней записи в «Останкино», о студии аудиозаписи, потом надолго замолчала и, вероятно, задремала на заднем сиденье. Только внучка Оленька болтала без умолку, не закрывая рта ни на секунду.

Пробок ни на шоссе, ни в Москве почти не было, и мы доехали на удивление быстро, с ветерком.

Леша, муж, встретил меня дома, как всегда, со свойственным ему легким юмором, в котором, правда, слегка проступало ехидство, но, в общем, обрадовался встрече. Я с удовольствием отметила, что, по крайней мере, сегодня он совсем не прикладывался к бутылке: иначе градус ехидства и вредности у него сразу оказался бы выше нормы. Обе наши кошки, неразлучные подружки Машка и Мрявка, почувствовавшие, что я вернулась, когда я только еще подходила к двери, тоже, как по команде, одновременно вышли меня встречать, синхронно потянулись, по очереди выгнули спинки. Изящная, угольно-черная, похожая на небольшую гибкую пантеру, с большим белым пятном на шее, желтоглазая Маша с любопытством и даже беспокойством методично, подробно обнюхала мои брюки, сапожки, потом мою руку, – я погладила ее по мягкой шерстке – деликатно чихнула, покачала головой, и, как мне показалось, укоризненно посмотрела на меня. Я просто прочитала в ее глазах, *услышала* слова упрека: «Ну, вот где тебя носило столько времени, а? Скажи, где ты могла набрать такой отвратительный букет запахов? Вот что мне теперь с тобой делать?» Да, вот уже в который раз я убедилась: животные часто бывают умнее людей, во всяком случае, многих, и уж, точно, отзывчивее, они умеют быть благодарными... Затем ласковая Машка, считавшая своей прямой обязанностью заботиться об *укояренных* ею неразумных хозяевах, два-три раза искренне, ласково потерлась о мою ногу, несколько раз слегка боднула ее головой, но ничего не сказала: по характеру она хозяйственна и рассудительна, но не слишком общительна, сдержанна, молчалива, недоверчива, особенно к чужим. Мрява, небольшая, очень пушистая трехцветная кошечка, с ангельским выражением мордочки (но отнюдь не ангельского нрава), с рыжими и черными пятнами, беспорядочно разбросанными на белой шерсти, уставилась на меня огромными, продолговатыми, поразительного виноградного цвета, нахальными кошачьими глазищами. Эта кошка сама назвала себя *Мрявкой* еще в своем далеком босолапом кошачьем детстве: любую свою речь она всегда начинает со слова «*Мря!*» Вот и теперь Мрявка одобрительно мрявкнула в знак приветствия: по характеру она любознательна, разговорчива и горласта, решительна, даже упряма и очень нетерпелива – полная противоположность Машки.

После исполнения обязательной программы кошачьего приветствия обе подружки, деловито помахивая хвостами и размеренно покачивая боками – Машка, как обычно, следом за нахальной л ид ершей Мрявкой, – отправились в столовую-кухню узнать, не готов ли их ужин.

И даже недоверчивая красноухая черепашка, что живет у меня в комнате в акватеррариуме, – и та слезла со стеклянной полочки, где она грелась под теплыми лучами лампочки, притворяющейся солнцем, и прижалась в знак приветствия к стеклу своего жилища, высоко подняв над водой небольшую продолговатую голову и выпучив от радости глаза, точно пришитые черными нитками зеленые пуговицы. Ну и, конечно же, она тоже ждала свой ужин – чайную ложку крупного мотыля.

Вечер прошел спокойно, тихо, уютно.

Поздно вечером, когда Леша уже погасил свет и, казалось, заснул, я уединилась в своей комнате. Захотелось просмотреть старые записи, дневники. Они лежали в особом ящичке, вместе со старыми фотографиями, отдельно от деловых бумаг, вырезок, набросков, распечаток, лекционных материалов. Не хотелось, чтобы муж случайно наткнулся на них, увидел.

Старые дневники... Вот даже бумага пожелтела, постарела. Ну и чем они пахнут? Запах чего-то близкого, родного. Да, пахнут юностью, радостью, энергией... И немного пылью.

А, вот и оно! Это было как раз то, что я хотела найти.

Я взяла в руки слегка пожелтевшую тетрадь и прочитала:

### «Пирамидка.

...Жила-была на белом свете маленькая сверкающая прозрачная Пирамидка. Но возможно, и не маленькая, а очень большая – огромная! А может, и не сверкающая, и не прозрачная, потому что нельзя было увидеть, что у нее там, внутри. Хотя, может так быть, что она была даже и не Пирамидка, а вовсе конус. Точно известно одно: она была крохотной частичкой, микрокосмом Вселенной, но непостижимым образом вся Вселенная помещалась в ней.

Возможно – в сказке все бывает.

Сколько лет было Пирамидке? Кто знает? Пирамидка жила всегда, наверное. Она не имела возраста.

Жила Пирамидка совсем одна...

Она ощущала себя маленькой сверкающей прозрачной Пирамидкой и совершенно сливалась с ней. Вообще-то она всегда носила Пирамидку внутри. У самого сердца. И Пирамидка стучала у нее внутри – тук-тук! – прямо как сердце. Но каким-то непостижимым образом Пирамидка была и ею самой, и заполняла ее всю, и оказывалась одновременно и крохотной сущностью, и огромной, как Вселенная...»

Да! Это именно то, что я искала. Когда это было написано?.. Но значит, уже тогда мне приходили в голову такие мысли? Так. Ладно, а что там дальше, я что-то совсем не помню?

«...Она сидит в Пирамидке. Там спокойно и совсем не страшно. Внешний мир не пугает. В Пирамидке уютно, тепло, там нет ни ветра, ни дождя. Там, как в детстве, солнечно, очень радостно. Там большая оранжевая квадратная комната, и мама, и папа, они играют с ней, шутят, балуют, читают ей интересные книжки с волшебными, красочными яркими картинками, и картинки вдруг оживают одна за другой – прямо у нее на глазах... На страницах, сами собой, вспыхивают теплые огоньки, возникают один за другим герои, движутся, живут своей жизнью, разговаривают с ней и друг с другом. Там пахнет какао, горячими гречками. Там живут сказки – и хочется туда вернуться.

Повзрослев, она поняла: так бывает в семье, где любят.

Она смотрит на огромный мир – изнутри, распахнутыми глазами Пирамидки, и оттуда он кажется полным любви, безопасным, благоустроенным и очень справедливым.

\* \* \*

Лето. Осень. Зима. Весна.

– Здра-авст-вуйте, Солнце! – радостно мяукнул серый Котенок. За зиму Котенок вырос в громадного темно-серого Кота.

Теперь серый Кот грелся на первой весенней проталинке, а рыжее Солнышко щедро угощало его веселыми хмельными сказками.

А с неба Котяре подмигивали сине-фиолетовые, до нелепого юные и очень радостные глаза первых весенних фиалок.

\* \* \*

В новую весну ее жизни деревья снова надели пестрые летние халаты, а бестолковый чудила-художник расплескал по земле целое море зеленой краски.

*Она* снова сидела в Пирамидке. Там было хорошо. Там *она* могла оставаться самой собой.

...Жила на свете большая маленькая Пирамидка. Пирамидка была крохотной сущностью и огромной, как Вселенная...»

Так я писала в те страшные черные дни, когда Воронка горя затащила меня с головой, и я захлебнулась бедой, болью потери, изо всех сил пытаюсь избавиться от своей несчастной счастливой большой любви. И, наверное, именно тогда наша Воронка бесконечности задохнулась, заболела неизлечимой болезнью, прошла точку невозврата. Хотя, кажется, *Она* трогает до сих пор... Так кто же в кого впадает – я во время или время в меня? И вовсе уж непонятно: зачем куда-то тащить за хвост упирающееся время? Ведь это не дано никому.

Уже давно я не заглядывала в свой потайной ящичек: не было времени, а, пожалуй, и желания.

...Страшное то было время, тошнотворное, как касторка, тягучее, пластилиновое... Или, может быть, гуттаперчевое? Вязкая, тошнотворная воронка развитого социализма.

Оптимизм, набивший оскомину, – скулы сводило сильнее, чем от клюквы без сахара. Некуда было бежать от диктата закостеневших догм, от которых тошнило, выворачивало внутренности. От немилосердной новой религии, растворяющей, как в кислоте, человеческую личность. От железобетонной уверенности кристальных коммунистов в своем праве на тотальную власть в этой стране, и не только в ней. Искушенные иллюзионисты XX столетия, они неплохо овладели техниками зомбирования – людей затащивали в бездонную воронку фальши и обмана, лицемерия и заблуждений. Кукловоды запускали разноцветные фейерверки, использовали двадцать пятый кадр, извлекая его из кино, советских песен, лозунгов, часто из западной рекламы, из старых нечеловеческих идеологий, из песенной советской классики, и монтировали его в политику. Они добились создания нового человека. *Манкурта*. Удивительно, как пропустила советская цензура гениально переданное Чингизом Айтматовым сказание о матери манкурта.

На моем столе лежали три распечатанных странички текста. Это было начало моей новой статьи. А, ну да, перед самым отъездом в Звенигородский пансионат я начала работать над статьей о развитии правосознания в России и Евросоюзе.

Наверное, все-таки прав был Августин в своем ощущении, что он пишет, извлекая пользу для себя, и делает это снова и снова.

В начале статьи, которую я уже отредактировала, речь шла об отсутствии интереса к свободе в России. Ведь мало кто в России понимает, что же такое настоящая свобода.

«...Болото. Омут. Виртуальное Зазеркалье.

Где тот сумасшедший занос, когда он произошел в этой стране?

Похоже, давно, очень давно. Много столетий назад.

Именно тогда произошел сбой в матрице жизненной программы государства. А главное, была пройдена точка невозврата в отношении человека к самому себе – к собственному человеческому достоинству.

Система заставляла людей терять достоинство, обещая взамен самый прогрессивный строй в истории человечества. В светлом будущем.

Давно болеет моя страна, давным-давно больна ее сердечно-сосудистая система.

Когда и как это случилось? Когда моя страна провалилась в Воронку бесконечности?

Враг! О Господи! Враг прет на нас всегда и везде, со всех сторон – подкрались, пришли опять в пенаты наши бедные, убогие лихо лихое да беда страшная, неминуемая. Подступают неслышно хазары подлые да печенеги поганые, да еще варяги-враги ненасытные и коварные на нашу землю и в нашу душу так и лезут, так и прут. А тут еще – глядите! – и половцы мерзопакостные допекают, одолевают напрочь татары богопротивные, змеи-горынычи огнедышащие, да домовые, черти, а еще мерзкие лесные бабы-яги, кикиморы болотные да оборотни коварные поедом едят, а кощеи бессмертные в яйце и даже на острие иглы козни черные строят. А потом жидомасоны пархатые и евреи презренные бьют аж под дых, да чечены злые, поляки-прозелиты и римские латины коварные, а эти, паразиты, еще и окатоличить нас тут возжелали! Все, как один, тут как тут – только успевай отбиваться! Не успеешь оглянуться – а они изо всех щелей лезут! А кавказцы черно... мазые и пиндосы с разными-всякими макфолами, – в общем, ястребы-американцы мускулистые, сильные да высокомерные то и дело к нам внедряются, а потом еще космополиты безродные, сколько в дверь их ни гони, а они опять – в окно... А как от натовцев да цэрэушников, западно-германских реваншистов, да вообще от всяких ихних агентов влияния да от ярых антисоветчиков спасу нет, так это не петух вам тут чихнул! Потом маоисты злобные гадят да агенты империализма изошренные, глобалисты какие-то откуда-то еще на нашу голову взялись и шпионят тут, бесстыжие сукины сыны, да тут еще и бесы совсем непонятные одолели – прохода не дают нигде и никогда... наймиты всех мастей.

Забитые страхом, замученные угрозою лиха, жалкие, несчастные люди прятались в лесах или погружались прямо с головой в пруды и иные естественные водоемы, сидели там, дышали через соломенные трубочки и не смели даже голову поднять, высунуть. И обращали они к отцу-правителю такие слова: «Вот, окружает нас со всех сторон, нападает нечисть всякая, проклятая орда, супостаты разнообразные ежедневно и ежечасно, проходу, продыху не дают, и все они в наших бедах и несчастьях повинны. А земля-то наша богата и обильна, только вот порядку в ней как не было, так все и нет... Скажи, доколе терпеть нам это лихо лихое: варяга-врага, супостата-вражину, агента иностранного? У кого заступы искать? Так защити ж ты нас, Отец ты наш *державный*, сирых и убогих смердов, рабов твоих в вотчине твоей! И ужю правь ты, Отче, нами сильной рукой, и наведи ты у нас порядок, а мы ужю в пояс поклонимся тебе и окажем безграничное терпение, о, добрый батюшка-князь, царь, император, товарищ Генеральный Секретарь, господин Хозяин Кремля и страны, лидер нации, президент, вседержитель, премьер, депутат, патриарх Московский и всея Руси... а то самим-то нам не сладить никак со всеми гнусными этими супостатами. ну, а как же нам без царя-батюшки, грозного, но справедливого? Ведь не выжить народу-то без него!»

Ату его, врага! Ох, а их-то, врагов, как много – тучи, *тьма*. Но собирается уже народ: самое время рыть яму – но не для врага, а для себя, и ложиться в нее с пулемётом!

Эй, ты там, сионист, реваншист, империалист, ревизионист, иностранный агент! И где ты там залег, где окопался, гад, с луком и стрелами, с арбалетом, пулеметом, шашкою, гранатою? Будем сейчас тебя, вражина, кончать! Мы и сами с усами, окапываться получше тебя умеем, и как сейчас заляжем там на халяву с пулеметом, да как начнем строчить от бедра, да как вдарим, да как потом пойдем сплеча рубить головы с плеч, стрелять арбалетом, пулеметом стучать, шашкою махать, а еще топором да серпом с молотом косить будем да сечь вражескую тучу черную.

Ух ты, как затягивает эта Воронка ненависти и страха – аж дух захватывает.

В атаку! Вперед – за Идею и за светлое Будущее! Ура! И пленных не брать ... Таков приказ.

*А вседержители, все, как один, сваливают, нагромождают всех врагов в кучу и не дают задуматься: а ну, как враг – в нас самих, а ну, как именно с тараканами в собственной голове и надо бороться?*

И приходит вдруг час, когда масса ненависти, страха, зависти в народе или в какой-то его части становится критической. Тогда этот страшный раствор становится перенасыщенным, бурлит, закипает, переливается через края государственного котла, а сам этот котел может взорваться. Тогда его разорвет на части.

Младенческие годы. Детство страны... Искажение жизнедеятельности... Излом... Юность страны... Сбой... Молодость... Обрыв...

И что же потом? От Воронки-Лагеря мало что осталось. Зато на капище появилась Воронка-пустота.

Душно, и хочется свежего воздуха...»

М-да. Духота. Болото. Вязкая Воронка эпохи застоя.

Все это было и прошло?.. Да нет. От этого скоро не излечиваются. Блажен, кто верует! Мимикрия – штука коварная. И разве в наши дни мы не ощущаем что-то уж слишком часто смрадную язвенную отрыжку тех прежних лет?

Ладно. Что я там написала дальше?

«...Продолжая дело Великого Октября, коммунистическая партия и советское правительство воплощали идеи великого Ленина и совершали на этом великом пути чудеса героизма. Угрожая миру прелестями новой эры в истории человечества и соблазняя человечество неизбежностью коммунизма, они затягивали его в воронку советского рая на земле и своим героическим примером вдохновляли род людской, заставляя его воспрянуть. Однако род людской угождал лишь Богу злата и чтил лишь одного кумира священного – телец златой.

Под звуки бравурных маршей, поскольку нам песня всегда и везде строить, а также жить помогает и к победе на крыльях ведет, наши спортсмены со страха завоевывали все золото мира на международных соревнованиях. Еще бы: ведь когда страна *прикажет* быть героем, *у нас герой становится любой*.

На партийных, комсомольских, профсоюзных собраниях строители-энтузиасты протестовали против эксплуатации народных масс в странах капитала и их перманентного обнищания.

Ух, как ярко брызгало солнце в глаза советским людям, ой, как ослепляло, как сбивало с толку! Ух, как солидарно, плечом к плечу, вставала со славою страна на встречу дня! Ну, а руководящее ядро? Ядро энтузиастов правило бал, управляло оркестром, снова и снова взмахивая невидимой дирижерской палочкой и планомерно поднимая советских трудящихся на бой святой и правый с ревизионизмом, империализмом, реваншизмом, капитализмом, сионизмом, сепаратизмом, китайским догматизмом, с западным буржуазным влиянием, с поджигателями мирового пожара, с врагом прогрессивного человечества, и за новую социалистическую мораль, достойную лишь советского человека – строителя коммунизма. В соответствии с пролетарским интернационализмом угрожая миру миром, сразу все демократические и миролюбивые силы планеты во главе с передовым отрядом мирового пролетариата единодушно и решительно осуждали происки американских империалистов, поддерживали и единодушно одобряли интернациональную помощь братскому народу социалистической республики Чехословакии и танки на улицах Праги, демонстрируя такую перспективу и другим товарищам нашим по разуму, совсем нас о том не просившим. Провозгласив очередную ложь, коммунистическая партия и советское правительство разжигали антикитайскую истерию в связи с военным конфликтом на острове Даманский и антиамериканский пожар в связи с войной во Вьетнаме.

И снова, и снова бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации.  
Все встают».

«М-да... Едва ли такой текст напечатают... Конечно же, придется сокращать, сглаживать, смягчать». А вот *ее* такие мысли не посещают, и стихов *она* не пишет и не переводит», – зло-радно подумала я, снова и снова переживая неприятную встречу в заснеженном парке Мозжинки.

Но если отправляешься в путешествие по времени и попадаешь в прошлое не по долгу службы, а из душевного расположения, следуя своему призванию, то мало-помалу становишься хранителем времени и чувствуешь его, как живое.

Как живое...

## Много лет назад. Она...

Как избавиться от постоянно напоминающей о себе тоски, боли, то тупой, то нарастающей, все обостряющейся, почти невыносимой? Не избавиться даже, а только отвлечься, ненадолго отодвинуть ее куда-то в угол, положить в дальний ящик стола, запереть на ключ?

Но получалось это с трудом. Так человек непременно задевает на ходу именно больное место.

Приходили и уходили, незаметно сменяя друг друга, как часовые у военного объекта, поразительно похожие друг на друга бессолнечные, серенькие пустые дни. Бесконечно тянулись беспросветные, глухие зимние вечера. Иногда Олежка все же звонил, в надежде, что к телефону подойдет она. Молча дышал в трубку или вешал ее. Неважно, кто отвечал на звонок – отец или она.

В ту бесконечно долгую, больную морозную зиму сначала изредка, затем почти каждый вечер стал заходить Игорь, ее давний знакомый, студент факультета, на котором она училась. Он этой зимой уже писал дипломную работу, был сильно увлечен темой – правыми республиканцами США, – и ее поражало, когда же он пишет диплом, если все вечера пропадает у нее. Но скоро она поняла: он сильно увлечен не только правыми республиканцами.

Она коротала вместе с Игорем ледяные тоскливые вечера. За окном, изготовившись к прыжку, следила за ней, подстерегала черная непроглядная ночь, а дома, в комнате, мягкий приглушенный свет торшера умиротворял, сближал...

Они уютно располагались в ее комнате. Игорь уже привычно устраивался на ее диванчике, она – в кресле у стола. Пили крепчайший ароматный кофе, к которому она его приучила, разговаривали об итальянской истории и о советской действительности, спорили о правых республиканцах, о Барри Голдуотере и Линдоне Джонсоне, о любимых книгах... Она читала ему наизусть «Пять страниц» Симонова и «Пять коней» Гумилева, которые так отвечали ее настроению. Или слушали музыку – больше всего песни Новеллы Матвеевой.

Телевизор журчал на тихом звуке. А ровно в двадцать один ноль-ноль по московскому времени с голубого экрана звучали позывные программы «Время», и они начинали спорить о том, какое именно слово произнесет сегодня первым бессменный диктор Игорь Кириллов: «Сегодня Генеральный секретарь...» или «Генеральный секретарь... сегодня днем принял в Кремле... выступил...». И кого генсек крепко обнимет и жарко поцелует сегодня своим знаменитым навязчивым поцелуем – жаркие объятия и поцелуи все больше входили у советского лидера в привычку... Они даже и не подозревали, что манеры генсека уже становились предметом широкого обсуждения и темой для анекдотов по всей стране.

Очень скоро Игорь раскрыл карты. Признался в любви, говорил об этом каждый вечер, предлагал пожениться... Нет, она его не обманывала, сразу сказала, что у нее есть муж, возлюбленный – пусть считает, как хочет, просто они пока не расписались. Но Игорь настаивал. Он все повторял крылатую фразу из нашумевшего в тот год фильма «*Мы за ценой не постоим!*»<sup>43</sup>, пытался воздействовать на ее здравый смысл, на разум, а если получится, то и на эмоции. Наверное, он рассчитывал на ее разрыв с Олежкой, на спасительное время, а больше на то, что она не очень-то умела говорить «нет».

Она ничего не отвечала или отвечала уклончиво – и смотрела на него, как обиженный ребенок, исподлобья. Хотелось заткнуть уши и громко закричать «Нет!», когда Игорь заговаривал о своей любви. Она молчала в такие минуты. И, как ни старалась, не могла переломить себя, свою неприязнь к нему. Что поделаешь – *уши Каренина*...<sup>44</sup> Но, может быть, надеялась

---

<sup>43</sup> Песня из кинофильма «Белорусский вокзал».

<sup>44</sup> *Уши Каренина* – Лев Толстой. Анна Каренина. Выражение, ставшее нарицательным: содержит аллюзию на физическую

она, так удастся забыть об Олежке, хотя бы ненадолго? Какая-то апатия нападала на нее в такие минуты, словно что-то сковывало, и она не прерывала Игоря. Апатия. Обреченность. И раздвоенность. Словно она наблюдала за собой со стороны... сбоку... или откуда-то сверху. Это было очень неприятное, пугающее ощущение.

А Игорь словно и не чувствовал ее настроения, не замечал, что он ей неприятен. Только разговаривать с ним было интересно – можно было отвлечься от мрачных, безнадежных черных мыслей.

С каждым днем ее воздыхатель, как сразу окрестил Игоря отец, становился все более настырным, приставучим – так мысленно окрестила его она. Каждое утро начиналось с его звонка, потом он звонил еще несколько раз в течение дня, а по вечерам являлся пунктуально, в один и тот же час. Просто с боем часов на Спасской башне, как горько иронизировала она наедине сама с собой или в разговорах с отцом.

Иногда они ходили в кафе, в кино или в гости к Игорю, который при первой же возможности познакомил ее со своими родителями. Но каждый раз, когда Игорь провожал ее по вечерам домой, она боялась: а вдруг Олежка увидит их, когда они вместе входят в ее подъезд поздно вечером и поднимаются в ее квартиру – ведь это легко могло случиться, потому что он жил совсем недалеко. Тогда он бог знает что может подумать, да и сделать с горя! Сейчас только этого недоставало. Неизвестно, на что могут толкнуть его обида, ревность, отчаяние.

Но чаще всего они проводили вечера у нее дома. Игорь журил ее за то, что она много курит, – сам он не курил, – демонстрировал серьезные намерения, восхищался ею, говорил, какая она красивая, необыкновенная. Но как раз это было ей особенно неприятно.

...Похожий на молодящегося сатира студеной пожилой седой вечер гнусно хихикал, нахально прижимался к юной, стыдливо опустившей глаза ночи, беззастенчиво ласкал, щупал ее молодое смугло-шоколадное тело, вкрадчиво шептал что-то, заглядывая в бездонные черные, как графит, глаза, обволакивал словом и взглядом, склонял ночь к соитию... В один из таких вечеров Игорь снова сделал ей предложение и, хотя она упорно молчала, начал строить планы счастливой семейной жизни. Потом обнял ее, попытался поцеловать, решительно опрокинул на диван. Он иногда позволял себе такие вещи, но в тот вечер был настроен особенно жестко, будто решил сломить, наконец, ее сопротивление и добиться своего.

Она напряглась, сжалась вся.

– Нет... Не надо сейчас, я не могу! Не могу так и не хочу!

Игорь не выдержал – взорвался:

– А тогда зачем ты звонила мне сама, не возражала против того, чтобы я приходил? Ведь ты же никогда не позволяешь поцеловать тебя, мне даже лишний раз дотронуться до тебя и то нельзя! – Он даже поперхнулся от негодования, закашлялся, потом перевел дух и продолжал: – Помнишь, ты сказала: «Ты можешь делать со мной все, что тебе угодно, а я все равно буду с Олежкой». Так ты даже этого не можешь...

Она упрямо молчала. Ну, как можно быть таким бестактным! Она поневоле сравнивала поведение Игоря – и чуткость, такт Олежика... И все время ловила себя на странном ощущении: будто она смотрит на происходящее с ней со стороны – глазами Олежки. *Он* всегда был рядом с ней, он незримо присутствовал в ее жизни. Каждый день, каждую минуту Он – и пронзительная тоска по нему. Как тонко он чувствовал ее всю, как знал, что, когда, как сказать, сделать, какой был тактичный. Его глаза, губы, голос, запах... Его романтическое обожание, поклонение... Как тяжело... Как больно... Она закрыла глаза, застыла, замерла. Так почему-то легче, ведь любое движение приносит сейчас боль. Нет! Невозможно, невыносимо, немислимо жить без него... Но какое же все-таки счастье, что он не видит ее сейчас. Хотя, наверное,

чувствует... Ведь они связаны незримой, но очень прочной нитью, и эта нить не сможет оборваться – в этом она почему-то была уверена.

– Ну, что ты все время молчишь? Можешь ты хоть что-нибудь мне сказать или нет, ты слышишь, а?! – заорал Игорь, не выдержав затянувшегося молчания.

– Я же сразу тебе сказала – все равно ничего не получится... – как бесцветно, тускло, безнадежно прозвучали ее слова.

– Получилось бы, если бы ты захотела! Мы поженились бы, мои родители помогли бы купить квартиру, хотя бы для начала однокомнатный кооператив... И все у нас было бы тогда хорошо! И вообще, знаешь что! – Тут он явно начал терять терпение, перестал контролировать себя. – Ну в общем, так... Я... ведь я же сейчас мог бы всего от тебя добиться, поняла? А я могу: по принципу – поплачет и перестанет. И может, ты тогда смиришься... Но я так не хочу... И не могу! Мне нужно, чтобы это было твое решение, чтобы ты сама этого захотела...

В ответ она рассмеялась – недобро, почти издевательски.

– Ага! Сию минуту! Прямо сейчас?!

Игорь растерялся – он не ожидал такой реакции. Чуть помедлил, словно чего-то ожидая, потом встал, надел пиджак и молча вышел из комнаты, тщательно прикрыв за собой дверь. Она не проводила его, не вышла попрощаться, как обычно, как того требовало простое гостеприимство. Пока он обувался и медленно, словно на что-то еще надеясь, надевал куртку, шарф, шапку, в прихожую выглянул отец. За неплотно прикрытой дверью она услышала:

– А, вы уже уходите? Ну что ж. Всего доброго, – сказал отец. Сказал как-то формально, более сухо, чем обычно.

– Да... Мне уже пора, до свидания. Но... Георгий Федорович, скажите... а то я не очень понимаю... а что такое с Майей? Почему она такая?

Отец помолчал, потом, после паузы, ответил коротко, жестко, как осадил:

– Что ж... Есть у вас глаза – смотрите сами.

...И снова звучали в ушах Олежкины слова: «Пройдет время, и я тебе буду уже не нужен. Но ведь ты же не забудешь – ты же ведь не сможешь забыть все *это*...»

Чужой голос, чужой запах... Нет! Нет!!!

Что же, разменять одну реальность на другую, получить на сдачу чужую жизнь, принять ее как свою, настоящую? Жить дальше – не своей жизнью? Нет! Ни за что! Это не выход. И отец первый ее не поймет.

На следующий вечер, когда Игорь пришел к ней в обычное время, она подождала, пока он стал делать очередное предложение, собрала все силы и сказала в не свойственной ей манере – прямо, без обиняков:

– Знаешь что? Если хочешь со мной общаться, то знаешь, я теперь твердо решила: мы можем быть *только* друзьями.

Игорь с минуту помолчал, затем встал, не говоря ни слова, быстро надел куртку и ушел, не попрощавшись, тихо закрыв за собой входную дверь.

Ну что ж, не будет больше уютных теплых вечеров. И все-таки так лучше.

Чуть позднее в комнату вошел отец. Внимательно посмотрел на нее и негромко сказал:

– Ладно, да будет тебе, Майк, не *журишь*, не вешай носа! Скоро придет весна, и, знаешь, все обязательно образуется...

Когда же придет, наконец, весна? Может быть, тогда?..

А остатки здравого смысла подсказывали – нет! Конечно, весна-то придет, потом ее сменяет лето, осень... Только вот надеяться больше не на кого и не на что – она ничего не сможет склеить, починить, поправить.

## Много лет назад. Я...

В начале февраля, преодолев последний экзамен сессии, домучив, наконец, из последних сил курсовую работу, я решила сходить к одной старой знакомой, которая все звала к себе в гости – посмотреть, как Катька устроилась в новой квартире. А еще она хотела продемонстрировать мне своего нового парня, о котором рассказывала не иначе как восторженным шепотом, с придыханием.

В тот день Катька позвонила утром и радостно сообщила: как раз сегодня вечером она собирает на хате отличную компанию, намечается, так, небольшой *гудеж*, ну, в общем, придет всякий разный народ и, конечно же, будет ее ненаглядное сокровище – Костик или, как она его почему-то ласково называла, *Постер*. Позднее выяснилось, что Костик сам так окрестил себя, но прозвище моментально прилипло к нему намертво, как вторая кожа.

Почему-то совсем не хотелось идти к Катьке в тот вечер. Лучше бы остаться дома, спокойно посидеть с любимой книжкой, вместе с отцом посмотреть какой-нибудь старый фильм по телевизору, если вдруг покажут... К тому же мороз, похоже, у нас загостился: намертво сковал Москву, все никак не отпускал ее из своих ледяных объятий – и надоел до смерти.

– Да ладно тебе! – перебила меня Катька, когда я начала было вяло возражать что-то вроде того, что устала после экзаменов, а холод на улице ужасный, и, вообще, нет настроения. – Мы же давно не виделись, а потом, народ нормальный собирается, пообщаешься хоть с народом, чего дома-то киснуть!

Действительно, в четырех домашних стенах находиться было все труднее. И в самый последний момент я решила, что в компании легче будет отвлечься от тяжелых мыслей, роившихся в голове и надоедливо жужжавших там, как целая туча сердитых осенних мух, и от бесконечного ожидания его звонка... Да и жила Катька не так недалеко.

Когда я пришла, компания *на хате* гудела уже давно. В обтягивающей серой супермини-юбке с бахромой, нежно голубой водолазке и белых сапогах-чулках, я сразу почувствовала себя королевой компании. Однако народ подобрался странноватый, сильно разношерстный. Трудно было представить, как такие разные люди вообще могли оказаться под одной крышей.

Катькин Постер не понравился мне сразу.

– А-а! *Э-ти гла-аза нЕ-про-тив...* – ехидным сладким тенором, который притворялся бархатным баритоном, пропел *нецелованный подросток*, знакомясь со мной, переделывая и не удержавшись на грани пошлости, популярную песню Валерия Ободзинского. Постер театральным движением снял воображаемую шляпу, так же гротескно, словно мим в театре одного актера, склонился, будто молниеносно переломился пополам – он был худой и очень высокий, – чтобы поцеловать мне *ручку*. Неприятно поразила та бесцеремонность, с которой он уставился на меня, словно в своем воображении уже раздевал. В общем, сразу же бросалось в глаза, что он позер, прожженный циник, пошляк, и если влюбленный, то отнюдь не в Катьку, как та надеялась, а исключительно в самого себя. Это было видно по тому, как он общался с ней, да и с другими девушками тоже. Хамоватые развязные манеры, снисходительный, даже покровительственный тон, рафинированная квазиутонченность, *продуманно* спонтанные выбросы эрудиции, словесные штампы, выдаваемые за собственные гениальные перлы. Все это сильно настораживало. А еще Постер все время пытался перекрыть, переиначить на свой лад чужие фразы, будь то слова собеседника, популярной песни или классика мировой литературы, передрознить, высмеять всех и вся. А девушек он вообще ни во что не ставил – просто женоненавистник какой-то. Его скользкий, масляный, обволакивающий взгляд, словно раздевающий тебя всю, вызывал только раздражение, а вовсе не симпатию и не интерес, к чему он, наверное, стремился, а стойкое желание побыстрее оказаться подальше от него. Однако это хорошо зна-

комый типаж: сколько у нас таких развелось... Отъелись на комсомольских харчах – наглые, развязные. Да уж... Сколько уже раз я убеждалась – первое впечатление никогда не обманывает. Ну, почти никогда!

Очень скоро градус веселья в компании резко поднялся и продолжал расти в прямой пропорциональной зависимости от количества потребленного алкоголя. На кухне быстро увеличивался в размере частокол пустых бутылок, и компания за столом разбилась по интересам.

Однако! Бесцеремонность была, вероятно, свойственна и всей этой компании, а не одному Постеру. Рядом со мной за столом сидел Катькин брат Сашка, старше нас с Катькой года на три. Он накладывал мне на тарелку закуски, заботливо подливал в бокал красного вина – галантно ухаживал. Я была не очень хорошо с ним знакома, видела его редко, когда заходила к Катьке. Сейчас я сразу заметила, что Сашка упакован по всем правилам: на нем фирма – американские джинсы *Lee* и остро модная черная куртка из мягкой даже на вид, отличной выделки, кожи, на груди – конечно же, комсомольский значок. А, ну да, комсомольский *вожак*, поняла я и вспомнила, как Катька как-то говорила: *брательник* Сашка вдруг быстро пошел в гору по комсомольской линии в своем электромеханическом техникуме, стал усердно делать карьеру – какая уж там учеба, ведь он постоянно в комитете заседает... Сейчас Сашка разговаривал с парнем, сидящим за столом напротив. *Толян*, как его все время называл Сашка, – а это что за тип?

*Джинса*, ну, да, конечно! Весь, с головы до ног, в американской *джинсе*, явно из спецмагазина или из загранки, и, разумеется, тоже значок вечно юного вождя на груди. Комсомольский лидер? Да, и к тому же он старше нас и, вероятно, даже покруче Сашки будет, повыше стоит на комсомольской лестнице. Смотрит нагло, свысока – наверняка чувствует себя настоящим суперменом. А повадки, как у пошляка и ловеласа... Какая неприятная физиономия. «Конформист, – с неприязнью подумала она — то есть что это такое, опять? – я, конечно. Вот черт! Ну, почему я опять думаю о себе в третьем лице, а?»

Но этот, напротив... Партиец. Прагматик. Лизоблюд. Шаркун. Опасный человек.

Однако разговор показался интересным, и я стала прислушиваться:

– А знаешь, что я тебе на это на все скажу? Да у нас ведь еще тогда, в сентябре 68-го, было комсомольское собрание, и все, это самое, единогласно одобрили ввод войск – ага, и я тоже, разумеется, – громко, важно вещал Сашка, зажевывая водку хрустящим соленым огурчиком. – И потом, еще сколько раз проводили собрания на этот счет, последнее – месяца два назад. Да я его, знаешь ли, уже сам проводил... Растем, знаешь, карьеру делаем, во как, жизнь у нас кипит! *Политинформация – это очень важная часть нашей работы, идейного воспитания молодежи*, ну, скажи, да? – «Вот, прямо лозунгами шпарит, надо же», – с неприязнью подумала я. – А вообще-то это правильно, что наши им, ну, вот этим, чешским ревизионистам хваленым, всыпали как следует, и, наверно, мало еще, ну да ничего, мы им еще покажем, где раки зимуют!! Мы ж их союзники, и мы вместе должны быть, раз мы социалистические страны и строим социализм, и потом, мы им сколько помощи оказывали! Будут теперь иметь понятие, вот мы их!

Все понятно! Ату их! Фас! Хотя со времени вторжения в Чехословакию прошло уже несколько лет, эта тема постоянно обсуждается на советских кухнях и на работе в курилках, и в таких вот компаниях – все, кому не лень, спорят до хрипоты, часто, просто чтобы себя показать. А уж на партийных и комсомольских собраниях – там все согласно протоколу. Там все единогласно и единодушно, многие – не вникая, одобряют ввод войск, осуждают ревизионизм Дубчека и Компании, принимают единогласные резолюции – в общем, единодушно и решительно осуждают.

Конечно, все правильно. Собрания по утвержденному сценарию, резолюции, подписанные заранее... Мысли по шаблону.

– Ну, ваще-то, да, это точно, это ты верно сказал! В корень зришь. Они ж западным империалистам продаться захотели, эти ревизионисты! – отвечал Толян, опрокинув в себя стопку водки и закусив кусочком колбасы, и в голосе его прозвучала непоколебимая убежденность. – За эту свободу их хваленую, за удобства, за шмотки и технику западные. А мы их на правильный путь направили, а теперь вот продаться капиталистическому Западу не дали, и правильно! А то ведь что? Эти чехословаки нас обвести вокруг пальца хотели, ан не вышло! Ишь ты! Подумаешь, умные самые выискались, жить хорошо им захотелось! Деловые, правда! И чего, плохо им, что ли, было у нас в социалистическом лагере? Да и другим нашим союзникам чтоб было неповадно!

«То-то ты вовсе не в советском костюме из Мосторга сюда пришел, а в американских шмотках с ног до головы! – внимательно посмотрев на Толяна, с ехидством отметила я. – И дискі-то ты американские или какие уж там, но точно забугорные слушаешь, а не советские, которые воспевают преимущества реального социалистического рая!»

– Во, правильно! А чего они? Мы же их от немцев, от фашистов спасли во время войны, а они чего теперь затеяли! Где их благодарность? Что ж, они от нас теперь отмежеваться захотели? Вот это клево они зафинтили, скажи, да? Конечно, их хитрости можно противопоставить только танки! – злобно и решительно сказал Сашка. – И не введи мы тогда танки, так западные империалисты точно бы туда влезли! А нынешние-то натовцы и фээргэшники вон как бряцают оружием! А еще внедряются, идеологию свою навязывают, западной свободой, гады, соблазняют, изобилием! И вообще, им, ну, этим, точно нужна диктатура!

Тут уж я не выдержала, хотя мне вовсе не хотелось ввязываться в этот нелепый спор: все равно не переубедить этих кондовых комсомольских вожakov из рабочих семей.

– Ну, это же неправда! Вы что, правда, этому всему верите? Это же пропаганда, рассчитанная на примитивных людей! Так что ж теперь, танками давить свободных людей, так, что ли?! Да, захотели свободы, ну, и что в этом плохого, а? Что же, обязательно все в Чехословакии должно быть так, как у нас? А если нет, если по-другому, тогда что? Давить, стрелять, в тюрьмы сажать, если люди думают не так, как у нас в партии?! А теперь опять, что ли, вам диктатуры захотелось? Все-таки не в сталинскую эпоху живем!

Сашка тут же вышел из себя:

– А что, может, Сталин во многом был и прав! Ну не во всем, конечно! Конечно, мы все осуждаем культ личности. А зато боялись тогда все, и страх был, и порядок! И жили люди нормально, и трудились, и о всякой там ерунде и не помышляли! – Он явно повторял чьи-то слова. Может, родителей? Или своей бабушки? – И вообще, и в войне мы же победили, и солдаты в атаку шли за Родину, за Сталина – с именем Сталина на устах погибали за Родину, забыла ты, что ли, да?! И потом, ты знаешь, что эта компания во главе с Дубчекoм удумала?! Им же, видите ли, вот, это самое... ну, как это... да, вот! Им нужна была свобода слова, свобода вражеские голоса слушать, да еще этих проводников буржуазного влияния в страну впускать! Реваншистам, агентам империализма продаться они захотели, во как! Поняла? – кипятился Сашка. – А ты знаешь, чем это ваще-то пахнет? Реставрацией капитализма, ясно тебе? Штатники-империалисты и фээргэшники, конечно, в этом заинтересованы. Ну, а чехи эти – да они же ревизионисты! А свобода слова – ну зачем нужна чехам эта самая свобода?!

Даже так? Да он прямо как на комсомольском собрании выступает – вот как лозунгами чешет!

– А тебе она нужна? – не выдержав, перебила я словоохотливого Сашку.

– Знаешь, а ты не передергивай, не надо! Во-первых, что ты понимаешь под свободой? И потом, что это за власть такая, которая всем дает свободу! А нужна ли им эта свобода, ну, народу?

Я осеклась, но тут же ринулась в бой:

– Да, Саш, вот в этом ты, наверное, прав... Может быть, свобода нужна не всем, да и не все к ней готовы, не все ее хотят – не могут ее оценить. Кто-то ведь понимает ее как возможность творить все, что захочется. Но ведь если зажимать народ, не давать ему свободы и вот так душить его, то, конечно же, люди никогда и не научатся быть свободными и отвечать за эту самую свободу, – Я перевела дух и снова ринулась в бой. – И потом, Саш, ну как же так можно: вот молодые чешские парни подвергают себя самосожжению, жизни себя лишают за свою свободу и достоинство своей страны. Вот Палах, Заиц! Они ведь выступили против советской диктатуры с ее пулеметами и танками. За нашу и вашу свободу... Ну, не нужна им эта ваша диктатура! И вообще, если наше правительство их свободу танками давит сегодня, завтра это ведь и нас коснется – обязательно!

И вот тут в разговор снова встрял парень, сидевший напротив:

– Ты, знаешь что, ты говори, да не заговаривайся! Поосторожнее тут давай, ладно? А то знаешь... советская диктатура! Да за такие слова тебя... Ты, вообще, соображаешь: эту *ихнюю* буржуазную пропаганду повторяешь! И потом – свобода, говоришь, достоинство?.. Как тебя там, Майя, кажется? А то, что мы так живем, хреново, как попало! А они что? Вот же гады какие, хорошо жить вдруг, это, захотели, да? Подачки всякие получать от всяких там богатеньких *буратин* с Запада, особенно из США, ФРГ! Это, как считаешь, нормально? А те и рады стараться, пусть только эти от своих социалистических завоеваний откажутся! Нет уж, мы плохо живем – так и им не надо хорошо, на фиг надо! И потом, что это за власть такая, что она обычных граждан боится! Оппозиция хренова! Нет, это чехи должны бояться нормальной сильной власти! – с нажимом, с презрительным выражением на лице закончил он свою тираду.

– Во, это факт! Правильно излагаешь, Толян, одобряю, – залпом опрокинув рюмку водки, с удовольствием задышав ее вкус и не закусывая, опять включился в разговор Сашка. – А то ведь, если эти чехословаки такие ревизионисты, а правительство ихнее тем более, если они, это самое, проводники буржуазного влияния прогнившего Запада, да к тому же еще слабое правительство, так вот же пускай теперь почувствуют на своей шкуре, на что способна советская власть!

– Да нет же! Введение войск – это трагедия. И не только для чехов, но и для нас, и для всех советских людей даже еще больше, – отчеканила я слова, как строевой шаг. – А потом, как это, когда все руководство Чехословакии...

Тут я осеклась. Я хотела сказать им, что это ненормально, когда хозяин Кремля вызывает к себе на ковер руководство другого, суверенного, государства и отчитывает чехословацкое правительство, как неразумных малых детей, указывая, как жить дальше, предписывает, как им вести себя, перетасовывает членов правительства, как колоду карт, по собственной прихоти переставляет их, словно фигуры на шахматной доске... Но прикусила язык. А кто их знает? Вдруг кто-нибудь из них настучит в органы, особенно, Толян этот, шептун чертов! Каково тогда придется маме, отцу? Да и в университете мне так, пожалуй, не удержаться... Ведь выгнали же у нас всего несколько месяцев назад без права восстановления моего однокурсника Вовку Ромашова. А он в своей курсовой всего лишь осмелился доказать – на источниках! – что Ленин переоценил развитие капитализма в России начала XX века.

– Да ерунду ты полную тут лепишь! И ничего подобного! И потом, это самое, так Советский Союз еще раз заставил уважать себя в мире как сильная, как *великая* держава! Мы ж в великой стране живем, понятно это тебе, а? Вот так! Мы же сверхдержава, да! И нечего тут кривиться – этим гордиться надо! А нас зато теперь все снова бояться будут, как раньше, как после войны – и американские империалисты тоже! – моментально отреагировал Сашка.

Оба спорщика переглянулись с таким видом, будто один показал на меня другому обвиняющим перстом: «Ну что, видал дуру?» Я просто прочитала в их глазах, *услышала*: а что с нее взять – *телка!*

«Вероятно, у *этих* какие-то мужские проблемы. Явно завышенная самооценка в сочетании с презрением к женщинам – в общем, комплекс неполноценности», – вдруг подумалось мне. Но как же они шпарят этими навязшими в зубах советскими лозунгами – прямо как на комсомольском собрании! Да уж, вызубрили, а теперь повторяют, как попугаи...

Потом Толян спросил, обращаясь к Сашке и презрительно указывая на меня пальцем:

– А чего это, она самая умная, что ли, а?

Катькин брат проговорил примирительно:

– Да не, Толь, ты не думай... Она Катькина подруга, ну, учились они в одном классе, и она ваще-то даже нормальная девчонка, просто, ну, это, книжек она слишком уж прочиталась, а потом, слышь, она ж у нас *интИлигентка*, у нее же родители сильно ученые, профессора, и она в уни-вер-сите-те учится...

– А! Ну, вот, а я ж это самое и говорю – эру-ди-рован-ная какая, а, Сашок? Заучилась, наверно, – тут же отреагировал Толян, с видимым удовольствием выделяя, произнося почти по слогам, но не слишком уверенно, слово *эрудированная* и при этом продолжая нагло, оценивающе разглядывать меня. – Ну, и чего, видал ты эту шлендру? Деловая какая нашлась тут ваще, подумаешь! И чего это мы ее убеждаем, а? – Он умолк, но только на секунду, а затем с притворным сожалением изрек: – Да-а, а ваще-то жалко, да, Сашок? Я б такую бы сейчас закадрил запросто, во, в кайф! Девочка-то, это самое... очень даже ничего так себе, и физия очень даже симпатная, и фигурка, и ножки, и вообще все... Я бы с такой... А, Сашок?

«Хочет победить меня как мужик, положить на обе лопатки, *пойметь*, – поняла я. – На моем поле ему играть трудно».

Когда я сталкиваюсь с открытым хамством, когда вижу перед собой распоясавшегося нахала, я всегда теряюсь и не знаю, как поступить, что ему ответить, и надо ли вообще отвечать. Так случилось и на этот раз. Я не сразу нашла нужные слова, хотя меня и разбирало зло на этих комсомольских карьеристов – тоже мне *вожаки*! Но ведь они разговаривали так, словно меня здесь вообще не было!

Я с недоумением пожала плечами и произнесла сквозь зубы, подчеркнуто игнорируя агрессивного Толяна:

– Да ты, Саш, вообще уже не сечешь: народ, который ни во что не ставит человеческую Жизнь, и страна, которая не уважает человека, издевается над человеческим достоинством... Нет, такой народ не сможет никогда стать великим, сделать свою страну великой державой! У него просто нет шанса, как же не ясно?

Сашка дипломатично промолчал, зато Толян тут так и взвился:

– Да ты, вообще, отдаешь себе отчет?... Да фигню полную ты тут несешь, уясняешь? Да! Ах, свободы тебе не хватает? И вообще, заладили тут теперь вдруг все: *Ах, свобода, ах, свобода!* – язвительно, злобно произнес он, явно передразнивая кого-то. – Ты это что, всякой еврейской самиздатовской дряни, что ли, прочиталась, а теперь изгаляешься тут, да?! Эту их жи... Ах, извини, ты, конечно, сейчас скажешь, так нельзя говорить, – кривляясь, как клоун в цирке, издевательски произнес он, обрывая себя на полуслове. – Еврейскую пропаганду повторяешь, да? Эти козлы, эти отщепенцы пишут тут хрен знает что, а ты все это за ними повторяешь, да? Да на фиг не нужна никому у нас в Союзе эта твоя свобода, о чем ты говоришь! Не хотят русские люди – не евреи, а русские – поняла? Не хотят русские этой твоей свободы! Это ревизионизм! У нас в стране, если хочешь знать, свобода эта, так она даже вредна! И вообще, если на то пошло, у советских людей другая свобода! А этих, самиздатовцев давно всех пере-сажать пора! И правильно их сажают! И ты, что, тоже с ними за компанию в тюрьгу захотела, а? Давай, вперед – и с песней!

– Да ладно уже, хорош, Толян, чего возбуж-то так? Да успокойся ты! – попытался Сашка урезонить распоясавшегося хама.

– Ну, ладно, дальше все понятно с вами, – произнесла я ледяным тоном, ни к кому конкретно не обращаясь. – Вы только смотрите не задохнитесь от злости и зависти, ладно?

– А и чево ты там бормочешь-то, а? – подозрительно переспросил Толян.

– Да так, ничего.

– А чего это она тут выпендривается, какая умная нашлась, умнее всех, что ли, да? – сквозь зубы процедил он.

Нет, такого я не ожидала. Я даже опешила от такого хамства. Вот придурок! Так и хотелось врезать этому Толяну, сказать ему что-то грубое, резкое, обидное. А потом сразу же уйти отсюда.

Ничего себе влипла, теплая попалась компания, во, Катька, дает! А меня-то с какой радости сюда занесло? И к чему что-то говорить, убеждать *этих* в чем-то?! Все равно не поймут. Мы говорим даже не на разных языках, а как если бы домашняя кошка вдруг вздумала беседовать со злобной бездомной собакой... Да и вижу я этого Толяна в первый и уж, надо думать, в последний раз. Правда, у нас в стране многие думают так, как он...

Вероятно, почувствовав, что хватил через край, и заметив выражение моего лица, Толян вдруг словно опомнился, одернул сам себя, сменил пластинку, заговорил примирительно и как-то вкрадчиво:

– Слушай... Да ладно уж... И вообще, Майя... ну, не твоего ума это дело... Ты вон какая красивая девчонка, и нечего тут умничать. А то... книжек, поди, начиталась, обалдела, что ли, совсем, ишь, деловая какая выискалась! Ну, все, проехали уже! Хорош выкобениваться, годится? – нагло заявил он. – И ва-аще, нечего тебе забивать свою хорошенькую головку всякой фигней... А то, гляди, так и внешность испортишь... – Толян говорил медленно, с расстановкой, и глаза у него сделались наглые, масляные, расплылись, зрачки стали маленькие-маленькие.

Он цинично рассматривал меня, обволакивая взглядом, сразу ставшим масляным, так, словно уже уединился со мной где-то в пустой комнате и там уже стягивал водолазку, юбку... Он процеживал и выплевывал слова сквозь зубы, одно за другим, словно щелкая семечки, сидя где-то на завалинке, а последние произнес издевательским тоном, словно по неразумной головке потрепал или по нежной девичьей ручке снисходительно погладил.

Сашка нагнулся к Толяну, что-то прошептал, наверное, хотел остановить его, урезонить, но тот отмахнулся от него, как от назойливо жужжащего у самого уха комара.

– А знаешь что? Ты вообще-то зачем сюда пришла? Для умных дискуссий или... Давай-ка с тобой лучше выпьем чего покрепче – водочки? – на брудершафт, а потом пойдем потанцуем – в другую комнату, конечно, а то чего спорить? Ты мне сразу понравилась, вот как только вошла, только чего-то выпендриваешься слишком уж...

Неискренность, хамство, незатейливый расчет *склеить* и уложить девочку в койку прямо здесь и сейчас, уверенность в том, что она только и мечтает с ним переспать, просто цену себе набивает – все это выпирало из него прямо ключьями, как лезет тут и там грязными ключьями ватин и торчат пружины из старой, обитой дерматином двери. От обиды я задохнулась, не знала, стоит ли отвечать что-либо этому придурку, только кусала губы от досады. Прожженный циник, к тому же хам невежественный – вот он кто! Как ужасно, когда злоба, ненависть, зависть в человеке достигает критической точки. Я замечала уже не в первый раз: у этих людей даже язык совсем другой. Мы просто говорим на разных языках и, наверное, никогда не пойдем друг друга.

А еще я подумала, что, будь здесь Олежка и услышь он такие слова, обращенные даже не ко мне, а к какой-нибудь другой девчонке, то он уж точно разобрался бы с этим Толяном, вышел бы с ним на улицу, поговорил бы с ним на свой манер... Ведь что-то подобное уже случилось однажды, когда мы с Олежкой были в какой-то компании, и мне чуть ли не силой пришлось удержать его от такого *разговора*.

И тут я, наконец, поняла, что так настораживало на этой хате. Этой компании не хватало элементарного воспитания. Искренности. Но, главное, этому *народу* в компании не хватало достоинства.

Мне стало совсем уж противно – захотелось немедленно уйти. Но в этот момент наевшийся и напившийся *народ* встал из-за стола и на полную мощность включил модную рок-оперу «*Иисус Христос суперстар*». После застолья начался танцевальный *междусобойчик* под Битлов, *Mummy Blue* и остро модную заводную *Yellow River*. Почти сразу же кто-то погасил верхний свет, в комнате горела теперь только тусклая лампа-бра в дальнем углу. Полутьма. Интим... Народ стал разбиваться на пары, и спустя какое-то время возникла острая нехватка места, поскольку стремление пар *склеиться* и где-нибудь уединиться естественным образом возрастало в зависимости от выпитого.

Народ в комнате сильно поредел, а два-три оставшихся парня были, очевидно, ярыми поклонниками блатной *лирики*: они с надоедливym постоянством крутили «*Мама, я жулика люблю!*» в исполнении не то Алеши Дмитриевича, не то кого-то еще – я неважно разбираюсь в классике блатного шансона... Катьки нигде не было, она, конечно, уединилась со своим Сокровищем... И я стала подумывать, что надо бы уходить, а то поздно будет возвращаться, да и здесь меня ничто не держит, и отец просил вернуться не под утро, когда вдруг услышала:

– Не помешаю?.. Знаешь, я не понимаю, как это может кому-то понравиться. Неужели тебе нравится такая музыка? – и рядом со мной на диван присел молодой человек, на которого я, как ни странно, до сих пор как-то не обратила внимания в этой компании.

Довольно высокий, коренастый, очень крепкий на вид, темные короткие волосы, нос горбинкой, глаза *чайного* цвета, как я тут же их ехидно определила для себя словами популярной песенки, небольшие усики – в общем, самый обыкновенный, ничего особенного. Но Георгий, Гоша, как представился парень, вел себя не в пример другим ребятам, скромно, очень сдержанно, не распускал руки, не предлагал, как другие, тут же уединиться в укромном уголке и, похоже, пришел сюда не только для того, чтобы с ходу *снять* какую-нибудь девочку И в отличие от большинства компании, он совсем не был пьян: тут же сообщил, что не курит и не пьет ничего, кроме сухого вина, – не пьет принципиально.

Говорил он очень мало, вопросов не задавал вообще – так, отвлеченный треп ни о чем, а больше молчал, просто тихо, ненавязчиво сидел рядом. Все же выяснилось, что Постер – его друг, они учились на одном факультете в МГУ и иногда общаются, и что и Катьку он знает давно, что он окончил университет и уже работает.

После паузы Гоша сказал негромко:

– Слушай, а ты молодец... Я ведь тут слышал, ты здорово отбивалась от этих... И, в общем-то, все правильно. Хорошо им все это излагала. Только...

Я внимательно посмотрела на него. И этот тоже *нецелованный*? Иронизирует? Издевается, как те двое, только утонченно? Но он был совершенно серьезен, и тон его казался искренним. Но в таком случае, что он делает в этой компании? Его-то каким ветром занесло на эту хату?

Вероятно, почувствовав мое недоумение, Гоша продолжал:

– Ну эти, Сашка и... этот, как его там?.. Не помню даже, ну, и черт с ним вообще! Видишь ли, я тут просто услышал случайно эту вашу ученую беседу, уж ты извини, подслушивать не собирался... Так, в первом приближении, ты его здорово срезала. И с таким воодушевлением выступила, так искренне...

– Ну и что ты хочешь этим сказать?.. – напряглась я.

– Да нет, правда! Ты все правильно говорила. Только вот зачем старалась? Зря, в общем-то. Они оба навряд ли в состоянии понять, что ты говорила, они и слова-то такие едва ли когда-нибудь слышали... Ну, в общем-то, ты все это напрасно затеяла... Их в принципе ни в чем убедить нельзя... С этим вторым все вообще ясно, таких убеждать себе дороже, ну, а

Каткину семью я тоже неплохо знаю, там ученых отродясь не было, хорошо, если восьмилетку окончили...

И снова повисло молчание. «Что же он, в таком случае мог бы и вмешаться, поддержать», – подумалось мне. Но я, разумеется, промолчала. Я ведь его знать не знаю, в первый раз вижу. Да и потом, поддерживать разговор как-то не хотелось.

– Тебе ведь не нравится здесь? – сказал Гоша после очередной длительной паузы, внимательно посмотрев на меня. И поскольку ответ был очевиден, предложил: – Может быть, тогда уйдем сейчас потихоньку, выйдем кое-куда кое-зачем, по-аглицки, никто и не заметит, и я тебя домой провожу, а то ведь уже поздно.

Я даже не заметила, как внезапно началось это странное молчаливое сдержанное ухаживание. Мы шли рядом, но на пионерском расстоянии, и почти все время молчали. Только когда проходили по темному в этот ночной час Ломоносовскому проспекту мимо кинотеатра «Прогресс», я, прочитав на слабо освещенной афише название фильма и думая, конечно же, о своем, не смогла удержаться от горького восклицания:

– Любовь! Как же часто бросаются этим словом!

Гоша отреагировал моментально, стремительно, точно – принял пас:

– Да, конечно, когда ее нет...

Но не могла же я предположить, что именно эти мои слова станут приглашением к действию!

К действию – и *Деятель*. Именно Деятель – так наречет Георгия мой отец буквально на следующий день после того, как увидит его. И надо же, его звали так же, как отца... Да, вот действовать Гоша начал уже в первый вечер. Молча, стремительно, внезапно, без лишних слов. Просто вдруг резко остановился, ничего не говоря, уверенно и решительно, хотя и не грубо, словно не рассчитывая встретить сопротивление, повернул меня к себе, поцеловал. Я растерялась: такого я от него не ожидала, тем более, в первый же вечер, и не очень понимала, как на это реагировать. Я только промолчала. Потом так же, ничего не говоря, обнял и пока мы дошли до моего подъезда, поцеловал еще несколько раз...

Он меня озадачил. Я не знала, можно ли ему верить. Я боялась ему поверить.

На следующий день, а была суббота, мы встретились днем, как договорились накануне, прощаясь у моего подъезда, и поехали в гости к Постеру, где уже хлопотала-хозяйничала Катька.

Посидели за столом, послушали музыку, а потом Катька уединилась со своим Сокровищем...

Гоша показал себя мастером художественного поцелуя под музыку Битлов, которых он обожал. Позднее я не могла объяснить себе, как вообще приняла это молчаливое ухаживание, согласилась на это стремительное сближение уже в первый, во второй вечер.

Но так хотелось избавиться, наконец, одним махом от зачарованной Воронки бесконечности. Теперь она была невозможна, немыслима, выведена за скобки моей жизни. Теперь она была запрещена, объявлена в розыск, поставлена вне закона. И надо, обязательно надо было убить ее – любовь-Воронку. Вырвать ее всю, с корнем, как разросшийся внутри меня и вылезающий наружу жирный сорняк. Избавиться от пронзительной тоски, от роя назойливых жужжащих мух-мыслей в голове. Избавиться от Олежки так же решительно, как несколько месяцев назад я избавилась от его ребенка...

И, в отличие от Игоря, который был мне неприятен, Гоша меня скорее заинтересовал своей сдержанностью, молчанием, силой, а еще, как мне показалось, – мужественностью, надежностью.

...Играла нежная песня *Golden Slumbers* — ее трогательная мелодия, вкрадчивый голос Маккартни обволакивали, расслабляли.

И Гоша обнимал меня, целовал, держа на коленях, словно тоже обволакивая, расслабляя...

*Sleep, pretty darling, do not cry  
And I will sing a lullaby...*<sup>45</sup>

...Я и не заметила, как закончилась песня, как потом остановилась кассета в магнитофоне, погас свет, как Гоша, продолжая целовать меня, поднял на руки и понес к дивану И вот тут слезы неудержимо покатались из глаз...

Он прошептал:

– Майя... Что? Не надо?

Я кивнула, сама толком не понимая, что это – да? нет? – но промолчала... И поняла, что Рубикон уже перейден.

«Какой он мужественный, сильный», – думала я потом, когда все было кончено и мы лежали рядом в постели.

Как хотелось поверить! Себе, в себя. Как хотелось опереться! На него.

Станный букет чувств – стыд, глухое разочарование, раскаяние, радость, облегчение... Свободна, наконец? Хотелось плыть по воле волн, тем более, что для этого и делать-то ничего не надо было – только слушаться течения.

Дома, в комнате, поздно вечером, я сидела в темноте и старательно не думала ни о чем. Стоило закрыть глаза – и возникал Олежка. Он тихо садился рядом и молчал – я не слышала его голоса, – а только пристально и очень внимательно смотрел своими темно-серыми глазами прямо мне в глаза, чувствуя, зная все. В его глазах я читала:

– Но ты ведь не сможешь забыть все это... Правда? Цветочек мой...

И я отвечала ему, только вслух, вполголоса:

– Нет, смогу! А может, и не смогу, только это ведь уже неважно – все равно это будет уже без тебя...

А я читала в его глазах дальше:

– Так ты все это забыла... Так быстро... Но как же так?

И хотелось заорать во все горло:

– Нет! Конечно, не забыла! Нет!! И не смогу!!!

Ну, да! Заорать – и переполошить весь дом.

Она распахнула дверь в мою комнату, влетела, не спросив разрешения, подскочила к дивану, плюхнулась рядом, бесперемонно, вызывающе посмотрела мне в глаза.

– А вот это уже предательство! – Она швырнула мне в лицо эти слова. Бросила их жестко, почти жестоко. Как будто пощечину звонкую залепила.

– Нет уж, извини! И уймись, пожалуйста, будь так добра! – с каким наслаждением отбила брошенный мне, как в волейболе, мяч. – Это просто обман или, лучше сказать, банальная измена, а вовсе никакое не предательство, ясно тебе? Все в жизни бывает, дело-то житейское... И нельзя к этому относиться так серьезно, как ты это делаешь.

Она молчала, только смотрела, насупившись, исподлобья. Потом, помолчав, ехидно заметила:

– Ну, ты же лингвист! Конечно, в русском языке слово измена звучит все-таки чуть мягче, чем *предательство*... Ведь дело-то, как ты говоришь, житейское. Но только... ты ведь сама знаешь, чего стоит эта игра слов? А вот в итальянском языке эти два слова соединены в одном и имеют одно и то же значение.

---

<sup>45</sup> «Спи, дорогая моя, спи, одни мы с тобой в ночи, /А я колыбельную спою, ты не плачь, ты молчи». Песня Битлз «Золотая дрема» (1969 г.)

– Ну и фиг с тобой и с этой твоей, как ее там, всепоглощающей любовью-Воронкой! Воронка бесконечности, подумаешь! И если тебе хочется там оставаться, в этой проклятой Воронке – вперед, и с песней, и больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай!

...Ну, все правильно! Эта святоша никогда бы так не поступила. Нет, она будет сидеть дома, у окна – а вдруг *Он* пройдет мимо! – и хранить верность своей вечной верной Любви, которая каждый день тихо и незаметно сжигает, уничтожает ее. Теперь будет приносить себя в жертву этой невозможной, больной любви-Воронке, которая стала, может быть, даже ее Пирамидкой, как в детстве...

Как-то вечером отец в задушевной беседе спросил, хотя это было вовсе не в его правилах, что, собственно, связывает меня с Деятелем, которого он уже не раз видел, когда тот приходил ко мне. Весна тогда уже насмерть разругалась с зимой и, прогнав загостившуюся соперницу, уверенно и прочно заняла ее место.

– Майк, но как же так?.. – с удивлением и тревогой в голосе проговорил отец. – Я что-то, честно, говоря, не понимаю... Не понимаю тебя.

– Отец... ну а что? Деятель... он такой серьезный. Молчит, очень сдержанный, но зато если уж что-то скажет... Это надо ценить.

...И я вдруг вспомнила один недавний, совсем короткий разговор с Гошей.

– Все у нас так неожиданно началось, и ведь ты должен был бы... относиться ко мне по-другому... иначе... Ну, скажем так... несерьезно.

– Да, мог бы. Но этого не произошло, – сказал, как отрезал.

Он казался сдержанным, надежным, правильным – настоящим сильным мужчиной, *опорой*.

Что-то рождалось тогда между нами. Может быть, это была и любовь – но какая-то слабая, недоношенная...

Отцу я не рассказала об этом разговоре. Почему-то я произнесла другие слова:

– Отец, ну... знаешь ли, он такой правильный, надежный. И он уже работает, и серьезный такой. И потом, он не пьет. Представляешь, *вообще не пьет*, практически совсем!

Отец невесело усмехнулся.

– О да... Ну это, конечно, *очень* убедительный аргумент.

Он долго молчал, потом произнес очень медленно, как-то нехотя, через силу:

– Знаешь, все, может быть, и так, но одного я все же не понимаю – как он мог так поступить? Что, он не видел, в каком ты была состоянии, что же он, воспользовался этим?! М-да... По моему мнению, это за пределами. Ну и ну... – Отец покачал головой, пристально посмотрел куда-то сквозь меня, как будто что-то увидел там, за моей спиной, и глаза у него вдруг потускнели, словно кто-то сильно дунул и разом потушил их, и сделались совсем больные. Потом, после паузы, заключил: – Да уж! Я очень хотел бы ошибиться, но, знаешь, что... ты все-таки будь с ним осторожнее, приглядись-ка к нему повнимательнее...

Что же, я опять попала в Зазеркалье? Я снова надела на себя *чужие галоши*! Что это – снова чужая реальность или, не дай бог, еще одна Воронка – чужая, не моя? Или все же настоящая жизнь – *моя*!

## Много лет назад. Она...

Долго, может быть, полчаса, а может, и больше, тряслись они с Олежкой в старом дребезжащем развинченном автобусе от ВДНХ куда-то в отдаленный район Медведково: линию метро в этот район тогда еще не провели. За окнами полупустого в эти послеобеденные часы автобуса временами тихо всхлипывал обиженный кем-то с самого утра октябрьский дождь, размазывал по щекам холодные грязные слезы, старательно тер мокрые глаза свинцово-серыми ледяными кулаками. Даже в автобусе было сыро, промозгло. На улице же холодный ветер пронизывал, добираясь до костей. И погода стояла отвратительная уже много дней подряд. Свинцовые тучи взяли город измором, загородили его от всего мира, заволокли небо, казалось, навсегда. Все вокруг стало тусклым, расплывчатым, плоским и каким-то нереальным...

День хмурился с самого утра, но теперь он мрачнел прямо на глазах. Он, похоже, встал сегодня не с той ноги, дулся, отмалчивался, сердито сдвигал темно-серые густые брови, а потом и вовсе зашел в какой-то из близлежащих домов и незаметно переоделся в вечер – темно-серое марево стало быстро разливаться по улицам города. Еще не совсем стемнело, и только-только начали зажигаться огни отдаленного московского микрорайона. Но пока они ехали, мрачное, низкое, грязное свинцовое небо провалилось на огромный город откуда-то с высоты и легло на него, придавило всей своей тяжестью, смешалось с ним.

Сейчас они проезжали по какой-то узкой длинной улице, петлявшей по всему микрорайону, – и она окончательно перестала ориентироваться. Куда они приехали? Но даже здесь, на окраине города, она читала на крышах невысоких невзрачных грязно-серых домов навязчивые лозунги страны развитого социализма. Здесь было все: и призывы – «*Решения XXIV съезда КПСС – в жизнь!*», «*Миру мир!*», «*Партия – наш рулевой!*», «*Даёшь пятилетку за 4 года!*»; и угрозы: «*Коммунизм неизбежен!*», «*Мы придём к победе коммунистического труда!*» И еще почему-то агитация: «*Летайте самолетами Аэрофлота!*». И вдруг «*Мир! Труд! Май!*» — странно, ведь в окна давно постучался октябрь.

...В конце лета они снова стали встречаться после долгих месяцев разлуки, но в последнее время виделись очень редко. Олежка, очень оживленный, был явно рад встрече, все время что-то говорил, рассказывал, кажется, смешное, но ей не было смешно, да и слушала она в полуха, отстраненно. Почему-то слова его больше не бежали друг за другом вприпрыжку, не опережали друг друга, играя в догонялки. Даже темно-серые его глаза больше не были горячими... Странно, а куда же запропастились его игривые, вечно подпрыгивающие на одной ножке смешинки с хитринками?

М-да... Концентрические круги по воде...

Они приезжали в Медведково уже несколько раз. Там, на самой окраине Москвы, подальше от любопытных глаз, они могли побыть совсем одни, уединиться, не бродить под дождем в это промозглое время года.

«Да, разрослась моя Москва, вот как распласталась – далеко-далеко, – думала она. – Однако как одинаковы, словно на подбор, все эти новостройки, которые появились в разных частях города. Почти близнецы. Хотелось бы сказать, выросли... Но, в основном, это до уныния одинаковые низенькие пятиэтажки; иногда среди них попадаются девятиэтажные блочно-панельные дома, и уж вовсе редко возвышаются гордые шестнадцатизэтажные красавицы. Хрущевские кварталы – новостройки Дегунина, Выхина, Чертанова...»

Наконец, вот она, конечная остановка автобуса, – можно выходить. И вдруг она поймала себя на странном ощущении: ей совсем не хотелось покинуть автобус и входить в теплую квартиру, чтобы хоть недолго побыть рядом с ним, наедине. В теплую пустую чужую квартиру...

Это ощущение возникло неожиданно уже в первый раз, когда они сюда приехали. Хрущевская пятиэтажка, спрятавшаяся где-то в лабиринте медведковского квартала среди точно

таких же пятиэтажных сиамских близнецов. Далеко даже от автобусной остановки, не то, что от метро... Одна она ни за что бы не нашла ее. Такси здесь ни за что не поймаешь – просто не найдешь, вот и все. Не уговоришь шофера ехать сюда, на эту забытую Богом окраину, никто тебя не повезет ни за какие деньги – ни днем, ни, тем более, вечером.

На крыше мышиного цвета пятиэтажки красовался лозунг «*Даёшь БАМ!*» — единственное яркое пятно в округе, а на двери подъезда нацарапан незатейливый изыск русского языка – коротенькое слово, хорошо известное народам всего мира. Перед домом ни одного деревца, у подъезда торчит одинокой уродиной обломившегося зуба телефонная будка с выбитыми стеклами, вырванной с «мясом» трубкой и, кажется, с отсутствующим диском. «Значит, – привычно отметила она про себя, – отцу не позвонить, если будет задерживаться, – в этом районе телефонов в квартирах еще нет, и неизвестно, когда поставят».

Они торопливо вошли в подъезд – входная дверь отчаянно заскрежетала, заскрипела, поддалась с трудом. В подъезде воняло кошачьей мочой и еще какой-то гадостью. По грязной заплыванной лестнице поднялись на третий этаж... Она видела себя со стороны, отстраненно наблюдая за ними, будто прокручивала пленку черно-белого фильма в замедленном режиме.

... Вот он вставил чужой ключ в замок чужой квартиры, вот хлипкий чужой замок заупрямился, прокручиваясь, не признавая в нем хозяина, но потом все-таки подчинился ключу и руке, державшей ключ...

Вот они вошли в квартиру, а затем ключ снова дважды повернулся в замке, защищая, отгораживая их от внешнего мира.

Она ни разу не спросила, чья это квартира, где хозяева, не могут ли они вдруг прийти. Кажется, он однажды сказал, как бы между прочим, что это квартира каких-то родственников... Очень бедно обставленная комната, разнокалиберная ветхая мебель, как на старой даче, пыль повсюду. Наверное, хозяева тоже приезжают сюда редко...

Да, это точно в соответствии с линией партии – каждой советской семье по отдельной квартире! Конечно. Никто же не обещал хоромы. Убогая советская халупа начала семидесятых... Коммунистический тупик хрущевской однушки в одном, отдельно взятом районе на удалении от кремлевского рая. Хрущевки Медведкова, Бирюлева, Черемушек – конечные станции на пути к светлому коммунистическому Завтра. А сегодня конечная остановка здесь – именно здесь и находится однокомнатный советский рай... Но зато в квартире хотя бы сухо и тепло – уже начали топить.

В квартире повисло неловкое молчание. В крошечной пятиметровой кухне Олежка нашел спички, две чашки, заварку чая, немного сахара, поставил на огонь чайник, достал из кармана пиджака большую плитку шоколада. Да, вот так лучше: чаем можно заполнить какое-то время, а у нее его не так уж и много...

Как страшны, как отвратительны эти свидания в чужой квартире, с чужими запахами, в чужой постели! У нее возникало ощущение, будто кто-то невидимый и ехидный стоит рядом и наблюдает за ними, и делает ядовитые замечания, дает фривольные советы. Ну да, конечно, старая кровать омерзительно скрипит, вот-вот развалится...

Ну да! И что с того, – тебе-то какое дело?!

Лежа с ним рядом, прижимаясь к нему всем телом, обнимая, целуя его, она, в который раз, поймала себя на странном ощущении: она наблюдала за *ними* словно со стороны, сбоку или сверху – очень неприятное чувство...

«Что же такое происходит с ними – или с ней? – спрашивала она себя. – Ведь они сейчас так близки, как только возможно».

Ей так его не хватало! Может быть, всему виной эта чужая квартира, чужая постель? Но услужливая память подсказывала устами героя «Пяти страниц», *что виною не комната и не кровать*.

«Ну да, это все как-то не так и не то, – заводила она внутренний диалог с самой собой. – Но что теперь делать? Надо же им где-то встречаться. Они же не герои западного фильма. Тем проще: пошли в любую гостиницу – и все! А в этой стране такое невозможно!»

Олежка был такой же, как всегда, очень нежен, деликатен, ни о чем не спрашивал... Тот, самый главный, вопрос она подмечала несколько раз – в его глазах. И ей казалось, он уже все понял про нее и просто боится задать прямой вопрос, и отводит глаза. Она понимала: он боялся спрашивать. Он боялся услышать ее ответ. «Но если это так, – с ужасом спрашивала она себя, – что он может подумать о ней? О ней, которая никогда не умела принять решение, не умела сказать решительное “Нет!”»

Она понимала: так больше нельзя. Так можно себя потерять... Весь вчерашний вечер она провела с Деятелем.

Ну, совестно, конечно, и неловко. Но, с другой стороны, и что с того? А что она теперь может сделать? Это так бывает в жизни.

Дело-то житейское.

Олежка, конечно же, что-то знал, что-то видел, чувствовал – она замечала это по его поведению. Но он молчал, хотя это было совершенно на него не похоже. Может быть, его еще можно понять – он боялся узнать правду. Но кто же она-то, в таком случае?!

Ей так не хватало его меланхолии, его романтического обожания, его неистовства... Да, но где все это сейчас, когда они здесь, только они одни, вдвоем, в этой квартире?.. Что же случилось? И где та горько-сладкая Воронка бесконечности, в которую они уплывали вместе? Их дар, их зачарованная Воронка? Она ведь была *живая*, трепетная, их Воронка: она стонала, дрожала, страдала, она дышала, чувствовала, извивалась... Она умирала от счастья! Может быть, в нее можно попасть не всегда? Это она начинала постепенно осознавать. Что же, они потеряли это право? Свое право на счастье. Но они же любят... Не могут друг без друга... Не могут?..

В окно стучал дождь. Черно-серый дождь уже не всхлипывал. Он распростер над Москвой свои огромные руки, безутешно рыдал и не успевал вытирать слезы, и бесконечные слезы дождя струились по его антрацитовым стеклянным щекам... Или это уже не дождь – а страх опять прилетел? За окном их ожидала черная ночь, холодная, слепая, глухая.

И вдруг ее пронзила, острием проткнула боль. Яркое, сверкающее воспоминание... Что же это? Ах, да!

...Августовский звездопад... Антрацитовая ночь в зачарованном лесу... Багрово-алая от страсти августовская ночь прерывисто дышала, смеялась, захлебываясь от счастья. Ночь подмигивала им яркими глазами августовских звезд, а изредка теряла какую-нибудь звезду – она медленно скатывалась по небу на землю, как сверкающая слеза... Страсть была душистой ночью, лесом, небом, травой, поваленным деревом, ночным свежим воздухом. И светила им сверху луна: молочно-белый плафон плыл в вышине. И страсть была молочно-белой луной и распахнутыми глазами крупных, ярких августовских звезд, глядевших на них сквозь деревья...

Зачарованная багрово-алая Воронка страсти затягивала глубже, глубже... глубже... А страсть извивалась оранжево-рыжими языками пламени, захлебывалась восторгом, счастьем! Страсть умирала от счастья и рождалась вновь.

Его глаза силой телепортации поднимали ее до самого неба, и они вместе взлетали ввысь, как на гигантских качелях, а потом падали вниз с головокружительной высоты, чтобы снова взлететь. Летело, гудело огромное чертово колесо, а небо все падало и падало на землю.

Лес хохотал, вспыхивал, гас. Небо устремлялось ввысь, а потом опрокидывалось на землю. А захлебывающаяся в экстазе страсти мелодия грохотала, гремела в мажоре, разбрызгивая вокруг тысячи разноцветных искр, звенела небесными колокольчиками чуть слышно, почти замирая. Торжествующая, неотвратимая, хохочущая музыка *Вальпургиевой ночи*.

*То любви недуг...* и его умиравшие от страсти любимые глаза.

Мудрость природы. Языческий ритуал. Соединение с Вечностью. Две души становились одной – и летели, и звенели, сплетаясь в одну, и падали в зачарованную Воронку бесконечности... А дна у нее не было...

– Майечка, лапа, ты что, плачешь?

Надо же, а она даже и не заметила, как покатались слезы...

– Нет, ну что ты! – она резко села в постели. Надо контролировать себя. – Просто... Ой, что-то в глаз попало, и потом, с утра аллергия замучила! – И она стала демонстративно тереть глаза, чтобы незаметно, как ей казалось, вытереть слезы. А потом, посмотрев на часы, ровным тоном сообщила: – Все, уже пора, ехать отсюда почти два часа, а уже поздно.

*Что ж потом? Но окончен тот путь – нет возврата.  
Если любишь – не ждешь горя, боли, утраты.  
А король? Он тебя потерял, но не смирился – он верил...*

В автобусе, по дороге домой, Олежка пытался расшевелить, рассмешить ее, рассказывал анекдоты.

– Слушай, Майк, а этот ты знаешь, про нашу девятую пятилетку, которая сейчас? Значит, так: ну, вот притащили в вырезвитель пьяного мужика, спрашивают, как зовут, где живет, сколько лет. На все у него одно: «Не знаю, не помню...». Только на вопрос, а какой сейчас год, отвечает: «Наступает *третий, решающий...*»

Она улыбнулась через силу, но почти весь остаток пути они молчали. Ощущение отстраненности преследовало ее. Наверное, Олежка испытывал те же чувства: он не пытался заговаривать с ней, обнять, прижать к себе, как раньше.

Любить. Не получается. Любить. Перед ее глазами возникла вдруг открытая книжка, на странице которой она прочла строчку стихотворения известного эмигрантского поэта первой волны:

*...Свою умершую любовь мы в страхе к сердцу прижимали<sup>46</sup>.*

---

<sup>46</sup> Владимир Смоленский. «У нас оледенела кровь...»

## Много лет назад. Я...

Я, зачитавшись допоздна, случайно посмотрела на часы и, ужаснувшись тому, что так поздно, хотела уже выключить свет. Вдруг в комнату тихо, без стука, вошла *она*, неслышно приблизилась, села рядышком на диван, посмотрела мне в глаза – я увидела в них тоску и отчаяние...

– Знаешь, а ты оказалась права... – Она выдохнула эти слова почти шепотом. – Или не совсем не права, вот так будет точнее.

– Довольно неожиданно! Что ты хочешь этим сказать? – Я была поражена. Услышать такое от нее, непреклонной, бескомпромиссной!

– Это все равно, какое слово употребить: обман, банальная измена, предательство. И это правильно, что в итальянском языке глаголы «изменить» и «предать» соединены в одном. Это все равно, потому что изменяешь ты самой себе, предаешь саму себя.

Она долго молчала, только смотрела, насупившись, исподлобья.

«Ах, даже так! Вот и такие мысли нас посещают, как выясняется!» – злорадно подумала я о ней.

Она снова пришла, расстроила меня – а зачем? Я столько времени потратила на то, чтобы забыть, вытеснить из сознания *опасно* безопасную горьковато-сладкую Воронку бесконечности, доказать, что я сильная, а не угловатая, не разлапистая, не из XVIII века. А она... опять! Ну, вот кто ее просил, а?

Время снова затрепетало, заскользило, затем элементы пазла склеились, и вот, снова...

## Много лет назад. Она...

...И вот снова постучался в ее двери, пришел в гости май, ее самый любимый месяц. И снова началась сессия, и приходилось много заниматься.

Накануне она проводила Гошу на Урал, где он собирался подзаработать *деньжат* в бригаде строителей. За неделю до того они закончили посещать семинар по философии: Деятель должен был писать реферат по философии и сдавать кандидатский минимум, а ей было просто интересно ходить на эти лекции.

Ее роман с Деятелем развивался стремительно, по нарастающей. Гошина общительность поражала: они постоянно ходили в гости к его многочисленным друзьям, к каким-то знакомым, к знакомым знакомых... Он тут же становился душой любой компании и сам был их – компаний – большим любителем. Сначала это ее немного настораживало. Но так хотелось ему поверить! А посещение его родственников вместе с его родителями стало уже привычным, почти обязательным ритуалом, и ее стали воспринимать как члена его семьи, как его невесту, почти жену, и его родители, и родственники. Она уже была готова, как любил повторять Деятель не без ехидства, *выйти за него кое-куда кое-зачем*. А ее история с Олежкой начала уходить в прошлое, воспоминания о нем тускнели, увядали...

После отъезда Гоши они с любимой подругой Майей принялись за подготовку к экзамену по истории западной литературы XX века. Подруга явилась к ней накануне поздно вечером. Она приволокла с собой тяжеленную сумку, до отказа набитую учебниками, монографиями, конспектами лекций, своих и чужих, взятых напрокат у однокурсников, уже сдавших этот экзамен. Отец уехал на несколько дней в Ленинград, и дома, кроме них, была только бабушка, которая ушла спать очень рано.

Но вместо того, чтобы готовиться к экзамену, они до глубокой ночи слушали ее любимую оперу «Фауст», а «Вальпургиеву ночь» прослушали целых два раза.

Поэтому с утра встали невыспавшиеся, хмурые, как две темно-серые тучи, недовольные жизнью, друг другом, погодой и всем на свете.

– Ну, во-от, опять все небо тучами заволочло сегодня, прямо с утра пораньше, а сейчас, того и гляди, еще и дождь зарядит на весь день... Ну, просто никак хорошая погода не установится, а еще лето называется! Ведь уже самый конец мая, – недовольно проговорила за завтраком подруга Майка, доедая геркулесовую кашу и глядя в окно на насупленный день, хмурившийся со вчерашнего вечера.

– Ага, как-кая гадость эта погода! – согласилась она, смакуя маленькими глоточками свежесваренный кофе в крошечной чашечке и с наслаждением вдыхая его аромат. – Лето в этом году, похоже, вообще не придет! И, бр-р, опять что-то похолодало, вот хорошо, сегодня никуда не надо выходить! А ведь так тепла уже хочется, правда? Но знаешь что, погода-то прям как по заказу – для подготовки к экзаменам.

– Да уж, это точно, но все равно жалко, что никак погода хорошая не наступит! Все-таки, когда, наконец, потеплеет? Ведь, считай, уже лето наступило!

День, не моргая, уставился на них из-за окна, горестно скривил губы, смотрел уныло и как-то тускло – похоже, он прокис с самого утра, был туманно-серенький, хмурый, вот-вот готовый пролиться дождем, да и прохладный... А ведь уходили уже в июнь самые последние дни мая.

После затянувшегося до обеда завтрака они, наконец, взялись за подготовку к экзамену.

Но работа что-то не клеилась.

Она начала рассказывать подруге о том, что почерпнула в спецхране библиотеки, где собирала материал для дипломной работы.

– Ну, вот ты сама посуди: мы в нашем государстве сейчас проедаем нефtedоллары, а ведь их запас у нас отнюдь не бесконечен, но до тех пор, пока ближневосточные государства не снизят цены на нефть, страна еще как-то может сводить концы с концами... Еле-еле, конечно, но все-таки... И ладно бы еще так, но ведь и производство у нас тоже вот-вот встанет, и тогда как будет, а?.. Ну, в общем, не все так здорово, как нам сообщают газеты, радио, программа «Время»...

– Да, Майк, это все так, но, во-первых, теперь там, на Западе, кризис начинается, и об этом уже всюду пишут и говорят. И потом, положение в мире вроде бы улучшается, ведь мы же год назад подписали договор с США о сокращении вооружений... Этих – стратегических. Ведь вроде так?

– Ну да, все правильно, подруга, Брежнев с Никсоном заключили в Москве договор по ПРО, и обе стороны взяли обязательства сокращать эти ракеты. Да, а потом, знаешь, в июне намечается еще и ответный визит Брежнева в Штаты. Но что из этого выйдет, в конце-то концов, а?

– Ну как же, а вот... слушай-ка, еще Программу мира приняли на XXIV съезде.

– Ага! Вот именно! Только, видишь ли, ее давно уже приняли – и называется она на самом-то деле немного иначе! Знаешь, как? Ограниченный суверенитет – вот как! То есть танки на улицах Праги и, не дай бог, еще где-нибудь. Ничего себе, так, на минуточку! Вот ты только подумай: мирное сосуществование, даже если и двух систем – и танки! Здорово, да? – издевалась она. – И вообще, ну сама посуди: может ли суверенитет быть *ограниченным*, а? Как ты считаешь?

– Да уж, нет, конечно! Ну, а как же тогда разрядка, Хельсинкский процесс?

– Вот! В корень зришь! А как в нашей стране с правами человека?.. Неужели непонятно: правозащитное движение – это борьба людей за свободу, а еще за интеллект, за достоинство и независимость от государства, по крайней мере, от такого, как наше! А, да что там говорить... И потом, знаешь, ведь производство-то в стране реально не растет, мы уже давно не производим конкурентоспособных товаров. Я вот читала в библиотеке – ну, естественно, в спецхране, в открытом доступе этого ничего нет! Так там все описано. Сейчас... подожди-ка минуточку... – Она убежала к себе в комнату и тут же вернулась, держа в руке толстую потрепанную тетрадь. – Ну, вот, например, смотри, я тебе просто прочитаю, что я тут выписала... Сейчас... погоди, найду... А, вот оно: *на складах страны уже скопилось где-то не меньше, чем на два миллиарда рублей примерно неходовых товаров, то есть таких, от которых отвернулся — или может отвернуться – покупатель*. На два миллиарда – ты только вообрази! Представляешь? Ты подумай, ведь, как было подсчитано, это же почти равно сумме капиталовложений во всю легкую промышленность на остаток пятилетки?! А раскричались-то как про решающий год пятилетки! А шуму-то сколько подняли! Ну, вот как это тебе все, нравится, а?!

– Да... – подумав немного, согласилась Майка, – ясное дело, у нас здесь такого никто не напишет открыто и не опубликует... У нас же все о сплошных достижениях говорят в третий, решающий, год пятилетки.

– Правильно! Это ты верно сказала! – обрадовалась она. – Ну, а потом, о борьбе с правозащитниками: так тоже разве только в спецхране или вот еще по вражеским голосам можно что-то узнать... И что же такое творится, как выясняется? Травля в печати Солженицына и Сахарова! Как на это реагировать? А еще ведь имеется долгоиграющее дело Андрея Амальрика, ты не забыла, кстати, нет? Ведь заранее же все ясно, как это все кончится... А Юрий Галансков, так тот, и вообще, в мордовском лагере умер полгода назад – угробили-таки! Или вот еще Буковский... М-да... – Она уже не могла остановиться: обида, отчаяние, бессилие переполняли ее. – И еще, знаешь ли, процесс Якира и Красина – ведь вот-вот, в июне суд начнется, а решение-то уже predeterminedено – как минимум, по семидесятой пойдут, и ни Комитет по правам человека, ни Инициативная группа, похоже, ничего тут не смогут сделать! Куда же

мы катимся-то, а? Вот, несколько лет назад всего ООН объявила 68-й год годом прав человека – а у нас что наворотили в одном только том году?.. А вот ты, помнишь, еще хотела в эту их партию вступать! Помнишь – на втором, даже на третьем курсе? В партком ведь еще обращалась с заявлением?

– Ну да... Но, наверно, судьба худо-бедно, да отвела. И, видишь, все к лучшему вышло. Ты же помнишь – они же там, в комитете, мою кандидатуру несколько раз отводили – в общем, не допустили.

– Да уж, до тела не допустили... Слушай, а ты что, еще и жалеешь, что ли, а? – язвительно проговорила она, увидев слегка растерянное лицо подруги. – А, да ладно... Да, и кстати, по поводу этой твоей партии как раз! Мне вот мама недавно рассказывала, как всего несколько лет назад у них в институте на партийном собрании устроили показательный спектакль. Представляешь: один достаточно известный ученый, доктор наук, специалист по Канаде... Нет, ну, я лучше не буду называть его... Да, так вот, он решил разводиться с женой – и что тут началось! Жена ему развода не давала, ясное дело – скандалила постоянно, без конца ходила к нему на работу, в парторганизацию, а теща все писала подметные письма в дирекцию, в партком, в местком и куда-то там еще, грязное белье их семьи полоскала, факты разные из их интимной жизни смаковала – ну, просто караул! А потом еще она в партком и в дирекцию звонила, ходила туда все время – требовала, чтобы его из партии исключили, из института выгнали. – Она остановилась, чтобы перевести дух. Подруга слушала с интересом, не перебивая. – Ну так вот, и, в конце концов, в институте устроили открытое партийное собрание – показательное! И его поведение там разбирали, и там даже поставили на голосование вопрос: зачитывать или нет тещины письма со всеми подробностями его счастливой семейной жизни – жутко ведь интересно, правда? Кто из них что кому сказал, а что другой ответил, да что там кто кому сделал! А с кем он, а что она, и кто кому изменяет, а что тот сказал, а что эта? Просто атас! Несколько часов продолжалось партсобрание, и попробуй только не приди на него! Ну, правда, писем тещиных вроде бы все-таки читать не стали... В общем, караул по полной программе! Вот как это все тебе? И такое ведь не первый раз!

– Да уж, ничего себе! Прямо как у Галича в песне о товарище Парамоновой! Помнишь, как там:

*Вот стою я перед вами, слоено голенький,  
Да, я с племянницей гулял с тети Пашиной...*

– Вот именно! И залепили строгача с занесением! К как же? Моральный облик строителя коммунизма! Высокая социалистическая нравственность, да? Эти партийные собрания – ну, сплошное же лицемерие, показуха! А зато валяться пьяной тварью под забором и на работу не приходиться, потому что с регулярного перепоя, и вид, как у свиньи, и сивухой разит, и мозги заспиртованы, как в пробирке, – вот это морально! Это почти норма... У нас пьяниц даже жалеют, так ведь? А как же, вот бедняга, прямо на земле валяется, того и гляди, замерзнет! – она уже почти кричала от возмущения. – И что наше поколение спивается, ведь сколько ребят, молодых мужиков... – это тоже норма, да?.. Да ничего я не преувеличиваю! – отмахнулась она, заметив, что подруга хочет что-то возразить, и увидев в ее глазах тень сомнения. – А ты вот лучше посмотри, сколько у нас алкоголиков не только среди работяг, но и в нашем кругу. Особенно в нашем поколении... И, знаешь, мне кажется, что это совсем не так уж случайно, что кому-то это выгодно... А в семьях что творится – не пьянство, так свинство... И только они, ну, вот эти, моралисты *оттуда*, только они знают, как надо жить, кому и с кем, и как спать, да? А разводиться – это ни-ни, как можно! Вот здорово!

– Надо же, – вставила реплику Майка, – а я думала, сейчас развестись стало вроде бы легче, ну, вот с конца 60-х, когда, помнишь, приняли соответствующее постановление или что там?

– Да, конечно... Но бывает и так, как я тебе рассказала! Просто цирк, нет, правда, живой анахронизм... Да, ну, так вот насчет травли диссидентов... Видишь ли, эти наши, там, наверху, все-таки остерегаются пока с инакомыслящими расправляться особенно жестко: ведь Хельсинкский процесс предусматривает соблюдение прав человека. Но это пока... Это что, нормально, скажешь? Правда, собираются провести в Москве Всемирный Конгресс Мира, осенью, кажется, в октябре, а толку?... Опять поставим галочку: какие мы борцы за мир – впереди планеты всей! Ну, нет, Майка! Сообрази ты, наконец, что в стране, в гимне которой глагол «засияло» – это Солнце свободы, как ты понимаешь, засияло или, как там, заблестало? – чуть ли не рифмуется с именем собственным *Сталин*... Ну, о каком нормальном будущем может идти речь в такой стране, ты подумай, а?

– Хорошо, я согласна, но все же, если ты так уж настроена против советской власти, то почему не уезжаешь отсюда? Взяла бы вот, да и уехала тогда, а? – задумчиво произнесла подруга.

– Да как, во-первых? Конечно, здесь невозможно оставаться свободным человеком, заниматься наукой или, там, жить в искусстве... Но ведь я же не еврейка ни с какой стороны, да и евреям приходится сколько вытерпеть! Знаешь, через что им приходится пройти, пока дадут разрешение на выезд? Видишь ли, я это хорошо знаю, у нас друзья семьи никак не могут выехать... И потом еще, понимаешь... Есть еще кое-что... Есть еще русские березки... Как же они-то тогда... березки?..

– Вот именно! А если уж кто и уезжает, так, наверное, жалеют потом: как же оставить Родину, как без нее?

– Ерунда! Не всегда это так... И потом... вообще-то не все так просто... – Тут она сделала над собой усилие, перевела дух. – Ведь если людей ни во что не ставят, издеваются над ними, кормят аминазином, обкалывают сульфозином, всячески топчут их достоинство, то почему они должны еще потом о чем-то жалеть, ну, скажи, а? Это уж вовсе мазохизм какой-то получается... Ныть: «Возьмите нас обратно!», так, что ли, по-твоему?

– Майк, ну, не со всеми же так... И вообще, все-таки и вредная же ты! – возмутилась подруга. – Вот не терпишь ты чужого мнения! Какая!

– Ага, знаю. Только ты же помнишь, какая у бабушки Юли есть хулиганская присказка на этот счет: «Какая уж есть, *не* обратно лезть!»

– Ох, ну и юмористка *же* твоя бабушка, и на все, поди, у нее ответ! – захихикала подруга, очень похоже изображая горьковский говор.

– И вовсе не юмористка, а фольклористка, по разговорам специалистка! – игриво, в стихотворной форме, парировала она.

Только к вечеру они засели за учебники.

Звонок в дверь раздался вечером – тревожный, громкий, требовательный – как выстрелил, резко, неожиданно.

Она вздрогнула, побледнела, голос сразу перестал слушаться.

Она точно знала, кто это пришел.

– Майка, слушай... Открой, пожалуйста, дверь, а?

– А что случилось-то? Ты что, знаешь, кто это?

– Понимаешь, просто мне кажется... Да нет, я почти уверена – это *он*... Это Олежка...

– Да ты что? Слушай, правда, что ли? А с чего это он вдруг может заявиться? Ведь вы же вроде совсем с ним разбежались... Или не совсем?

Она не виделась с Олежкой уже много месяцев, с прошлой осени, и ей казалось, что все *это* уже в прошлом, что она, наконец, преодолела, забыла, покончила с этим своим *наваждением*...

Но вот раздался звонок – и она по-настоящему испугалась. Чего? Того, что не выдержит, не устоит...

– Майк, и вот еще что, – почти прошептала она срывающимся голосом. Голос отказывался подчиняться ей. – Если это точно *он*, то, пожалуйста, не оставляй меня с ним наедине, ни на минуту, ладно? Вообще, не выходи из комнаты, пока он здесь, поняла? Ну, пожалуйста, ну, я прошу тебя!.. Да нет, это как раз очень удобно в данном случае, – моментальноотреагировала она на немой вопрос, который прочитала в глазах подруги.

По голосу в прихожей она сразу поняла: это он.

Она не вышла, ждала, что Майка проведет его в большую комнату.

– Здравствуй, Майя! – голос Олежки был бодрым и жизнерадостным. Чересчур бодрым и жизнерадостным. Он совсем не изменился, был, как всегда, аккуратен и – это она увидела сразу – совершенно трезв. – Ну как дела, чем вы сейчас занимаетесь?

– Привет, – она изо всех сил старалась, чтобы голос не дрожал и звучал естественно. Но посмотреть на него она боялась. – Мы к экзамену готовимся, он будет послезавтра. Жутко заняты. Очень много надо еще сделать.

– Ну, ни пуха вам!.. Послушай, Майя, – в голосе Олежки послышалась железная решимость. – Мне надо с тобой поговорить, слышишь?

Верная обещанию любимая подруга не двинулась с места, взяла в руки учебник, полистала его и как будто погрузилась в чтение.

– Знаешь, по-моему, все ведь уже сказано... Может, не надо? И мне сейчас вообще-то и некогда, и не до этого совсем. Давай в другой раз как-нибудь, ладно? – глухим беспомощным голосом произнесла она, упорно не глядя на Олежку.

– Нет уж, давай сейчас! – В его голосе зазвучали металлические нотки. – Мы уже давно не виделись и не разговаривали. Я хочу знать, наконец... Я вообще не очень-то понял... Ну, как же... Мы ведь так, как-то непонятно... Так вот, вдруг расстались... Ты просто пропала, перестала отвечать на звонки. Послушай, скажи... – Тут он осекся, посмотрел на ее подругу и произнес, ни к кому не обращаясь: – Но только я хотел поговорить с глазу на глаз, ну, то есть, без свидетелей...

– Ты же знаешь, Майя – моя подруга, она не помешает... Говори при ней, пожалуйста, – она не выпускала из рук раскрытый учебник, старалась говорить ровно, холодным, безразличным тоном, из последних сил делала вид, что ее совершенно не интересует этот разговор.

– Ну ладно, раз уж так... Хотя я на месте твоей подруги ни за что не стал бы мешать, когда людям надо поговорить наедине...

Любимая подруга заерзала на диване, но не двинулась с места, демонстративно читала книгу, медленно переворачивала страницы.

– Майя, – заговорил он снова, – ты что, правда решила, совсем со мной... меня бросить... Ты что, правда, больше не хочешь быть со мной? Ты больше... Ты не любишь меня, да?

Голос его, умоляющий, покорный, охрип, сорвался. Она не отвечала, только слушала, глядя не на него, куда-то в сторону. Нет, только не в глаза... В глаза ему смотреть нельзя! Ах, вот даже как! Теперь он решил действовать на ее чувства, хочет ее разжалобить... Его голос звучал приглушенно, будто откуда-то издалека... А в ушах все усиливался непонятно откуда возникший шум, что-то жужжало или гудело. И еще она испытывала странное неудобство – ведь еще не так давно они с Олежкой были близкими людьми, а что теперь?

Она по-прежнему смотрела в сторону. Олежка взял себя в руки и заговорил снова. Голос его становился все более твердым:

– Ты что, меня, правда, бросила? Совсем, да? Ну ладно, не хочешь отвечать – и не надо! Скажи только, это правда твое решение или это твои родители опять за тебя все так решили?

Она молчала. Не могла ответить. Не смотрела ему в глаза, отвернулась: боялась – не выдержит, не устоит.

– Мне кажется, – продолжал он, – это твои родители... Видишь, как – вот сейчас даже и подруга сидит, сторожит она тебя, так, да? А мама твоя, она, ну, конечно же, постаралась, как я понял! Ну как же – нашла для тебя подходящего... Я его... это... я тебя с ним видел... уже несколько раз.

Олежка старался говорить спокойно, но голос его опять предательски задрожал. Он немного помолчал, собираясь с мыслями, потом глубоко вздохнул, с досадой посмотрел на ее подругу и, демонстративно ни к кому не обращаясь, ехидно произнес:

– Нет, ну, знаешь что? Я так не могу разговаривать... втроем... Надо же, какие бывают неделикатные, бестактные люди, не видят, что людям надо поговорить, что это очень личный разговор. Ну, ладно, пожалуйста, я и при ней могу тебе сказать!.. Майечка, милая, понимаешь, мне все равно, с кем ты, кто у тебя и что у тебя с ним, правда, мне все равно, это мне уже неважно, я ведь тебя все равно люблю... Ну что, очень увлекательно, правда? Ну, просто ужасно интересно слушать чужой разговор, про чужие чувства, правда? – уже с горечью добавил он.

Тут уж любимая подруга не выдержала.

– Послушай, Олег, ну, ты что, в самом деле, не видишь, что ли, я не понимаю? Майя не хочет сейчас с тобой разговаривать. Вы потом как-нибудь еще, в другой раз, поговорите, а сейчас, по-моему, ты бы лучше уходил...

– Ну, ладно, все, сейчас уйду... Только вот что... Майя, помнишь, я сколько раз уже говорил тебе: пройдет время, и тебе будет нужен кто-нибудь другой, обязательно! И еще, что первый я от тебя не уйду. Да, это только так и должно было быть. Ну, конечно, я ведь все понимаю... У нас очень мало общего, и мы с тобой слишком разные: и семья, и друзья, и окружение – все-все у нас разное... Но я только хочу, чтобы ты знала: я люблю тебя, и я не смогу тебя разлюбить – знай это... А еще, знаешь, я не верю, что ты могла забыть все, что у нас было, не верю, это просто блеф, ясно тебе? Вот и все!

Она не могла произнести ни слова – слушала, молчала, смотрела в сторону В глаза смотреть нельзя, нельзя – она может сломаться!

Олежка подошел к ней, сел рядом, попытался обнять за плечи... Она резко встала, сбросила его руку и ушла на кухню. Спустя несколько минут услышала, как захлопнулась входная дверь.

*Одинок и отвергнут, как Змей,  
Я уныло ползу столько дней...  
И я жду – впереди Ужин тот,  
Он, наверное, скоро придет.*

– Спасибо тебе... – еле слышно произнесла она, когда они остались вдвоем с подругой. Говорить было трудно. Губы дрожали, не слушались, тяжелый спазм сжимал горло, в горле застрял огромный ком, острая боль не отпускала, не давала дышать, из глаз ручьем катились слезы. Она отвернулась от подруги, чтобы та хотя бы не сразу заметила, что она плачет.

– Ну, ты вообще молодец, Майка, выдержала! Да, это непросто... Я и то чуть со стыда не сгорела, неудобно ведь, когда просят уйти... – Тут подруга заметила ее слезы. – Ну, ты чего! Не, ну, ты, подруга, юмористка, честное слово! Ты чего это, ты меня уже совсем доконать сегодня решила, что ли?.. Нет, ну знаешь, как говорят: после драки кулаками не машут!

Постепенно оклемаешься как-нибудь! Чего сейчас-то уже! Ладно, Майк, серьезно, ты давай не расстраивайся уж так! Ну, все-все же уже закончилось, и он, наверно, не скоро теперь придет.

– Знаешь, подруга, еще немного – и я бы уже не выдержала... правда, и все бы по новой началось, – горестно всхлипнула она. И, немного помолчав, добавила: – Но представляешь, очень тяжело, и сейчас даже, до сих пор тяжело, все равно как на похоронах близкого человека побывала, и как-то пусто теперь, горько... Нет, ну правда же! Но все равно, по-другому я не могла поступить. А, с другой стороны, знаешь, такое ощущение, будто гора с плеч свалилась, словно я преодолела это наваждение... Ну, вообще, сколько же можно!

– Не поняла... Что это значит, какое еще наваждение?

– Да понимаешь, вот... наверное, все это, ну, вот то, что у нас с ним было, – это же была болезнь, наваждение... Отец, кстати, так эту мою историю и называл. Или знаешь, с чем еще это можно сравнить?.. Словно все это время действовал ... бывает такое – *приворот*...

– Да ты что, подруга, говоришь-то? Ну, какой такой еще приворот?.. Ты что это, серьезно? Наваждение какое-то, потом приворот... Или скажешь еще – колдовство! Придумаешь тоже! Ты, правда, что ли, в это веришь, в какие-то еще привороты?

– Да нет, ты не поняла... Ну, конечно, не в буквальном смысле слова! Но ведь я и в самом деле больше двух лет никого и ничего не видела и не слышала, кроме него! Так больше нельзя было, хотя, если бы только... если бы это все у нас было ну хоть чуть-чуть, ну, хоть в чем-то иначе! Тогда... Ну, тогда, знаешь, наверное, все у нас... я все по-другому бы решила... И потом, эта история... Она тянет меня назад, а как же тогда с Гошкой?.. Ведь на двух стульях не усидишь!

– Майк, но ведь это ты у нас просто такая чувствительная и, как бы это сказать... ну просто очень цельная натура, что ли... Уж если ты влюбляешься, то он для тебя один на всем белом свете существует, и больше никто...

– Слушай, подруга, мне страшно!

## Много лет назад. Она и я...

Да. Ни Воронка бесконечности, ни Пирамидка больше не защищали ее от страха – вот он, опять прилетел, распростер свои зловещие свинцовые крылья, шумно захлопал ими, едва не задевая ее.

Затрещала по швам Воронка. Омут? Химера? Вогнутое зеркало? Потусторонняя реальность? Зазеркалье? Ее отраженный в двух, четырех, восьми, шестнадцати зеркалах одновременно иллюзорный мир? Нет уж, хватит! Довольно иллюзий. Она сыта ими по горло.

Когда поздним вечером подруга уехала домой, она долго сидела, уставившись в одну точку, и упорно ни о чем не думала. Пронесся буран, нет, – ураган, тайфун, смерч, торнадо, цунами – и выкорчевал с корнем чувства, перепахал, опустошил ее всю. Но теперь уже ветер стал стихать, успокаиваться, и тучи разошлись. Выглянул и засиял ярким синим глазом чистый кусочек неба.

Опустошило стихийное бедствие ее всю. Чувство обиды, горечи, пустоты и какой-то странной раздвоенности снова переполняло ее.

И – меня.

...Как всегда, незаметно, тихо приоткрыв дверь в мою комнату, неслышно просочилась, вошла она, осторожно присела рядом со мной на самый краешек дивана. Она молчала, не говорила ни слова...

Так это *она* или я? Но как же понять, кто из нас я – и кто она?

Кто из нас кого скопировал? Сублимировал какие-то черты двойника, а остальные просто отверг?

Что это? Мистика?

Вот, значит, как! Не только змеи *сбрасывают кожи!* И уж точно, змеи не *меняют души на тела*<sup>47</sup>.

Ну и слава Богу!

– А ты помнишь, хотя бы, какого цвета была эта наша Воронка? – еле сдерживаясь от злобы на нее, спросила я.

– Ой, ну, да разве так сразу скажешь! – с дрожью восторга, даже с благоговением в голосе ответила она очень громко. – Она ведь такая... такая бездонная, но нет в ней никакой черноты: она же сверкающая и разноцветная, она искрится всеми цветами радуги – завораживающая сказка!

Вот наивная дурочка!

Я не люблю ее. И никогда не любила. По правде сказать, я ее даже ненавижу. Она, наивная *mademoiselle* из XVIII века, совершенно не приспособленная к реальной жизни, нелюдимая и застенчивая, и вечно она погружена в свой иллюзорный мир книг – ишь, книжек начиталась! Она верит в *розового принца на белом коне* или под *алыми парусами*, или Бог знает во что еще, а выживать в этой жизни так и не научилась.

За что мне ее любить? За то, что она наивная идеалистка? Угловатая и неловкая, неуверенная в себе, не разбирается в людях, а потому и *вдрыюпывается*, как говорит моя мама, черт знает во что? За то, что она слабая, неприспособленная к жизни и решения принимать не умеет – прямо из института благородных девиц, уязвимая мямля и неумеха, *разлапистая* и характер у нее не стойкий, не бойцовский? И ведь долгие годы она заставляла меня действовать, думать, жить по ее правилам, а удар держать не научилась! Она высосала меня всю так, что

---

<sup>47</sup> Перефразированы строки из стихотворения Николая Гумилева «Память»: «Только змеи сбрасывают кожи, / Мы меняем души, не тела».

больше нет сил. И, главное, она втянула меня в эту бездонную Воронку бесконечности. Войти, проникнуть, упасть туда было не столь уж трудно. Но Воронка не отпускает назад.

А возможно ли расстаться с ней, вернуться обратно?

Я не люблю ее. Так бы ее и *убила*. Но нельзя – ведь это преступление. И вообще, есть вещи запредельные, и переступить их нельзя.

...Давным-давно, в детстве, а может быть, и еще раньше, кто-то вырезал маникюрными ножницами на сложенном пополам листе бумаги половинку человеческой фигурки: полголовы, полтуловища, одну руку и одну ногу.

Так родилась *Половинка*. Жила она совсем одна. Одна, даже если ее окружали другие люди. Много людей. Она, однако, долго не могла развернуться, стать целым человеком, потому что была заклеена, и клей держал обе половинки очень крепко. Годы спустя Половинка потерялась где-то во времени и пространстве и перепутала свою жизнь с чужой. А еще через много лет она вдруг все-таки сумела расклеиться, развернулась – и получилась я, целиком, без изъяна, наконец. Половинка раскрылась, развернулась – и стала целой фигуркой.

Но только вот *ее*, моего двойника, больше не было...

Да, ее уже не существовало.

Или она все же была?

Ведь ни один человек не может жить на этой земле без собственной тени.

*Она*. Мое отражение, моя вечная тень, мой спутник, Второе «я», чувствительная лакмусовая бумажка – мой *двойник* на этой земле.

## Когда-нибудь в далеком будущем – или прошлом. Я и Он...

– Привет, Майя! Да, это я... Ну что, ты еще меня не совсем забыла? Как дела?

– Нормально, спасибо.

– Послушай... а давай встретимся, мы ведь так давно не виделись... Хотелось бы тебя повидать. Интересно, какая ты теперь стала? А ты хотела бы?..

– Да, конечно, хотела бы. Но сейчас, знаешь, так много дел, и я очень занята, так что сейчас, наверное, ничего пока не получится...

– Слушай! Знаешь, что? А давай я просто приеду к тебе? Вот сегодня вечером и приеду, ладно? Нет, прямо сейчас? Немедленно! Еду?

– Нет, не надо... Только не сейчас. И, по крайней мере, сегодня не надо. Меня не будет дома! Я приду очень поздно!!

– Ты живешь там же?.. Да? Ладно, давай тогда я приеду завтра днем – или лучше вечером?

– Нет, не надо... Меня не будет, и завтра тоже. Нет, слушай, давай все-таки отложим...

– Я понял... Ну, тогда приезжай ты ко мне. Прямо сейчас. Мне так хочется тебя увидеть!

– Ладно... Давай я приеду... Но только не сейчас, а как-нибудь... потом...

– Ты все еще с *ним* живешь? Да? Я его... я с ним еще встречусь, поговорю!

– Но это уже просто глупо с твоей стороны!

– Да ладно уж, замнем для ясности! Но все-таки, когда же мы увидимся, а? Ты позвони мне, ну пожалуйста! Я буду ждать твоего звонка. Прямо завтра с утра позвони, хорошо?

– Ну, в общем... ладно, давай так. Лучше ты сам мне еще позвонишь где-нибудь в начале следующей недели – тогда и договоримся.

– Да, я обязательно позвоню. И я буду ждать... Знаешь, что... я так хочу тебя видеть! Не обмани... И пойми: если ты совсем уйдешь, то потеряешь хорошего друга. Не надо блефа, слышишь?

– Да-да, конечно. Пока!

Хотелось крикнуть прямо в трубку: «Нет, нет! Не звони, не приходи!»

Но я просто отключаю телефон.

Я все равно больше никогда не отвечу, увидев твой номер. И я тебе не буду звонить! И не приду! Никогда больше!

Я *не хочу* больше в Воронку. Пусть там останутся *она* вместе с ним или без него, как хотят! Мне уже все равно. Никогда больше я не хочу такой большой любви! Но... бывает ли любовь, страсть не большой?

Нет, не хочу! Больше не хочу убегать, уплывать, улетать и падать в горькую Воронку бесконечности и расплескивать себя там – ни с ним, ни с кем! Не смогу пережить все это еще раз! Лучше вообще как следует перекрыть кран чувств, как воду перед отъездом в отпуск, и еще десять раз перепроверить, хорошо ли закрыт, чтобы не залило квартиру и соседей.

...Но бесполезно что-то говорить, объяснять.

Вот такой случится у нас разговор... Обязательно.

Я воспользуюсь единственным оружием, с которым он не научился бороться, – своей непостижимой для него уклончивостью.

## Наше время. Я...

Стояло мартовское утро.

Первый день погода стояла солнечная, яркая, звучная, не то, что накануне. Несколько дней подряд обезумевший, обозлившийся на всех и вся ветер сбивал с ног, швырял в лицо не то снег, не то град, а может, и ледяной дождь, замерзавший и слипавшийся на лету в маленькие горошинки. Словно какой-то ненормальный фармацевт-филантроп решил одним махом вылечить человечество от всех болезней сразу и рассыпал, спрятавшись за облаками, сверху вниз, целые пригоршни белых гомеопатических крупинок. А под ногами хлюпал, чавкал мутный, неважно протертый жидкий суп-пюре из подтаявшего снега, с комками серовато-бурой грязи, напоминавший плохо измельченную бурду из картошки с кожурой и кусками неочищенной моркови. В общем, стояла самая обыкновенная серенькая *ма-асковская* зима, к марту уже порядком надоевшая и монотонная, как затянувшийся на долгие годы скучный брак.

Но сегодня все было совсем не так! Изголодавшаяся за долгую зиму юная весна, золотисто-рыжая, конопатая, с очаровательными веснушками на веселом, еще бледном после мороза, снега, стужи лице, схватила вдруг огромную ложку-поварешку и начала, жадно причмокивая, энергично, с аппетитом, хлебать этот забродивший, неаппетитный, разогретый мартовским солнцем суп, быстро осушая московские улицы и площади от растаявшего снега и грязи.

За окном нежно позванивала капель, и весна громко и радостно стучалась во все окна, двери. Солнце заливало комнату ослепительным светом.

Я сидела дома и готовилась к лекции.

Лешка ушел на работу, времени оставалось еще много – спешить было некуда.

Леша – муж. Мы так долго вместе, что уже невозможно представить себе жизнь без него. Тепло близкого человека... Любовь? Наверное. Или – что-то другое, большее, чем любовь?

Когда мы с Лешей обрели друг друга, многое в нем сначала чуть-чуть напоминало Олежку. Внешне они ничуть не были похожи. Но – голос, интонации, манера общаться, говорить, когда слова торопятся, бегут-бегут друг за дружкой вдогонку, и перекачываются, и кувыркаются, и играют в салочки или догонялки, и последние слова стремятся опередить, перегнать те, которые он произнес раньше... И его трогательная забота обо мне, и было еще что-то, необъяснимое, неуловимое... Потом это ощущение сходства померкло, забылось, ушло...

А как же страсть, Воронка бесконечности?

Эманация реальности. Иллюзия. Химера.

Конечно, то, что случилось много лет назад, то *наваждение* не прошло бесследно. А она — мой двойник, мое второе «я» – осталась там, с Олежкой, в прошлом. Тот путь привел ее в никуда – в чужую жизнь.

А я? Наш с Гошей скоропостижный брак очень скоро подхватил тяжелый грипп, осложнился двусторонней пневмонией, задохнулся, оглох, ослеп, скоротечно оборвался... Я не понимала тогда, что роман с Деятелем был обречен в тот самый день и час, когда он начался. Новая любовь не может выжить, если не ушла в прошлое старая. А ведь казалось, что была любовь, было даже и понимание... Но недоношенная эта любовь приказала долго жить, а чувства, которые мы испытывали друг к другу, быстро прошли, доеденные бытом. Правда, этот мимолетный брак дал мне любимую дочку – Анечку – и Оленьку.

Концентрические круги по воде. Говорят, что первая любовь не кончается никогда... Вероятно. Образ той любви не отпускал, цеплял душу, не потускнел с годами.

Лет десять спустя после разрыва мы с Олежкой встретились снова. Не совсем случайно, на дне рождения у Аленки.

«Он настиг меня, догнал, обнял, на руки поднял...» — без конца заводили на дне рождения популярную в то лето песню Аллы Пугачевой.

...Олежка не отходил от меня весь вечер, хотя на день рождения к Аленке я пришла вместе с мужем. Вел себя очень сдержанно, осторожно, вкрадчиво, видимо, боялся произнести хотя бы одно лишнее, неверное слово. Он избегал говорить о прошлом и только с интересом расспрашивал меня, как я живу. Но я просто физически ощущала, как снова и снова пробегает между нами электрическая искра. Нас неудержимо влекло друг к другу, притягивало невидимым, но каким-то очень сильным магнитом, как две противоположно заряженные элементарные частицы. Я поняла – неведомая сила снова затягивает нас в горько-сладкую Воронку, и сопротивляться этому невозможно.

Спустя некоторое время мы встретились еще раз – и уже совсем не случайно. Потом еще и еще... Попытались начать все сначала. Как искренне, как жарко запылала снова наша Воронка! Или показалось? Ведь он был моей мечтой, моей *осуществленной* реальностью. С ним я не должна была притворяться, смотреть исподлобья, могла всегда быть самой собой...

– Какая же ты теперь стала...

– Ну, и какая?

– Горячая, страстная... Ну, конечно, ведь *тогда* ты была еще совсем девочка... Но нам ведь все равно было так хорошо... Ты помнишь? Но, правда, и сейчас все так же... хорошо...

– Но это и не могло быть иначе, – тихо ответила я.

Олежка приподнялся на локте, внимательно посмотрел мне в глаза, наклонился, поцеловал нежно и все же страстно. Мы лежали в постели у него дома, на старой квартире: днем там никого не было. А мне стало вдруг как-то не по себе. От досады я закусила губу. До крови, конечно... Нет, все-таки он *очень* изменился. Раньше он никогда бы так не сказал, ведь он был таким деликатным... И потом... Да нет же, все не так, не так, не так, как тогда, все совсем не так!

– А знаешь, мать-то ведь меня как-то тут недавно спросила: а ты что, опять, что ли, с Майей стал встречаться? – внезапно вспомнил он. – Нет, ну я просто никак не пойму, как она могла догадаться, я ведь ей ничего не говорил... А знаешь, я здесь опять теперь живу, все время, из семьи-то ушел... Но это все к лучшему. Мне так хочется быть с тобой... Вот забыла ты меня, так быстро забыла... А я помню все: и ночь в лесу, и нашу любовь, и то, что мог появиться ребенок... Ладно, что говорить о прошлом? Я так хочу тебя...

– Еще и еще, еще... да... *так... так...* все, как тогда...

– Да... да, та-ак... Я тоже хочу тебя... Хочу, как тогда...

Потом мы долго молчали. Наконец, я процитировала:

– *Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее...*

– Откуда это? Я что-то не помню...

– Это конец *Песни песней* Соломона.

– А что это такое? Я этого не читал, – задумчиво проговорил он.

– А это Библия, Олежка. Ветхий Завет.

– Библия? – изумился он.

Раньше мы не молчали ни до, ни после любви. Мы рассказывали друг другу все, что произошло, пока мы не виделись, обсуждали прочитанное. «Как странно», – подумала я с тревогой.

Мы встречались дома у Олежки. Чаще всего, днем. Иногда, если это было возможно и дочка уезжала к моей маме, он ночевал у меня. Мы много разговаривали, смотрели телевизор, слушали «*Под крышу дома своего*» — эта песня очень нравилась тогда нам обоим.

Очень осторожно, как со своим старым другом и одноклассником, я познакомила его с Анечкой – ей было тогда девять лет.

Высокая для своих лет девчушка, копна или, скорее, грива, золотистых, с рыжинкой, густых волос на тоненькой шейке. Забавно торчали в разные стороны косички, из которых, сколько ты их ни заплетай снова и снова, сразу же выбивались непослушные прядки волос.

А еще встрепанная перепутанная челка, живая такая мордашка, наблюдательные смысленные зеленоватые глаза – слишком смысленные, и сама чересчур уж сообразительная, шустрая, резвая, подвижная, как пацан. Ну совершенно мальчишеские повадки: она все время норовила то залезть на ближайшее дерево, то методично проинспектировать какой-нибудь подвал.

– ...*Так похожа на тебя в детстве*, – сказал он.

Олежка приносил для Анечки из *Холодильника* — с какого-то предприятия, расположенного неподалеку от Казанского вокзала, где он работал механиком, – настоящее масло, пахнущее маслом, и свежее молоко, даже не похожее на молоко. Таких продуктов мы никогда и не пробовали... Мы так старались, чтобы моя дочка не заметила ничего подозрительного, когда ездили вместе с Анечкой на дачу в Ильинское, где летом пасла своего маленького сынишку Аленка. В начале нового учебного года мы собрались большой компанией одноклассников в доме у Аленки – отмечали двадцать лет нашего знакомства, которое началось еще в пятом классе. Привели с собой детей. Было шумно и весело: танцы, игры, музыка, детский смех, гомон, возня, – весь дом ходил ходуном.

Если встречаться дома было невозможно, мы часто виделись по вечерам, а иногда и днем, ходили в театр или в кино как в те, старые дни... Ведь он и теперь работал в смену и в какие-то дни был свободен, а я как раз вносила последние изменения в свою кандидатскую диссертацию и к тому же ходила на работу в академический институт только в явочные дни, два-три раза в неделю. Много ездили и по моим делам. Я как раз развозила экземпляры распечатанного текста диссертации своим оппонентам, научному руководителю, ведущей организации. Олежка сопровождал меня повсюду, таскал тяжеленную сумку с моей рукописью и взятыми в библиотеке книгами, целыми часами, как в то давнее время, ждал меня на улице.

Правда, в те дни осени и зимы дневные прогулки по московским улицам или посещения кинотеатров становились совсем не безопасными... Хозяином Кремля и страны был в тот год бывший хозяин Лубянки – высокий широкоплечий человек с нездоровым желтовато-серым цветом лица, острым крючковатым, каким-то хищным, носом и таким же хищным – острым, пронзительным, недобрый взглядом. Вот уже несколько месяцев неизлечимо больной народный лидер неустанно боролся за укрепление трудовой дисциплины в стране – по всему Советскому Союзу была объявлена программа перехвата нарушителей. Потенциальных тунеядцев стали останавливать на улице в рабочее время, отлавливать на выставках, в кинотеатрах... А с портретов очередного *вождя* на улицах смотрел на возможных недисциплинированных прогульщиков и лентяев первый человек Кремля. Его сухие губы были поджаты в ниточку, недружелюбный, подозрительный, жесткий – ледяной – взгляд пронзал, прожигал насквозь.

...Нам было очень, очень хорошо вместе. Все было так же, как тогда. Почти также. Конечно, если он не напивался, а это с ним, конечно же, случалось время от времени. Тогда он вел себя агрессивно, иногда впадал в ярость, а два-три раза угрожал *встретить* моего мужа, *поговорить* с ним...

Так бывало нечасто. Но, не знаю почему, я все чаще чувствовала какую-то неловкость, неудобство, когда мы гуляли, разговаривали, когда любили друг друга... Куда делось понимание? Раньше мы чувствовали друг друга без лишних слов. Или это только казалось? А любовь, страсть? А может быть, он просто хочет удовлетворить свое желание – и все? Раньше это как-то не приходило в голову... Где же настоящая близость? Соединение, слияние, растворение друг в друге – как прежде? Этого не было.

Где же та Воронка бесконечности, в которую мы уплывали прежде? Наш дар, наша зачарованная, бездонная Воронка? Ее не было. Тогда, очень давно, она же была живая, трепетная, искрометная – наша Воронка. Она стонала, страдала, дышала, чувствовала, она смеялась, плакала, она умирала от счастья или от горя... Она так хотела жить... Может быть, в нее можно попасть не всегда? Может быть, она мимикрировала, и мы ее просто не узнали? Или мы навсегда потеряли ее?

А моя работа? С какого-то момента мне стало казаться, что он не понимает того, что я делаю, того, что мне интересно, да и не очень стремится узнать об этом больше. Работа в институте, диссертация – ему это было чуждо. Хотя... и я ведь не очень-то понимала, что он делает с какими-то *железками* там, в своем Холодильнике.

...Август в том году выдался теплый, даже жаркий. Но где же тот августовский звездопад... та августовская антрацитовая ночь испепеляющей страсти, которая вместе с нами заходила в пароксизме восторга и наслаждения, захлебывалась, умирала от счастья и рождалась вновь? Августовская ночь любви, когда наши души, сливаясь в одну, звенели, как две хрустальные рюмочки, и падали в бездонную Воронку бесконечности... Этого больше не повторилось. Больше никогда. Ни разу. Может быть, наша Воронка измельчала? Может быть, только в юности страсть бывает такой жарко полыхающей, такой неистовой, по-детски искренней, такой отчаянной и до самозабвения всепоглощающей – такой бездонной?

Увы! Мы прочитали наш роман о зачарованной Воронке бесконечности, весь, до конца, до самой последней строчки, потом с нетерпением перевернули последнюю страницу, закрыли книгу – и поскорее отложили ее в сторону. Ну, кто же знал, что конец окажется таким тривиальным? Наверное, это правда, что в одну и ту же воду невозможно войти дважды.

Прошло всего несколько месяцев, и, по крайней мере, для меня, наши отношения потускнели, завяли, стали незаметно превращаться в бесцветную банальную связь. Мне стало скучно... Мы встречались все реже, реже, а во время встреч подолгу молчали: тем для разговоров становилось меньше, меньше.

Подхваченные промозглым осенним ветром, медленно закружили листья, и был это осенний листопад страсти, и падали листья на замерзавшую землю. Еще накрапывал противный осенний дождь, а может быть, уже летали первые зимние *мушки*. Потом замерли, унеслись по ту сторону бытия, последние печальные аккорды *Вальпургиевой ночи*, а может, быть, Зимы Вивальди, и наша Воронка ослепла, оглохла, впала в кому – и тихо растаяла, уплыла в бесконечность. Одна. Без нас.

\* \* \*

– Господи... зачем?! – так и подпрыгнул на стуле сидевший за письменным столом отец, когда я однажды пришла к нему домой, села напротив него в глубокое кресло и пересказала последнюю серию своего романа.

– Отец, ну, да, в общем-то, знаешь, все у нас теперь кончено... совсем, ушло, перегорело, наконец...

– Правда?.. Слушай, но ты только уж, пожалуйста, не начинай все снова, – с видимым облегчением выдохнул отец. – Знаешь, я тебе честно признаюсь: в те годы твоего умопомрачения я только на то и надеялся, что у тебя рано или поздно все-таки включится разум и ты поймешь, наконец, что он собой представляет. И как-то все перегорит, пройдет это наваждение... В общем, я очень на это рассчитывал. Ты же так сильно была поглощена этой своей историей – ни о чем другом ни говорить, ни думать не могла! Ты все забросила, ничем не интересовалась, ничего не писала и даже, по-моему, не читала ничего нового – ну, просто сущее наказание! Тебя не интересовало ничто на свете – общаться с тобой было совершенно невозможно.

И добавил, помолчав:

– Впрочем, вероятно, так и бывает, когда возникает сильное чувство...

– Да, вероятно... Но я только много лет спустя поняла, сколько нервов и терпения это стоило тебе... И знаешь... Да нет, наверное, теперь уже все прошло, наконец. А потом, пить-то ведь он так и не бросил, даже, может, в чем-то хуже стало... Это невыносимо...

– И не бросит, никогда, – перебил меня отец. – Даже не надейся. Такого в жизни не бывает, за редчайшими исключениями. Видишь ли, мне не хочется быть категоричным, но если уж человек пристрастился к спиртному... Я, по крайней мере, не верю в такие перерождения.

– Я понимаю... Да я на это и не рассчитывала, в общем-то. Наверное, такое бывает только в кино или, вот, может быть, в плохих романах, а в реальной жизни – нет. Никогда. Ладно, все, отец! Я это как-нибудь переживу. Ты даже не думай об этом! Все, давай уже сменим пластинку, надоело! Ведь я, знаешь, зачем к тебе пришла, на самом деле?

Отец насторожился:

– Что-то еще случилось?

– Да нет же, нет! Не беспокойся ты так! Нет, ничего не случилось. Говорю сразу: я не заболела и ни в кого не влюбилась, и с Лешкой разводиться тоже пока что не собираюсь. Я, знаешь ли, посоветоваться пришла. Вот я тут задумала написать книгу... о крупнейших политиках начала XX столетия, но только вот...

Отец посмотрел на меня с удивлением:

– Как? Сразу о нескольких, не об одном?.. Слушай-ка, но ведь это же неподъемный труд, да и невозможно это! Что же это у тебя такое будет – исторические портреты в сравнении?

– Подожди! Ты же меня перебил, и я еще не договорила! Нет, не так, хотя и галерея портретов – это тоже неплохо. Но такое уже писали. Нет, это скорее портрет *времени* глазами великих. Да и потом, сочинение это, строго говоря, не совсем историческое будет. Это, скорее, литературное произведение – ну, два-три великих героя, которые изменили мир, а затем... затем, традиции, маски, люди, их поведение, танцы, музыка – в общем, все, чем жили люди и чем себя окружали, и...

Отец задумался, потом медленно, вдумчиво произнес:

– М-да. Насколько я понимаю, ты хочешь написать книгу о живой истории, так?

Я кивнула.

– По-моему, это безнадежное *a priori* предприятие, – отец покачал головой, тяжело вздохнул. – Дело, конечно, твое, но, мне представляется, ты только зря потратишь время.

– Но почему, отец? Я уж и материал начала собирать, а кое-какие куски уже и написала.

– Ну, что ж, тогда дерзай. Хотя все-таки задача, на мой взгляд, нереальная. Ну, для начала, у нас ее написать почти невозможно: ведь это надо регулярно ездить, ну, хоть в те же европейские страны. А у вас в институте – будут тебя посылать? Ты пока еще молодой специалист, только защитилась – да еще и не член партии. Вот у нас на кафедре кое-кто ездит регулярно. Что я буду их тебе перечислять – ты всех сама знаешь. Но это уже маститые ученые с именем. А иначе как ты источниками обеспечишь свое исследование – причем очень разными видами источников, в том числе, по устной истории? Тогда уж надо ездить, работать в архивах, с разными людьми там беседовать. Это ты можешь, у нас в стране? Нет, не можешь. Это, во-первых.

Я молча слушала, не перебивала его.

– Ну, а во-вторых, опубликовать такую книгу, даже если бы тебе удалось ее написать... – Отец покачал головой. – Нет! Головой стену не пробьешь! У нас ученые привыкли к чему-то более традиционному, и работают они над более традиционными темами. А ты что предлагаешь? Вот в Европе, вообще на Западе живой историей занимаются много и уже относительно давно. Нет! И, наконец, если это литературное или публицистическое сочинение, скажи: а силенок у тебя хватит? А таланта?

Я ушла от отца расстроенная, в подавленном настроении. Ну, откуда у него такое неверие в меня, в мои способности?

И все-таки я сделаю это. Я обязательно напишу такую книгу. Пусть не сегодня, не теперь – но напишу, черт возьми!

Наша или, лучше, моя Воронка... *непроявленная* реальность. Подобно тому, как *она* была моим двойником, моей вечной тенью, моя Воронка бесконечности стала маленьким двойником большой государственной воронки. Хамелеоном, иллюзией, бегством из одной иллюзорной реальности в другую, находившуюся по ту сторону времени и пространства. Гибельной темно-серой тошнотворной советской воронке я неосознанно противопоставила гибельную горько-сладкую, смертельно больную Воронку бесконечности.

А она привела в тупик. В жизнь, вывернутую наизнанку, как старый свалывшийся свитер, битком набитый иллюзиями, как старыми выцветшими футболками.

Я взяла в руки рукопись своей незаконченной книги, открыла последние главы о советской действительности, воплощенной в песенной классике и лозунгах. Что я написала два дня назад по этому поводу?

### «Глава 15. Черные силы нас злобно гнетут»<sup>48</sup>.

...А черные силы снова рыли миру могилы. Недружелюбные голоса мировой закулисы с большим трудом прорывались в советский эфир из-за железного занавеса, вещали хрипло и прерывисто, вкрадчиво, злобно и с придыханием, и распространяли панические слухи, и люди слушали, и от этих клеветнических измышлений людей начинали угнетать злобные силы, а в отдельно взятых частях широкой страны нашей родной уже реяли вихри враждебные. Чтобы не возникало сомнений в *уме, чести и совести нашей эпохи*, великие лидеры первого в мире государства рабочих и крестьян повелевали забивать частотными генераторами голоса *из-за бугра*, обрекая себя на бой роковой с врагами, супостатами, паразитами и наймитами. Верша правое дело, наши рулевые глушили изобретательные народные мозги и природную любознательность народа дешевой водкой и еще более дешевым популярным портвейном «Солнцедар», загоняли его в царство тьмы, чтобы он, одержимый холопским недугом, *навек духовно почил*. Этот сизифов труд требовал от руководящей и направляющей силы мощи Атлантов и энергии Геракла, а результаты этого титанического труда постоянно преподносили им неприятные сюрпризы и судьбы безвестные.

Советский народ рукоплескал лозунгам и призывам партии и правительства, следовал ленинским курсом до конечной остановки, единодушно одобрял политику советского государства и всем сердцем поддерживал ее – каждый, кто честен, вставал с ними вместе *не против, конечно, а «за»*. Творя созидательные свершения, послушный *им* народ страны Советов воочию наблюдал, как сквозь грозы сияло солнце свободы, мирно пасся на просторах огромной страны, позволял себя стричь – спасибо, что не резать – и терпел, и это было безмерное, бездонное терпение, потому что послушный *им* народ *влачился в нищете* и соглашался, как то и предрекали великие русские поэты, на *ярмо с гремящими да бич*.

Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Снова и снова. Все встают.

Цирковое представление? Театр абсурда? Браво! Браво! На бис!

А спектакль-то все продолжается. Он идет без антракта, днем и ночью, зимою и летом, без начала и без конца, и смотреть его можно всегда – занавес в этом театре абсурда не опускается даже после долгих и продолжительных аплодисментов.

Строители коммунизма создали свой язык, свои формулировки, этику, мораль, эстетику, свой стиль жизни. Советским людям ежедневно зачитывали выдержки из Полного Собрания Сочинений под названием Большая Советская Книга Бессмыслиц – такие привычные, такие навязшие в зубах русские *лимерики*, только в прозе. А иногда и в стихах.

Мелодии советских песен и лозунгов завораживали, слова поднимали боевой дух народа, хотя многие из них насчитывали уже несколько десятков лет. Иллюзионисты использовали их

<sup>48</sup> Из революционной песни «Варшавянка».

в качестве тяжелой артиллерии – ведь их сила была убойной. Что ж, ничего удивительного: на создание музыки и стихов часто работали очень талантливые люди – поэты, композиторы, психологи. И целое идеологическое ведомство страны Советов.

Группа или, лучше сказать, команда поддержки режима. Это был театр одного или, может быть, нескольких актеров. Каждый день на сцене ставили один и тот же спектакль – Легенды и мифы развитого социализма. А что за кулисами?

...Декларированная свобода страны Советов внедрялась с упорством, достойным лучшего применения. Советские кукловоды управляли людьми и, ловко дергая за веревочки, распространяли сверху вниз, культивировали и поощряли агрессивное невежество и изощренное хамство. Альтернативой этому становились апатия, пофигизм, равнодушие... Люди разучились работать, думать, опускались, привыкая жить на халяву или в обнимку с поллитрой. Небесный свод заволокло тучами – опустился, повис плотный мрачный занавес очередей, раздражающего дефицита в магазинах и в умах... В этой тяжелой, разреженной советской атмосфере человеку не хватало свежего воздуха. Он задышался от сознания собственной ничтожности, испытывал усталость, апатию, фрустрацию. Советского человека упаковывали в одинаковые жесткие рамки, причесывали на одинаковый манер, вынуждали жить по предписанным свыше законам, приводили всех к общему знаменателю – пытались *расчеловечить*, нарушить у него меру вещей.

Кристалльные коммунисты и не подозревали – образование не всегда позволяло – они усвоили урок, преподанный античной классикой: *In vino veritas*<sup>49</sup>. Но вот ведь незадача – советские люди все же не всегда, хотя и очень часто, подхватывали национальную вирусную инфекцию и уходили в сумеречный потусторонний мир алкогольной ирреальности, спиваясь от осознания бесконечных «нельзя». Не всегда, потому что они отстаивали свое право на идентичность, на достоинство, на независимость и свободу.

Иуды и предатели, мерзавцы и отщепенцы, наймиты и безродные космополиты всех времен и народов, шпионы и агенты империализма и мировой закулисы, ведущие подрывную деятельность и клеветующие на Коммунистическую партию и советский строй, отнюдь не выражали желания идти смело в бой за рабочее дело или за власть Советов и, как один, умирать в строю в принципе, а тем более, в борьбе за это. Они тоже хорошо усвоили пролетарский урок о том, что избавленья не даст никто – освобождения можно добиться лишь своею собственной рукой. Эти ревизионисты и проводники буржуазного влияния, эти агенты международного империализма и сионизма, эти свободы сеятели пустынные и поджигатели войны боролись и не сдавались, вставали на смертный бой с силой темною, уповая лишь на то, что рассудок на Руси все же воскреснет, пусть не сегодня, не завтра – когда-нибудь. Эти агенты влияния всеми силами отстаивали право человека твердо стоять на своей земле обеими ногами, вольно дышать в собственной стране и в Европу прорубить окно. Они не боялись их всевидящего глаза, их всеслышащих ушей. И кухонное радио тоже работало на полную катушку, и кухонные анекдоты летали по огромной стране, достигая ушей даже далеких от политики людей.

Во всем враждебной была советская система для честных людей эпохи. Защитники человеческого достоинства из последних сил оберегали свое личное пространство, отстаивали свою идентичность, независимость воли и духа, не желали шагать вперед или назад, или вбок, или куда угодно, лишь бы к победе коммунизма, не хотели идти в ногу с посредственностью, не соглашались на компромиссы с мерзавцами, отказывались мириться с ханжеством и лицемерием, ложью и подлостью.

А ну-ка, кто тут не с нами?

Карательная медицина объявляла инакомыслящим бой святой и правый, признавала их психически больными и *сутяжными шизофрениками*, опасными для общества. Все пра-

<sup>49</sup> Истина в вине (лат.).

вильно. Если ты не испытываешь счастья и гордости за новую эру в истории человечества, то, значит, ты болен! Правозащитников отправляли на принудительное лечение в тюремно-психиатрические больницы, где медики обращались с ними хуже, чем с животными, в целях перевоспитания обкалывая их сульфозином, аминазином, атропином и иной вызывающей шок и ломки, как у наркоманов, гадостью...

Ах, так ты не с нами – получай!

А они все равно не сдавались. «Вставай, страна огромная!» Правозащитное движение набирало силу – так маленький ручеек, натываясь на препятствия, преодолевая или обходя их, набирает силу и становится широкой полноводной рекой. Все очевиднее было, что и в этой стране становится больше внутренне свободных, раскрепощенных людей с высокой температурой чести и совести, с повышенным градусом достоинства, уважения к себе и другим.

Чертово колесо политических событий в стране победившего социализма набирало обороты, оглушительно скрежетало на весь мир, ускоряло бег... Но никто в стране этого как будто не слышал, не видел, не замечал...

Однако направляющая сила советского общества испытывала страх за себя и свою власть. И рассудок на Руси что-то, кажется, исчез. Ату! Фас!! Куси его!!! Вот она, замордованная, загнанная за *можай* человеческая личность, протестующая против режима КПСС. Как два различных полюса, как два класса, столкнулись в смертельном бою душа народная и слабеющая полицейская власть..

Изломанные советским режимом судьбы. Люди, исковерканные физически и морально, со свернутой шеей, с перебитым позвоночником, с промолотой, как фарш через советскую мясорубку, душой. Промолотой, но не уничтоженной. И дух их не был сломлен – и это была народная, священная война.

Холодок ужаса бежал за ворот и охватывал душу от снова ярко заблеставших лозунгов побед, а, в основном, от того, что великий Вождь, Великий Гений всех времен и народов послал нам привет из Воронки параллельного мира, снова и снова в зените славы поднимал руку, благословлял *свой* народ тяжелым азиатским взглядом, один за всех вечную тяжелую думу думал своими изощренными и непредсказуемыми азиатскими мозгами, вдохновлял советских людей на труд и на подвиги. А чтобы глушить, забивать Совесть эпохи, нереальный социалистический рай извлекал из своего арсенала на свет отнюдь не божий *реально* убойные орудия устрашения: аминазиново-галоперидоловую блокаду и ад психушек.

А Бесы лезли из всех дыр, из всех щелей, и производили на свет божий потомство, и гнусно хихикали».

Хорошо, хотя, конечно, ничего хорошего... Эта глава завершена. Ладно, смотрим дальше.

### **«Глава 16. Ахалтекинец Власти.**

...А нынешняя эпоха? То же коловращение, все те же концентрические круги по воде океана времени. Позитивная ура-патриотическая идентичность советской эпохи возрождается, как птица феникс, из пепла в современной России. И узнаешь ее легко, хотя она, как хамелеон, меняет цвет, формы, тональность, перекрашивает свои пятна... Эта новая – да новая ли? – идентичность утверждается на самом высоком уровне и проходит все возможные идеологические проверки, а затем апробируется в новых учебниках, которые получают путевку в жизнь лишь с высочайшего соизволения. Вот уже и сроки установлены...

Новые иллюзионисты и кукловоды XXI века пока еще не достигли мастерства своих предшественников, но все же, все же...

Как взбунтовался, озверел, как взбеленился необъезженный ахалтекинец Власти! Брыкается, взвизгивается, встает на дыбы, ржет, пышет гневом его ноздри – и не позволяет подойти к себе, не поддается выезде.

Весь выпотнел одичавший конь, и морда у него вся в пене... Ой, как взъерепенился!

Плюется наш конь горячей слюной, пугается, злобится на весь мир, шарахается, пытается укусить, бьет своим тяжелым, подкованным сталью копытом, высекает искры. Страх, ненависть, алчность движут конем, и бьет он наотмашь – целится не в бровь, а в глаз думающих людей страны, стремится расколоть российский орех и выбить из него интеллектуальное зернышко, а к себе подпускает только агрессивное невежество и хамство.

Не чистых кровей конь, вероятно.

Осажденная крепость предлагает живущему в ней народу нулевую, а возможно, и отрицательную стоимость человеческой жизни, прославляет новых и старых кремлевских мечтателей, навязывает культ вождя. С экранов телевизоров проливается на людей тщательно отфильтрованная виртуальная информация, а телезрителей погружают в Зазеркалье популярных ток-шоу. Дома, в метро, на работе россияне пялятся в планшетники и айпады, погружаясь в омуты, завихрения, воронки виртуальных игр – *стрелялок, бродилок, балделок*. Может быть, лишь в информационных сайтах и в некоторых блогах люди могут получить представление о реальном положении в стране и в мире. Но большинству россиян интереснее смотреть ток-шоу...

Власть наверху и на местах правит сильной рукой, и большинство советских... ой, что это я говорю? Любопытная оговорка, однако... Многие, может быть, даже большинство россиян уверены в справедливости такой власти. Что поделаешь – неамбициозное общество.

Ханжество и лицемерие, равнодушие, цензура в защитной маске и расхожие штампы лозунгов – все они, разбившись на пары, исполняют торжественный, медленный вальс-бостон перед миллионами одуроченных зрителей, разместившихся в партере, амфитеатре, ложе бенуа, а больше всего, на галерке. Круговая порука позволяет власти манипулировать людьми. Бюрократия мимикрирует, рапортуя о своей самодостаточности.

Как метко сказал когда-то Джордж Оруэлл! Авторитарные режимы создают удобную ей действительность по своему желанию и на свое усмотрение.

Преисполнившись любовью к Родине, сильные мира сего и сегодня, даже больше, чем в Империи Зла (наверное, потому, что им больше нечего бояться и некому противостоять) путают свой карман с государственным, показывая остальным заразительный пример, да еще и кичатся собственной наглостью и безнаказанностью. А чтобы отвлечь несведущих, необразованных, невежественных людей, вносят в Думу абсурдные законопроекты. О запрещении иностранных слов, например.

Снова и снова концентрические круги по воде. Точно, как в двадцатые годы прошлого века. Да, точно. Бабушка ведь мне рассказывала о тогдашних экспериментах.

*СамонЁр понЁр до самонЫсу*<sup>50</sup> – вот какой замечательный образец советского новояза!

Стабильная нестабильность, незавершенная завершенность. Немилосердные дела. Страна, градус абсурда которой резко повышен. Нет, не так. Сама Система покоится на абсурде – и абсурдна в принципе.

Интересно, поддается ли лечению вирус *бездонного терпения*, который народ моей страны подхватил много веков назад, да так и не приобрел иммунитета к нему? А все потому, наверное, что вирус этот много раз мутировал и стал почти неузнаваемым. И одной из таких мутаций стал не проходящий никогда, с длительными обострениями и краткими ремиссиями, тяжелый советский грипп. Он тоже неизлечим, этот грипп, и, как его осложнение, возникает новый *ген – ген советскости*.

Но как быть с пресловутой свободой – нужна ли она в действительности? И разве возможна была настоящая свобода в СССР? Не только для обычных людей, для человека с улицы, но для людей науки, искусства, литературы? Да что там! Существовала ли реальная свобода

<sup>50</sup> Велосипед поехал к фотографу.

для руководителей партии и правительства? Или они и сами стали заложниками созданной ими *Системы*?

И стала ли такая свобода реальностью для кого бы то ни было в современной России? Для правителей-державников, для политиков, ученых, людей искусства? Ой ли? Свежо предание... Да и востребована ли была свобода в нашей стране хотя бы на каком-то этапе?

Что же тогда изменилось?

Вот только литература, кинематограф советской эпохи... Удивительно, но это время подарило миру настоящие шедевры литературы, искусства. Как такое могло случиться? А с другой стороны, разве история не дает примеров расцвета культуры в неблагоприятных условиях? Италия в XVIII веке, потерявшая независимость, Россия в XIX веке. Этот список можно продолжать долго...».

Ну, что ж, работа над книгой близится к концу. Скоро, совсем скоро я смогу ее закончить.

...А дружба с Аленкой ушла в прошлое, по-английски, даже не помахав рукой на прощанье. После того, как мы расстались с Олежкой, отношения с подружкой порвались. Мы могли не встречаться годами. Странное безразличие, а может быть, равнодушие овладело мною... Особенно после того, как Аленка рассказала о смерти Олежки.

В последнее время он, кажется, жил совсем один. Мать и бабушка его к тому времени умерли, отношения с женой не сложились, и сына, Данилку, который вырос без него, он видел редко.

...В тот день он упал прямо на улице – не выдержало сердце. Что ж. Так бывает... Сердечный приступ. Может быть, его еще можно было спасти? Просто помощь не пришла вовремя. Никто не виноват... В последние годы он, вероятно,пил постоянно – вот сердце и возмутилось. Это была его личная Воронка. Туда он меня не пустил.

Ему не было еще и 43 лет... Я не знаю точно, когда именно это случилось. Неизвестно, где он похоронен, и мне некуда прийти к нему, принести цветы. Я узнала о смерти человека, которого так любила когда-то, спустя много лет после того, как это произошло. Случайно.

Что ж, бывает. Дело-то житейское...

...Молниеносным движением невидимой руки время отщелкивало сразу целые недели, словно костяшки на старинных бухгалтерских счетах, и они моментально улетали в прошлое.

## Эпилог

### Проблесковые огни воронки

#### Много лет назад. Я...

...А я в это утро сидела и готовилась к лекции.

И снова прыжок или нырок, или кувырок...

Значит, снова мне в путь?

Время затрепетало, заскользило, расколосось на настоящее, будущее и прошлое. И вот же, вот он, опять этот уже знакомый пространственно-временной туннель.

Я быстрым шагом пошла, побежала сквозь пробитое во времени отверстие, внезапно пронзившее реальность. Я просочилась через Воронку времени в прошлое... Элементы пазла потянулись друг к другу, словно притягиваемые сильным магнитом, стали сами по себе складываться в картинку.

Вот он, мой *непроявленный* мир.

Хотя чему тут удивляться? Это же моя любимая работа, а она держит в тонусе, и с ней уж точно никогда не соскучишься.

Та-ак... В какую же эпоху я попала на этот раз?

Но это, кажется, опять – не моя эпоха.

60-е гг. XX столетия? Ну да, конечно!

Алан Фрид. Джаз и рок-н-ролл. Мир все еще заморожен Эллой Фитцджеральд и Элвисом Пресли. А в Америке уже всюду крутят пластинки Пола Анки с его бархатным голосом. А, вот они уже раскупаются и в Европе. Джаз. Чак Берри и его заводная *Go, Johnny, be Good!* Чабби Чекер и *Twist again*. И почти сразу – *I want to hold your hand, Yellow submarine... The Cavern*<sup>51</sup> – именно там начался путь ливерпульских Жуков к славе во всемирном масштабе. Битлов показывают в западных кинохрониках и по телевидению, и вот они уже завоевывают Америку! А свой последний совместный концерт *The Beatles* устраивают не где-нибудь – на крыше студии *Apple Records* в Лондоне, вот как!.. И все танцуют твист, и все поучают друг друга: «Вот так, вот так. Смотрите и повторяйте за мной: совершайте то одной, то другой ногой движения, представляя себе, будто вы тушите и затаптываете в землю окурки сигареты».

О-о! Сладкоголосые итальянцы... До чего приятно слушать их звонкие, текущие широкой рекой мелодичные голоса! Они хорошо слышны во всех уголках планеты и так не похожи на английские – те более решительные, ритмичные, жесткие. А итальянцы – какие протяжные и в то же время могучие, бездонные голоса! Мина. Рита Павоне. Патти Право. Джанни Моранди. Адриано Челентано.

Ах, как много собирается фанатов! Мне слышно из распахнутого настежь окна моего гостиничного номера, как они скандируют, что-то кричат... Целые океаны поклонников!

Надо же, в моде опять революции. Разные. Но вот такой еще не было! Все нарастает гул революции мини-юбок, а во главе – ее духовный лидер Мэри Квант. На радость новым феминисткам сразу все женщины надевают супер мини-юбки, и даже советские женщины, и даже те, кому не стоило бы их носить ни в коем случае... А женщины уже всюду носят и брюки на работу: это уже больше не спортивный и не экстравагантный, а деловой бизнес-костюм.

Ой! Стиляги в СССР. Однако! В Советском Союзе слово «стиляга» стало презрительным прозвищем, даже ругательством, потому что наша молодежь не такая, и она высоко *прав-*

---

<sup>51</sup> Таверна Пещера в Ливерпуле.

ственная, и у нее другие идеалы, и вообще это все тлетворное влияние Запада. И все же вот они! Господи! Постриженные под полубокс, *коки* а ля Элвис Пресли или фасонистую польку пижоны и стилиги носят длинные бесформенные свитера или рубашки защитного цвета, надевают узкие-узкие брюки-дудочки – вот лопнут! – от фарцЫ, и браслетами еще все какимитобренчат, и пестрые шейные платки нацепили, а еще, вон какие бороды отпускают все подряд! А женщины понаделали *бабетты* и стали прямо как сиамские близнецы, и головы их напоминают теперь высоченные неприступные башни! И тоже держат фасон: надели на себя широченные юбки колоколом или обтягивающие платья-трапеции из джерси длиной не ниже колен, тонюсенькие каблучки-шпильки...

*Там пиво пенится, там брюки узкие трещат по швам*<sup>52</sup>.

Я слышу слова задиристой песни. Стилиги и пижоны фасонят, *бацают* модные мелодии на гитарах и модные танцы на танцплощадках и на танцах-пяточках, включают на полную мощность свои радиолы и все время таскают с собой, крутят транзисторы, ловят и лихо отплясывают чарльстон и буги-вуги, и еще какую-то босса-нову. Давай, давай, парень, *лабай* рок-н-ролл и джаз. Лабаем джаз, а иногда еще и чарльстон даем, стилиаем, товарищи!

Но вот уже этот стиль узких брюк и бесформенных свитеров сменяет мода *под Битлов*. Длинные, до плеч, не всегда чесаные и время от времени чистые волосы-патлы, рубашки самых пестрых расцветок – ну, и пижоны, фи! – узкие в бедрах и подметающие улицы брюки клеш необъятной ширины. Бедра, обтянутые джинсами настолько, что вот-вот треснут, кажется, и застегнуть их можно только лежа. И все очарованы этой модой до безумия, и все теперь так одеваются – и мужчины, и женщины.

А это кто такие? Политики? Да нет... это снова Вожди. И снова их обуревают мания величия. Да! Они легко узнаваемы по безумному горячечному блеску в глазах – сверкают глаза ораторов, брызжут искрами безумия, наливаются кровью и грандиозностью, выпрыгивают из орбит, излучают новую абсолютную истину, а в расширенных гордыней зрачках многократно отражается толпа на площади. Сильно повышенная температура самоуверенности. Высоко задранный подбородок. Сильно развитые нижние челюсти, взгляд очковой кобры, а хватка мертвая – бульдожья... Толпы, моря, океаны людские плещутся на площадях и скверах, переливаются через край – только брызги летят во все стороны! Каким нестерпимым жаром полыхают эти толпы. С какой всепоглощающей жадностью вникает она новым Вождям. Как верит им толпа! Как взрывается бомбами, снарядами энтузиазма, как строчит из пулемета очередями интереса, восторга!

А вожди! Вот как буравят они, гипнотизируют толпу взглядом, увлекают ее за собой, заражая взрывоопасными идеями повального равенства и *оголтелой* свободы, вот как держат ее крепкими острыми зубами – теперь уже больше не выпустят!

И стою я в огромной толпе людей на площади, и вижу, и чувствую, как волнуется море людское... И отчетливо осознаю: ну, никак люди не могут без вождей – маленький человек с улицы не может не создавать себе кумиров, он должен поклоняться им. Вожди *нужны* толпе. А потому вожди непотопляемы – и вечны.

Я вижу бородатого Команданте с Острова зари багровой свободы – знаменитого предводителя *барбудос*<sup>53</sup>! а с ним и его заклятый соратник, отчаянный друг – Че<sup>54</sup>... Этот последний бородач странствует по Латинской Америке и ведет за собой, и зажигает, и смущает незрелые умы. Снова многообещающие речи. Опять мания величия. И что же они проповедуют, эти

<sup>52</sup> Перефразирована песня «В кейптаунском порту». Гандельман Павел, Шалом Секунда.

<sup>53</sup> Бородачи (*исп.*). Nombre barbudo – бородач.

<sup>54</sup> Че – друг (*исп.*)

латиноамериканские вожди? В их котле закипает, бурлит какая-то гремучая смесь маркузианства, маоизма, неотроцкизма, марксизма, красных, черных, непонятно каких – в общем, жутковатый, непонятного цвета борщ из измов заваривается, и есть его будут явно не с зеленью и не со сметаной.

Да и переварится ли он в непривычных к столь грубой, острой пище желудках?

Несварение желудка... Какая неприятность!

М-да... *Двадцатый век берет разбег!*

Ух ты! Конец апреля, и теплый вечер, и бородатый Фидель в Москве! Спортивный, подтянутый, в латиноамериканском, защитного цвета, военном френче и пилотке. Высоко задранный подбородок и фанатичный блеск в глазах. И у этого глаза налиты кровью, вот-вот выпрыгнут из орбит, излучают абсолютную истину... Пламенный оратор, страстный борец за счастье, за победу коммунизма на Кубе и на Планете всей произносит огненно-неугасимую речь на Красной площади. Кубинский вождь очень молод, энергичен, выправка военная. Это нравится. А как же? Ведь он герой, он творит историю! Героика будней.

...Постой, постой, а это кто такие? Вот это да! Протиснувшись в толпе на площадь, мы стоим с мамой, прижатые толпой к самой стене Исторического музея, внимая Исторической речи заокеанского коммунистического вождя... Странно, однако! Интересно, это я или вообще не я? Как странно, как невероятно увидеть саму себя в том, другом, времени, в другой жизни... Ведь я почему-то вижу себя *отдельно* — и совсем маленькой девочкой... Ой, какая маленькая, смешная! Но это все-таки я! Точно я! С двумя длинными, аккуратно заплетенными косичками, в новом красивом плащике и берете. Мы с мамой крепко держимся за руки, чтобы нас не оттерла друг от друга и не развела толпа в этом людском океане. А моя мама – молодая-молодая! Лицо совсем юное, оживленное, нарядно одетая, в модном синем плаще – да ведь я его прекрасно помню, этот плащ! Волнистые темные волосы коротко подстрижены и уложены в красивую прическу, а глаза широко распахнуты, зажигаются интересом, искрятся радостью, полыхают ярко-синими искорками. Ну да, конечно, ведь Фидель творит живую историю! А я слушаю *дядю Команданте* с интересом и от удивления даже открываю рот, широко раскрытыми глазами смотрю на него и не очень-то понимаю, к чему призывает, чего хочет этот бородатый в своей военной форме и почему все так радуются, приветствуют его... А вся Красная площадь скандирует, приветствует Великого кубинца, кричит: «*Ура!!!*», «*Фидель! Viva Фидель!!!*», «*Patria o Muerte!*», поет: «*Куба, любовь моя! Остров зари багровой!*» и «*Вставайте, кубинцы, вам будет счастье Родины наградой!*»

Ничего себе! Зрелищный спектакль! Чеканя шаг, идут атлеты. Идут в пилотках и рубашках защитного цвета. С песней шагают барбудос. Идут захватывать Монкаду, Гранму, Сьерра Маэстру, вступают в Гавану... Маршируют по Кубе, Латинской Америке, Анголе... Мечтают о коммунизме во всемирном масштабе, расппевают песни. Я слышу музыку, различаю слова... Послушайте и вы! «*Слышишь чеканный шаг? Это идут барбудос!!!*» – угрожают бородачи. Они зажгли всю Латинскую Америку – вот как она полыхает! Они подожгли Европу. Они подожгли весь мир! Неуютно находиться рядом с ними, слушать их призывы, их песни, хотя многих они очевидно заводят.

Эту песню подхватывает все прогрессивное человечество. В Советском Союзе ее знают наизусть, поют на демонстрациях, на концертах, на отдыхе, поют дети в школах на уроках музыки, поют пионеры в пионерских лагерях. И почему бороды а ля Фидель Кастро приобрели теперь такую популярность в СССР, тоже понятно.

Взбесился, сошел с ума, возжаждав независимости и свободы, освобождающийся от векового рабства Третий мир. В судорожных попытках сохранить колониальные империи европейские державы используют любые средства. Гибнут африканские борцы за свободу. Пусть будет земля тебе пухом, Патрис Лумумба! Уходят – и уже навсегда – бельгийские, голландские,

французские колонизаторы из Африки. Но имеют ли народы Африки хоть какое-то представление о том, что такое свобода и как ею пользоваться?

Да, история – это концентрические круги по воде Океана времен...

Но я точно вижу, слышу, ощущаю: человечество отнюдь не идет к прогрессу.

Сверхдержавы продолжают ядерные испытания. Слава Богу, их теперь хотя бы сдерживает Договор о запрете испытаний в трех сферах, а еще угроза гарантированного взаимного ядерного уничтожения.

Опасные это игры... Временами они превращают мир в театр абсурда. Вот ВВС США потеряли целых четыре термоядерные бомбы над небом Испании и, кажется, еще где-то. И виноватых нет, и все молчат. И будут молчать еще несколько десятилетий.

...А теперь я вижу солнечную, сверкающую и в то же время застенчивую – такой больше нет ни у кого в мире! – улыбку Юрия Гагарина. Я слышу его «*Поехали!*», словно он просто сел в такси – вовсе не в ракету! – и собирается съездить в другую часть города. Звучит любимая песня советских людей: «*Заправлены в планшеты космические карты...*».

А это Нил Армстронг и Бэзз Олдрин, и *Apollo 11* — вот же они, вот! Тяжело переваливаясь, медленно, неуклюже, словно водолазы под водой, передвигаются американские астронавты в скафандрах и устанавливают американский флаг. Вы не поверите: не где-нибудь, а на Луне, вот как! И вся планета, затаив дыхание, наблюдает за ними с экранов телевизоров. Луна, Марс, Венера – вообще Космос заморозил всех, а уж жизненные планы просто космические даже у тех, кто не собирается лететь в отдаленные галактики! Как это поет Лариса Мондрус: «*Волнует нас планета Марс, и на Венеру нам давно пора взглянуть!*»

Узнаю обаятельную улыбку тридцать пятого президента Америки – излучающего оптимизм молодого католика, того самого, у которого хватило здравого смысла удержаться от жесткой реакции на советские ядерные боеголовки, установленные на острове Свободы и оказавшиеся в руках бородатого Кубинца. Боже, как страшно, ведь человечество едва не обрушилось в бездну ядерной зимы... А рядом с президентом его очаровательная, с французским шармом, супруга, Жаклин – и привлекательная, чувственная, *огненная* Мэрилин Монро, с ее искрометной улыбкой – она просто излучает обаяние!

Ага, вот он, наконец-то! Это советский лидер, очень энергичный, подвижный, невысокий и обаятельный лысый оптимист, очаровавший мир, а затем озадачивший и шокировавший его заверениями в том, что он покажет *им* всем *Кузькину мать!* Смотрите! Вот он угрожает разуться прямо на заседании Совета Безопасности ООН. Фурор! А это он повелевает выращивать кукурузу на Колыме и за Полярным кругом. Эпатаж! А сейчас он разгоняет самобытных советских художников, называя их *пидарасами*. Небожитель. Как же ему хочется догнать и перегнать Америку по мясу и молоку! Кремлевский мечтатель. Однако недаром советские люди продолжали этот популярный лозунг так: *не уверен – не обгоняй*.

С художниками, писателями, поэтами, бардами в Советском Союзе борются, их молодых подражателей отлавливают, им насильно остригают *патлы*, не пускают в кафе и общественные места в джинсах и без пиджаков с галстуками. Заставляют советских людей единодушно их осуждать. Нигде и ни за какие деньги невозможно купить диски Битлов, да и других звезд мировой эстрады, но их все же *достают* через фирмачей и фарцу, переписывают на маги, так же, как и песни советских бардов. С бобины на бобину, в домашних условиях, делают копии любимых записей, склеивают лаком для ногтей и еще непонятно чем порвавшуюся от многочисленных записей пленку – и теперь почти в каждой квартире звучат, пусть далеко не лучшего качества, но горячо любимые голоса Галича, Окуджавы, Высоцкого.

И опять перед моими глазами возникает Америка. Мартин Лютер Кинг, так редко, но так метко видевший сны... Зато какие дивные, какие прекрасные сны! Это были яркие, счастливые сны-мечты о его стране, где белый американский малыш радостно протянет руку чернокожему

ребенку – и будет, наконец, покончено с расовой несправедливостью... Вот он, борец за гражданские права афроамериканцев, счастливо избежавший десятка смертей, но не сумевший уклониться от трагической одиннадцатой, двенадцатой... неизвестно какой по счету пули... А диксикраты-то<sup>55</sup> как довольны: они торжествуют – еще бы, они все-таки совершили акт возмездия, раз уж дело чернокожего борца за свободу и справедливость победило!

Вечером, в своем номере полулюкс, я включаю телевизор. Кхесани и страшные, обожженные жертвы напалма... А, это вьетнамская война. О ней много говорят и пишут в Советском Союзе, показывают кино- и фотокадры этой бесчеловечной бойни.

А вот мы пришли в кино, и перед кинофильмом показывают «Новости дня». Я смотрю кинохронику – какие нечеловеческие, освещенные звериной яростью лица у *хун... хун...* тьфу, вот черт! Сразу и не выговоришь – хунвейбинов! Они что-то орут, угрожающе размахивают кулаками, палками, чем попало... Ну да, это же культурная революция в Китае! Они скапливаются на советско-китайской границе... Господи, неужели советских людей ждет война?

А это Париж... Ну, ничего себе! На куполе Собора Парижской Богоматери неизвестные вывесили флаг коммунистического Вьетнама – вон как развевается! Опять этот Париж, и Латинский квартал, и Сорбонна... Мне слышны крики студентов, требующих абсолютной, всепоглощающей свободы без конца и без края во время обучения в старейшем университете Франции: свободы выбора курсов, преподавателей, времяпровождения. Пусть отцы себе вкалывают, создают изобилие – а мы хотим ходить в бордели в перерывах между лекциями – вот так!

Да уж, жаркие выдались весенние денечки у этих гордых потомков галлов, ничего не скажешь! Нет на них Цезаря! Хиппующая молодежь, заросшая, грязная, валяющаяся прямо на земле. Сегодня мы копируем манеры латиноамериканских лидеров, завтра – ливерпульских *Жуков*. Юные европейские *Шестидесятники* выразили той жаркой весной свой бунт против трех К – конформизма родителей, коммунизма за железным занавесом и нового колониализма холодной войны. Что поделаешь: *измы* были в моде повсюду. Но кто бы мог подумать, что юным парижским гедонистам, обычным французским девчонкам и мальчишкам удастся-таки заставить дрогнуть, плакать, уйти в отставку несгибаемого генерала, великого борца за свободу и достоинство своей страны Шарля де Голля – героя французского Сопротивления нацистам.

А вот – это я читаю только что купленную в киоске парижскую *Figaro* — из далекой Австралии поступила невероятная новость: хирург Кристиан Барнард вшил пациенту искусственное сердце. Да неужели такое возможно? И ведь его первый пациент, этот – как же его? Луи Вашканский, так, кажется? – так вот, этот больной человек прожил с новым сердцем восемнадцать дней! Но ведь до этого не выживал никто, а этому пациенту было уже сильно за пятьдесят... А несколько лет назад была создана первая искусственная почка, так что многие больные люди, обреченные прежде на тяжелые страдания и мучительную смерть, теперь будут жить! Еще не вечер, господа, еще не вечер.

Европа. Бум, долгоиграющее экономическое «чудо», благосостояние, удобная комфортная жизнь. Правда, девчонки и мальчишки из семей среднего класса бунтуют. Вероятно, для них она слишком удобная и комфортная. Вот же они, смотрите!

В знак протеста против надоевшего изобилия общества потребления хиппуют и твистуют, уходят из семей в поисках острых ощущений, бродят по большим дорогам, живут под мостами, колются, неизвестно чем питаются, путешествуют автостопом, занимаются сексом, благо, теперь широко доступны пилюли, увлекаются то ЛСД, то коммунизмом, то неофашизмом, а то и марксизмом, неотроцкизмом, маоизмом или вообще каким-нибудь малопонятным измом. Все для них теперь возможно: сегодня они спаривают кубинскую революцию с сексуальной, завтра зачитываются цитатником Мао, послезавтра изучают себя по шкале Кинси...

<sup>55</sup> Противники предоставления негритянскому населению гражданских прав.

Именно так эти новые Левые борются за новое, открытое общество, против догматического коммунизма, за честную мораль, против ханжества и лицемерия своих родителей.

Взгляните-ка на них, на их бунт против изобилия и потребления. Не хотим синтетических платьев, джинсов, кофточек, туфель, сапожек – ни прет-а-порте, ни от кутюр! К черту фэшн-индустрию! Не надо нам шедевров от Ив Сен Лорана, Кардена, Диора, мадам Гре... Обойдемся без транзисторных приемников, радиол, коттеджей, кожаных кресел и автомобилей... А вот не надо нам столько электроники, изящных замшевых изделий, домашней техники! Сегодня нас интересует Космос, завтра мы сдвигаемся на идее революции, послезавтра захвачены твистом, роком, попом, а сексуальная революция в мировом масштабе – это вообще наше все!

Отнюдь не забытая женщина Востока Индира Ганди стала премьер-министром – надо же! Но то за «железным занавесом». А что в нашей стране?

За близость эры светлых годов советским людям приходилось расплачиваться. Эпоха революционных свершений аукалась всеобщим дефицитом и опустошенностью.

...Я вижу унылые очереди, обеспокоенных, растерянных или озлобленных людей, дефицит, хамство в магазинах, общепите и госучреждениях. Люди устают от перебоев с мясом, картошкой, да и с другими продуктами. И если даже нормальные продукты на прилавках не всегда бывают, то что уж говорить о *культтоварах* и *промтоварах*... Ох. Без слез не то, что не наденешь – не взглянешь... В Советском Союзе джинсы, стильные юбки, костюмы, кожаные изделия – все эти товары недоступны для обычных советских людей, их можно достать только по благу, а кое-что, если очень повезет! – выстояв километровую очередь. Что ж, зато мы производим ракеты, наращиваем стратегические вооружения и тактическое оружие, устрашаем Европу танками и бронетранспортерами. Правда, у нас днем с огнем не достать туалетной бумаги, и живем мы без самых необходимых вещей и элементарных удобств, – как *при царе Горохе*, сказала бы моя бабушка. А *зато* наша сталинская Конституция – самая демократическая в мире. А *зато* программа «Время» нам строить и жить помогает, и ведет, и держит в тонусе. Зато мы сверхдержава, и у нас Великая идея светлого будущего, и мы к ней из последних сил устремляемся каждый новый день, и осуществляем ограниченный суверенитет – используем сверхсиловые приемы, оружие, тяжелую артиллерию, танки против суверенитета реального. Зато, поддерживая престиж Великой сверхдержавы и советской власти, мы зажигаем искру и раздуваем пламя свободы в Азии, Африке, Латинской Америке, Океании... – по всему земному шару – и делаем неугасимым этот огонь священный новейшей боевой техникой, твердой валютой и человеческими *ресурсами*. Зато наша партия и правительство руководят всем национально-освободительным движением в мировом масштабе, а щебечущие, словно птички, маленькие, точно игрушечные, вьетнамские студенты усердно учатся в московских вузах – надо же направить жертвы американского империализма на покорение Пика Коммунизма!

А люди – ну, что ж, люди! Наши советские люди купят и наши советские туфли, хотя они криво склеены, жестки и тяжелы, хотя они скрипят и чавкают при ходьбе, трут, калечат ноги и быстро разваливаются. А *зато* они очень дешевые – просто *на халяву*. Зато у нас лучшая медицина в мире! Главное – бесплатная. И пусть больным приходится платить за операции и лечение, все равно бесплатная – с этим не поспоришь. А в странах капитала хоть помирай на улице под дверями больницы, если у тебя нет денег. Зато у нас бесплатное образование. Конечно, репетиторам надо платить, если хочешь поступить в вуз, но все равно бесплатное – с этим никак не поспоришь. А в мире, где правит бал Золотой Телец и *Кто-то* еще, без денег так ведь и помрешь неучем. Ничего не поделаешь, акулы империализма! Зато у нас всегда и везде имеются пропагандистские лозунги, притом в изобилии, а в магазинах всегда в наличии труды классиков марксизма-ленинизма и руководителей партии и правительства, так что грех жаловаться на дефицит. А еще в магазинах есть водка и бывает колбаса *Отдельная* или *Любитель-*

ская, а если очень повезет, так и *Докторская* – и у нас самая дешевая колбаса в мире! Правда, голодные бездомные кошки ее не всегда едят – не заставишь, сколько раз проверено! Но греет же душу, что непонятно из чего сделанная колбаса, за которой приходится выстаивать длинные очереди, такая замечательная, потому что *такая дешевая*. Зато народ тешится всенародными праздниками, смотрит парады – а как же? Нужны зрелища! Ходит на демонстрации...

Людей повязали круговой порукой тотального дефицита. Но... тотального дефицита как раз и нет в коммунистическом раю, и конформизм об руку с послушанием становятся пропуском в светлое Завтра. Где уж здесь думать о достоинстве?

И как же мало под небом страны теплых, ясных, солнечных дней. Промозглые утра, серые до уныния дни и насупившиеся вечера. Дуют пронизывающие ветры, низко нависшие угрюмые сизые тучи ложатся на землю, придавливая ее своим огромным пузом. Вечные лужи под ногами, и бесконечный дождь – все моросит, сеет...

И трудно, наверное, было бы вынести эту серую, скудную, безрадостную жизнь, если бы... если бы не было на свете хороших книг, которые все-таки можно *достать* втридорога и по случаю у библиофилов или прочитать в «Новом мире» у Твардовского, иногда в «Юности», редко-редко – в журнале «Знамя».

Вот и я, как тысячи советских людей, с нетерпением открываю утром свежий номер «Нового мира» и читаю, потрясенная, «Один день Ивана Денисовича». И снова открываю – «Матренин двор»... А это уже журнал «Москва» – и сводящий с ума, невероятный, невозможный, опасный для Системы роман «Мастер и Маргарита». А вот в «Юности» недавно напечатали рассказ Василия Аксенова «Победа», – и это замечательно, тем более, что недавно я проглотила за одну ночь подаренную мне и уже зачитанную до дыр другую его книгу «Пора, мой друг, пора». Какой любовью к Родине дышит каждая страница этой книги... Может быть, он-то и есть настоящий патриот своей страны?

А это что такое, о Господи? В журнале «Октябрь» опубликовано произведение *Чего же он, Кочет* — ой, простите, «Чего же ты хочешь»? А, ну, понятно! Это чтобы ярче Солнце победы нам вдруг засияло, и заблестало, и забрызгало нас с головы до ног своими искрами. И чтобы нас вырастил Вождь, рифмующийся с глаголом *заблестало* — на верность народу, и нам путь озарил даже сквозь грозы и тучи, и ветры, и вихри, и снежные бури, и смерчи, и торнадо – и на ратные подвиги нас вдохновил!

Преодоление – судьба целого народа?

На журналы советские люди подписываются в почтовых отделениях, даже не рассчитывая купить их в киосках, и прочитывают от корки до корки, и передают их, как переходящее Красное Знамя, друзьям, знакомым, коллегам по работе.

А что, если бы у советских людей не было возможности хотя бы изредка ходить в театры – в Большой, Современник, Театр на Таганке? А ведь есть еще кино и замечательные фильмы – «Три тополя на Плющихе», «Женщины», «Доживем до понедельника»... По крайней мере, жителям столицы нашей Родины эти радости время от времени доступны.

Я с удовольствием вижу на экране всенародно любимую троицу юмористов – Труса, Балбеса, Бывалого. А вот люди пришли на концерт Аркадия Райкина – какая горькая сатира на хамство, невежество, на советскую действительность – весь зал смеется, негодует, плачет!

А теперь люди выходят из зала после концерта. Стоит весенний теплый вечер, и льются из открытых окон любимые всеми песни... «*Ландыши, ландыши, светлого мая...*» — эти слова я помню очень смутно, словно из другой жизни, наверное, я тогда была еще совсем маленькая... Эту мелодию сменяет «*У моря, у самого моря!*» Я слышу ее – да это же песня моего детства! А вот ее уже сменяет заводная «*Королева красоты...*» А, Магомаев. И еще, и еще... «*В Антарктиде льдины...*», «*Крутят они, стараясь, вертят земную ось...*» «*Даже с кошкой своей за версту...*». А, это звучит столь любимая советскими людьми песня «*Черный кот*».

Хорошая песня, конечно, но... Ведь неважно, кто ты: черный кот или белая ворона – все равно не высовывайся. Будь таким, как все.

А ведь есть, слава Богу, еще и цирк, где великий клоун Олег Попов вселяет оптимизм, веселит народ – не только детей. И, наконец, почти в каждом советском доме имеются магнитофонные записи известного на весь мир, самого, вероятно, любимого *народного* певца... На концерт его просто так не попадешь и на спектакли в театр на Таганке – тоже с огромным трудом. Но зато почти каждая семья слушает совсем по-особенному хриплый, с неподражаемым надрывом, рвущий душу и нервы голос народного певца – Владимира Высоцкого.

А власти и не жаль совсем людей, протестующих против этой военной машины, пожирающей несогласных. Впрочем, ну зачем знать об этом рядовым советским людям? Отправлены в ссылки, закрыты в карательных медицинских заведениях иуды и отщепенцы. Упорствуя в своих заблуждениях, агенты империализма и мировой закулисы, плетущие интриги против первого в мире государства рабочих и крестьян попадают туда снова и снова. Отстаивая достоинство – свое и своей Родины, – борясь за *нашу и вашу свободу*, умирают, подвергнув себя мучительному ритуалу саможжения, двадцатилетний Ян Палах, Ян Заиц и кто-то еще...

Ну, так что? Так им и надо, этим чехам! Другим неповадно будет протестовать против советских танков. Да и своих людей, похоже, в СССР не очень жалеют. Боятся. Опасаясь беспорядков среди рабочих, возмущенных острой нехваткой продуктов в магазинах, очередями за хлебом, дороговизной и падением зарплат, власть приказывает стрелять в безоружных людей – это Новочеркасск... Беречь людей в Советском Союзе тоже не умеют, да не очень-то и хотят. Умалчивают или прямо врут о гибели нескольких траулеров и их экипажей в Беринговом море. Спасен только один человек. И если бы только это...

Разум продолжал играть в прятки или в жмурки – сам с собой – в начале последней трети XX столетия.

## Наше время. Я...

Ой! Вот опять я совершила погружение, нырок, заплыв, уход в хронологическую дыру, глубоко занырнула! Но я их больше не боюсь – временных воронок! И потом, прожитые годы дарят не только духовное и материальное богатство, но еще и ожерелье утраченных возможностей. Правда, на каком-то этапе становится трудно его носить – ведь с годами драгоценное это ожерелье становится все длиннее и тяжелее. А вместе с ожерельем растут жизненные комплексы, обостряется вирус вины, всегда дремлющий в человеческом организме.

И мама, и отец своим примером внушили мне убеждение в том, что путь к высшим ценностям в жизни человека лежит через познание, хотя таких высокопарных слов не произносили никогда.

«Наверное, это правильно, – размышляла я, – хотя и рискуешь впасть в нравоучения, менторство. И все же, все же... Познание, сохранение культуры и интеллектуальной элиты, оберегающей эту культуру, – это, вероятно, и есть работа на вечность. Или это риторика, фигура речи?»

Вот только... а не овладели ли и мной грандиозность и гордыня? Ведь, согласно первой заповеди, гордыня – первый и самый большой грех.

Или, может быть, – а вдруг? – это моя *новая* Воронка бесконечности?..

По дороге на работу я зашла в свой банк под названием «Жизнь» и обменяла очередную порцию накопившихся за последние полгода иллюзий на пачку банкнот стоимостью в один год каждая. Правда, пачку купюр мне дали довольно-таки увесистую... Но разве на нее можно купить хоть что-нибудь? Ведь эта валюта ненадежная – постоянно обесценивается.

Годы жизни. Плохой у *Жизни* курс – очень невыгодный. А с другой стороны, где он хороший?

Возвращаясь домой после лекции, я увидела рекламу на маршрутном такси. Лозунг, выведенный большими красивыми буквами: *Лидер страны долговечен!* Господи, чур меня!.. Как же это понимать?.. Ах, вот оно что! Немного ниже мелким шрифтом шла надпись: фирма *Оконные системы КБЕ*.

Ну, слава Богу, вот какой лидер, оказывается, почти бессмертен!

Я вернулась не очень поздно и в приподнятом настроении. Как хорошо, когда есть любимая работа. Все тогда получается.

Теперь скорее за компьютер – дописывать свою книгу! Снова *Воронка*? Ну, и пусть!

Леша был уже дома. Но первыми встретили меня, конечно же, наши кошки. И, как всегда, мне была показана обязательная программа кошачьего приветствия – ритуал, который должен продемонстрировать хозяевам всю глубину кошачьей верности и любви, ритуал, который обязан состояться во что бы то ни стало, и нарушить его невозможно! Потом кошки немного посидели вместе с нами в столовой-кухне: Мрявка на диване, Машка на столе – ей это разрешалось. Ну, конечно, ведь наши кошки считают себя равноправными членами семьи. Время от времени они умильно поглядывали то на меня, то на Лешу, а более решительная Мрявка даже два-три раза сказала свое вечное «*Мр-ря*», что, конечно же, означало: «Кушать когда?» Но было еще рано, и кошки в ожидании ужина прилегли подремать, каждая на своем, раз и навсегда выбранном ими месте, а мы решили выпить кофе.

Внимательно посмотрев на меня, Лешка спросил:

– Слушай, а ты что это такая сегодня довольная?

– А знаешь, лекция у меня сегодня хорошо получилась, мне даже самой понравилось! Я почувствовала это не столько даже по вопросам – больше по глазам студентов, и потом, аудитория стала теплой.

– Как это – *теплой*?

– Ну, вот знаешь... Как бы тебе лучше объяснить?.. – задумалась я. – Вообще-то я тебе говорила, только ты забыл... Вдруг появляется такое ощущение: комфортно и радостно находиться на лекции в окружении студентов, видеть их глаза... Правда, иначе и быть не может. *Noblesse oblige*... А слегка перефразируя Бердяева, скажем, наверное, так: профессионализм укрепляет достоинство человека. И потом, начинаешь ощущать, что они твои единомышленники – будущая элита страны – и что это все не зря... не напрасно.

– Да что «не напрасно»?

– Ну как же? Работа моя, в которую всю душу вкладываю, годы подготовки, мастерство – вот это все не напрасно.

Я еще не закончила последнюю фразу, как вдруг отчетливо поняла: такой же в точности разговор уже когда-то был в моей жизни. Но когда же? Я задумалась. И вдруг вспомнила: состоялся он много лет назад. Только тогда эти слова произносил отец, когда в те старые времена вернулся однажды домой после мастерски прочитанной лекции... Вот он – передо мной: седой, усталый, а глаза сияют.

Откуда-то издалека услышала я мягкий голос отца, эхом отозвавшийся в душе:

– Я почувствовал по глазам студентов... тов... теплой стала аудитория... теплой... не хотелось бы ошибиться... биться... и они единомышленники... это все не зря... не зря... не зря...

Некоторое время мы молчали – пили любимый напиток и думали каждый о своем. Только тихо играло радио. Одна из радиостанций, которую я любила слушать, когда обедала или пила кофе, передавала популярную песню известного певца. Я невольно прислушалась к словам.

– Слушай-ка, а вот это нормально, да? «*Увы! Я женат на России*». Ну вообще! – первой прервала я молчание.

– Да, ну и что такого? Ты же знаешь, я не люблю радио – всегда его выключаю, – немедленно отреагировал Леша.

– Да не при чем здесь радио! Ты только услышь: *я женат на России!*.. Я вот о чем сейчас подумала: ничего так из себя его жена – это которая Россия – и очень даже красивая, и вовсе еще не старая, но только жить-то с ней совершенно невозможно!

– Это еще почему? – заинтересовался муж.

– Ну как же, разве непонятно? Она же слишком непредсказуемая – никогда не знаешь, что она сделает в следующий момент! – хихикнула я.

– А... ну, наверное, – засмеялся и он тоже. И помолчав, задумчиво произнес: – Да-да... Не надо говорить дальше, все понятно.

И тут же продолжил:

– Да... Я знаю, ты любишь свою работу... Только...

Видимо, он взвешивал каждое слово, чтобы сказанное не прозвучало упреком. А мне уже заранее было известно, что он скажет дальше.

– Но все-таки скажи: а можешь ты прожить на те деньги, которые тебе за нее платят?

Я немного помолчала.

– Нет, не могу, конечно. Но я и не надеюсь, что мне за это будут платить адекватные деньги. Скорее – копейки, – медленно проговорила я. – Наоборот, в нашей стране я еще должна была бы и приплачивать за то, что пока могу говорить и писать честно о прошлом и настоящем. Да-да! Приплачивать, а как же иначе-то! Но это пока...

– Что – пока?

– Это только пока я могу говорить и писать честно... Не уверена насчет будущего, учитывая то, что у нас творят сейчас с образованием... – Я тяжело вздохнула. – ... Но знаешь, я все время думаю, насколько прав был Жан Кальвин – религиозный реформатор XVI века, ну, ты ведь помнишь, я же тебе о нем рассказывала недавно? – поспешно добавила я, подме-

тив тень сомнения в Лешкиных глазах. – Да, так вот он говорил, что каждый человек во имя спасения души там, в будущем – или в другой жизни, скажем так – обязан сделать все, чтобы понять свое призвание в *этой* жизни и следовать ему И потом, вообще, как здорово, когда есть любимое дело! А это как раз и есть мое призвание... Знаешь, как это на плаву держит, сколько это сил дает, энергии!

– Да-да, – муж энергично закивал головой, – говорить не надо, я все понимаю... Только ведь для тебя работа, работа – одна только работа и существует. А личная жизнь у тебя есть? Нет, похоже... Ты же вся в работе – никуда не ходишь, даже на улицу тебя не вытащить... просто так, погулять... Да... что об этом говорить! А кроме работы у тебя больше ничего и нет – вот так получается... Сейчас опять сядешь за компьютер – и до пяти утра никто тебя и не услышит. Разве так можно?

– Ну., нет, я как раз сегодня пораньше хотела лечь спать...

– Значит, в четыре... как вчера, позавчера... Ладно, я там что-то приготовил – поешь. Возьми сама на сковородке, наверно, еще теплое. А вот еще и фрукты купил – ну, как же тебе без *фруктов-то*? – пошутил Леша, нарочно коверкая слова. – И видишь на блюдечке – яблоко тебе на кусочки порезал. Сама-то ты ведь никогда не возьмешь...

«Вероятно, работа – это моя *Воронка*. Моя единственная *проявленная*, прочная реальность», – хотелось мне сказать. Но промолчала почему-то...

Да. Отец, может быть, более чем кто-либо другой, понял бы меня сегодня. Но отца больше нет, и он уже не может порадоваться, что я продолжаю его дело с радостью и увлечением.

Хотя... А что мы вообще знаем о прошлом и будущем, о тонких телах и эфирных сущностях, о реальном мире и о других измерениях? И кто знает, возможно, ушедшие от нас близкие люди все-таки что-то видят и слышат *оттуда*, из непроявленного мира, и ощущают, а может быть, и следят за нашей судьбой?

– А знаешь, – сказала я Леше, вставая из-за стола, – ведь я уже почти закончила свою книгу о двадцатом столетии. Скоро она будет готова. Надо только подобрать нужные слова, нарисовать несколько точных образов в конце повествования. Но и их я уже почти отыскала. А поможет мне в этом, как всегда, мой верный друг – Время... И нечего тут хихикать – это так, – добавила я, подметив вдруг знакомые *хитринки* в Лешкиных глазах.

– Ах, ну да, те самые *Часы Времени* без стрелок... Да, я понимаю, чего говорить-то... – произнес муж, тонко улыбаясь. – А знаешь... А, да ладно, все, тебе не до этого. Все, уйду от тебя, но только не сразу, – пошутил Лешка. – А время твое – это дело тонкое.

– Именно.

Включу сейчас негромко – наверно, *Памяти Карузо*, а потом еще что-нибудь такое же нежное и страстное – и продолжу писать свою книгу. Зажжется тогда комната аквамариновым свечением...

Что ж, значит, страсть бывает и такой. Аквамариновой.

Страсть к познанию, что управляет творчеством.

Часы в моей комнате начали отмерять время мелодично и громко – сколько? Раз... два... пять – десять ударов. Сначала я с удовольствием прослушала музыкальный звон *Биг Бен* одних часов, потом сразу же начали бить другие – те большие, с маятником, и их голос звучал совсем иначе, но тоже торжественно.

«Опять спешат – одни на семь, другие на восемь минут», – механически отметила я. А Леша всегда изумлялся, зачем в квартире столько часов. Он утверждал, что не может даже посчитать их точное количество, потому что, кроме часов с боем, в каждой комнате их еще несколько – и все показывают разное время.

Ну как же он не понимает: ведь иначе не уследить за ускользающим, ломающимся, раскалывающимся временем.

А за окном уже созрел, возмужал еще один вечер – кобальтовый, гулкий, весенний. Еще не совсем стемнело. Вечер тихо постучал, деликатно заглянул в окно, улыбнулся широкой и как будто доброжелательной улыбкой, обнажая свои красивые ровные зубы.

Я встала из-за стола и незаметно для мужа хитро подмигнула ему.

А вот и оно, Время – здесь, рядом, смотрит мне в глаза, дышит неслышно, вздыхает... Какая простодушная у него физиономия: циферблат, большие цифры в стиле *naïf* уставились на меня так, словно видят в первый раз. И только одна стрелка – и та сломана или изогнута. Я пригляделась внимательнее – ну, конечно, стрелка снова идет в обратную сторону. Погрозив Времени пальцем, я ушла в свою комнату.

Сейчас я догоню его.

## Без времени. Я и время...

Я прошла, пробежала, пролетела, не касаясь земли, по узкому коридору Времени. Он то расширялся, то сужался, и не было у него ни начала, ни конца. Я не могла остановиться... Неведомая сила подхватила, несла... Нет, ну, конечно, все это происходит во сне. Так бывает: летишь, падаешь, поднимаешься и все никак не можешь проснуться... Но почему-то мне кажется, что это не сон, а действительность – только какая-то странная действительность.

И уже не коридор впереди, а туннель, и вот, в конце его зияет черная дыра. Портал в непроявленную действительность, в надвремя, кратчайший путь в иное время? А там, дальше... что? Вероятно, там очередная Воронка потусторонней, трансцендентной реальности, которая втягивает в себя все сущее и ничего не возвращает обратно... Да, но какая она?

Неизвестно, существует ли антиматерия в нашей Галактике и вообще во Вселенной – физики спорят об этом. Кажется, это Андрей Сахаров выдвинул гипотезу, что существование антиатомов и антиматерии неизбежно приводит к течению Времени назад – или скольжению в какую-то другую реальность?..

Воздух в коридоре становится липким, тяжелым, словно сбивается в тошнотворную вязкую массу. Плотный зеленый туман все время меняет окраску: то он серый, с голубоватым отливом, то зеленовато-сизый.

Туман сгущается, сгущается – как трудно передвигаться, дышать...

Время распласталось и, вероятно, заснуло... Какая, однако, странная все-таки штука, это Время! Раньше я думала, что Время – это воображаемая прямая линия, протянутая снизу вверх и соединяющая прошлое и будущее через настоящее, или лента, или скорее, большая широкая дорога, потерявшаяся где-то там, в начале веков, прорезавшая время и уходящая в головокружительную даль будущего. А может быть, это полноводная река, начавшаяся с маленького ручейка в начале веков, торжественно и величаво несущая свои воды в головокружительную даль будущего? Или это бурный поток, вытекающий, бурля, пенясь и закипая, громыхая камнями, из небытия прошлого и впадающий в небытие будущего? Но, оказывается, Время, как и человек, имеет объем, оно живое, оно главный герой...

Время задрожало, и началась болтанка, как в самолете, попавшем в полосу турбулентности. Длинные стрелки часов Времени зашпешили, все ускоряя движение по кругу, затем полетели стремительно против часовой стрелки... Тот, кто крутил стрелки, определенно сошел с ума! Часы обезумели: начали тикать неестественно громко, стрелки зацепились друг за друга, задрожали, одна из стрелок сломалась, другая странно изогнулась. Что же это за циферблат, на котором нет часовой стрелки?.. Осталась только минутная стрелка, но и она поломалась или погнулась, с ней что-то случилось... Ну, конечно, она же движется назад – против часовой стрелки!

Так вот он какой – настоящий лик Времени.

И что происходит, когда восприятие реальности человеком не совпадает с самой реальностью? Тогда Время начинает действовать непредсказуемо, спотыкается, опрокидывается набок, закручиваясь восьмеркой бесконечности. Оно начинает течь как-то иначе или вовсе никуда не движется.

Человек подстраивается под иное пространство и Время. Часы совсем по-другому отстукивают минуты и секунды – возникают ножницы Времени и пространства. А может быть, Время просто растворяется, как кусочек льда в теплой воде, и исчезает? И тогда потерявшегося во времени человека затягивает в омут, в *Воронку* вместе со Временем, тоже текущим в бесконечность.

Значит, во времени можно заблудиться, оказаться замурованным в чужой жизни... Ну, уж нет, черта с два! Я больше не позволю ни ей, ни времени перепутать меня с кем-то другим!

Внезапно в конце коридора что-то промелькнуло, скрипнула, приоткрылась дверь... Или не дверь это вовсе?

Время споткнулось, упало, сильно расшибло коленку, потом размазало по стенам туннеля...

И снова, и снова оно падало, потом вставало... и опять заматало следы. Время текло вперед, вспять, кувырком – куда?

А может быть – *она* все чаще задавала себе вопрос, над которым задумывался уже не один писатель, философ, историк – может быть, все, что существует, все, что происходит в нашем мире, не существует само по себе, помимо нас, отдельно от нас, а представляет собой просто субъективное *нечто*, с самого начала измененное, искаженное, нарушенное, представленное в ином свете нашим сознанием и воображением?

И тогда, мечтая, уходя в мир грез и сновидений или изучая его, анализируя, мы сами создаем реальность – каждый свою – и пускаем ее в самостоятельное плавание по жизни. Как заметил известный восточный мудрец, преходящее, эфемерное длится вечно.

Хотя реальность не исчезает только потому, что мы не хотим ее видеть. Но тогда нас вовсе не должно удивлять, что людям не дано понять друг друга. *Она* обязательно должна рассказать об этом Леше...

Так что же это такое – Время? Волшебная спираль? Лента Мёбиуса? Концентрические круги или упавшая восьмерка? Заблуждение? Иллюзия, как утверждал один старый философ?

Она этого не знала.

\* \* \*

Звонкое, оглушительное чувство радости переполняло. Неизвестно почему. Просто так. Хотелось дышать полной грудью. Хотелось просто жить. Всем существом овладела острая, пронизывающая жажда жизни.

И что же? А ничего. Только еще один вечер печально улыбнулся ей, начал худеть прямо на глазах, истончаться по краям, затрепетал, медленно растаял – и тихо ускользнул по ту сторону бытия сквозь Воронку бесконечности.